ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ

ХРЕСТОМАТИЯ

Составители

А. В. Блинов, И. И. Богатырева, В. П. Мурат, Г. И. Рапова



АСПЕКТ ПРЕСС

**Москва**

**2000**

**УДК 80/81**

**ББК 81**

**В 24**

**В 24** **Введение в языковедение: Хрестоматия:** Учебн. пособие для студентов вузов/Сост. А. В. Блинов, И. И. Богатырева, В. П. Мурат, Г. И. Рапова. — М.: Аспект Пресс, 2000.— 342 с.

ISBN 5-7567-0252-0

Хрестоматия составлена для использования вместе с учебни­ком А.А. Реформатского «Введение в языковедение». В нее включе­ны важнейшие труды отечественных и зарубежных лингвистов, освещающие проблемы языковедения и основные методы науч­ного исследования языка.

Для студентов-филологов, а также студентов и аспирантов, спе­циализирующихся в области общего и сравнительно-исторического языкознания.

**УДК 80/81**

**ББК81**

**ISBN** 5-7567-0252-0

© «Аспект Пресс», 2000

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Настоящая Хрестоматия составлена для лекционного курса, чи­таемого на всех филологических факультетах университетов. «Вве­дение в языковедение» представляет собой начальный курс в об­разовании филологов широкого профиля, т.е. будущих лингвистов и литературоведов — специалистов в области русской, славянс­кой, романской, германской, классической и востоковедческой филологии. Он знакомит студентов с системой понятий и терми­нов, которыми пользуется любая филологическая дисциплина и поэтому является основой лингвистической педагогики. Страте­гическая линия курса заключается в том, чтобы определить отно­шение теории лингвистики к языку как реальному объекту: это значит, что данный курс имеет целью теоретическую подготовку студентов к изучению языков (родного, иностранных и класси­ческих) и в связи с этим ставит задачу помочь им овладеть языка­ми практически. В этом смысле курс является подготовительным: он знакомит слушателей с кругом проблем, которые в последую­щие годы обучения обобщаются в курсах «Общее языкознание», «Теория языка», «История лингвистических учений», отчасти в курсе «Теория литературы».

Классическим учебником по данному курсу является «Введе­ние в языковедение» А. А. Реформатского, на базе которого строят­ся лекционные и практические занятия. Настоящая Хрестоматия представляет собой текстовое пособие к этому учебнику. Подбор работ, вошедших в состав Хрестоматии, ориентирован на его ком­позиционное построение и воспроизводит в основных чертах пред­ложенную А. А. Реформатским последовательность изложения как предмета языкознания, так и методов лингвистического исследо­вания. Открывают Хрестоматию работы общетеоретического харак­тера. Состав понятий и проблем, представленный в них, затем подробно развертывается и интерпретируется в описаниях отдель­ных ярусов языковой системы. Все авторы текстов, включенных в Хрестоматию, являются признанными классиками отечественно­го и зарубежного языкознания.

Составители настоящей Хрестоматии — преподаватели кафед­ры общего и сравнительно-исторического языкознания филоло­гического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, ведущие практи­ческие занятия по курсу «Введение в языковедение». На протяже­нии ряда лет лекции по этому курсу читал заведующий нашей кафедры, доктор филологических наук, профессор Юрий Влади­мирович Рождественский, ушедший из жизни 24 октября 1999 г. Новое издание предлагаемой Хрестоматии — дань памяти нашему учителю и коллеге.

*А. В. Блинов, И. И. Богатырева,*

*В. П. Мурат, Г. И. Рапова*

I. Общий раздел

Ф. *де Соссюр.* Курс общей лингвистики\*

ВВЕДЕНИЕ

**Глава 1 Общий взгляд на историю лингвистики**

Наука о языке прошла три последовательные фазы развития, прежде чем было осознано, что является подлинным и единствен­ным ее объектом.

\* *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию/Перевод с франц. М., 1977. С. 39—61, 98-127, 155-159.

Начало было положено так называемой «грамматикой». Эта дисциплина, появившаяся впервые у греков и в дальнейшем про­цветавшая главным образом во Франции, основывалась на логике и была лишена научного и объективного воззрения на язык как таковой: ее единственной целью было составление правил для отличения правильных форм от форм неправильных. Это была дис­циплина нормативная, весьма далекая от чистого наблюдения: в силу этого ее точка зрения была, естественно, весьма узкой.

Затем возникла филология. «Филологическая» школа существо­вала уже в Александрии, но этот термин применяется преимуще­ственно к тому научному направлению, начало которому было положено в 1777 г. Фридрихом Августом Вольфом и которое про­должает существовать до наших дней. Язык не является единствен­ным объектом филологии: она прежде всего ставит себе задачу устанавливать, толковать и комментировать тексты. Эта основная задача приводит ее также к занятиям историей литературы, быта, социальных институтов и т.п. Всюду она применяет свой собствен­ный метод, метод критики источников. Если она касается лингви­стических вопросов, то главным образом для того, чтобы сравни­вать тексты различных эпох, определять язык, свойственный дан­ному автору, расшифровывать и разъяснять надписи на архаических или плохо известных языках. Без сомнения, именно исследования такого рода и расчистили путь для исторической лингвистики. < ... > Но в этой области филологическая критика имеет один существен­ный недостаток: она питает слишком рабскую приверженность к письменному языку и забывает о живом языке: к тому же ее инте­ресы лежат почти исключительно в области греческих и римских древностей.

Начало третьего периода связано с открытием возможности сравнивать языки между собою. Так возникла сравнительная фило­логия, или, иначе, сравнительная грамматика. В 1816 г. Франц Бопп в своей работе «О системе спряжения санскритского языка...» ис­следует отношения, связывающие санскрит с греческим, латинс­ким и другими языками. Но Бопп не был первым, кто установил эти связи и высказал предположение, что все эти языки принад­лежат к одному семейству. Это, в частности, установил и высказал до него английский востоковед Вильям Джоунз (1746—1794). Одна­ко отдельных разрозненных высказываний еще недостаточно для утверждения, будто в 1816 г. значение и важность этого положения уже были осознаны всеми. Итак, заслуга Боппа заключается не в том, что он открыл родство санскрита с некоторыми языками Европы и Азии, а в том, что он понял возможность построения самостоятельной науки, предметом которой являются отношения родственных языков между собою. Анализ одного языка на основе другого, объяснение форм одного языка формами другого — вот что было нового в работе Боппа.

Бопп вряд ли мог бы создать (да еще в такой короткий срок) свою науку, если бы предварительно не был открыт санскрит. База изысканий Боппа расширилась и укрепилась именно благодаря тому, что наряду с греческим и латинским языками ему был дос­тупен третий источник информации — санскрит; это преимуще­ство усугублялось еще тем обстоятельством, что, как оказалось, санскрит обнаруживал исключительно благоприятные свойства, проливающие свет на сопоставляемые с ним языки.

Покажем это на одном примере. Если рассматривать парадиг­мы склонения латинского *genus (genus, generis, genere, genera, generum* и т.д.) и греческого *génos (génos, géneos, géneï, génea, genéōn* и т.д.), то получаемые ряды не позволяют сделать никаких выводов, бу­дем ли мы брать эти ряды изолированно или сравнивать их между собою. Но картина резко изменится, если с ними сопоставить со­ответствующую санскритскую парадигму *(janas,janasas,janasi,janassu, janasam* и т.д.). Достаточно беглого взгляда на эту парадигму, чтобы установить соотношение, существующее между двумя другими па­радигмами: греческой и латинской. Предположив, что *janas* пред­ставляет первоначальное состояние (такое допущение способству­ет объяснению), можно заключить, что *s* исчезало в греческих формах *géne(s)os* и т.д. всякий раз, как оказывалось между двумя гласными. Далее, можно заключить, что при тех же условиях в латинском языке *s* переходило в *r*. Кроме того, с грамматической точки зрения санскритская парадигма уточняет понятие индоев­ропейского корня, поскольку этот элемент оказывается здесь впол­не определенной и устойчивой единицей *(janas-).* Латинский и гре­ческий языки лишь на самых своих начальных стадиях знали то со­стояние, которое представлено санскритом. Таким образом, в данном случае санскрит показателен тем, что в нем сохранились все индоев­ропейские *s.* Правда, в других отношениях он хуже сохранил харак­терные черты общего прототипа: так, в нем катастрофически изме­нился вокализм. Но в общем сохраняемые им первоначальные эле­менты прекрасно помогают исследованию, и в огромном большинстве случаев именно санскрит оказывается в положении языка, разъяс­няющего различные явления в других языках.

С самого начала рядом с Боппом выдвигаются другие выдающи­еся лингвисты: Якоб Гримм, основоположник германистики (его «Грамматика немецкого языка» была опубликована в 1819—1837 гг.); Август Фридрих Потт, чьи этимологические разыскания снабдили лингвистов большим материалом; Адальберт Кун, работы которого касались как сравнительного языкознания, так и сравнительной мифологии; индологи Теодор Бенфей и Теодор Ауфрехт и др.

Наконец, среди последних представителей этой школы надо выделить Макса Мюллера, Георга Курциуса и Августа Шлейхера. Каждый из них сделал немалый вклад в сравнительное языкозна­ние. Макс Мюллер популяризировал его своими блестящими лек­циями («Лекции по науке о языке», 1861, на английском языке); впрочем, в чрезмерной добросовестности его упрекнуть нельзя. Выдающийся филолог Курциус, известный главным образом сво­им трудом «Основы греческой этимологии» (1858—1862, 5-е при­жизненное изд. 1879 г.), одним из первых примирил сравнитель­ную грамматику с классической филологией. Дело в том, что пред­ставители последней с недоверием следили за успехами молодой науки, и это недоверие становилось взаимным. Наконец, Шлейхер является первым лингвистом, попытавшимся собрать воедино ре­зультаты всех частных сравнительных исследований. Его «Компендиум по сравнительной грамматике индогерманских языков» (1861) представляет собой своего рода систематизацию основанной Боппом науки. Эта книга, оказывавшая ученым великие услуги в тече­ние многих лет, лучше всякой другой характеризует облик школы сравнительного языкознания в первый период развития индоев­ропеистики.

Но этой школе, неотъемлемая заслуга которой заключается в том, что она подняла плодородную целину, все же не удалось со­здать подлинно научную лингвистику. Она так и не попыталась выявить природу изучаемого ею предмета. А между тем без такого предварительного анализа никакая наука не в состоянии вырабо­тать свой метод.

Основной ошибкой сравнительной грамматики — ошибкой, которая в зародыше содержала в себе все прочие ошибки, — было то, что в своих исследованиях, ограниченных к тому же одними лишь индоевропейскими языками, представители этого направле­ния никогда не задавались вопросом, чему же соответствовали производимые ими сопоставления, что же означали открываемые ими отношения. Их наука оставалась исключительно сравнитель­ной, вместо того чтобы быть исторической. Конечно, сравнение составляет необходимое условие для всякого воссоздания истори­ческой действительности. Но одно лишь сравнение не может при­вести к правильным выводам. А такие выводы ускользали от ком­паративистов еще и потому, что они рассматривали развитие двух языков совершенно так же, как естествоиспытатель рассматривал бы рост двух растений. Шлейхер, например, всегда призывающий исходить из индоевропейского праязыка, следовательно выступа­ющий, казалось бы, в некотором смысле как подлинный историк, не колеблясь, утверждает, что в греческом языке *е* и *о* суть две «ступени» (Stufen) одного вокализма. Дело в том, что в санскрите имеется система чередования гласных, которая может породить представление об этих ступенях. Предположив, таким образом, что развитие должно идти по этим ступеням обособленно и парал­лельно в каждом языке, подобно тому как растения одного вида проходят независимо друг от друга одни и те же фазы развития, Шлейхер видит в греческом *о* усиленную ступень *е,* подобно тому как в санскритском *ā* он видит усиление ă*.* В действительности же все сводится к индоевропейскому чередованию звуков, которое различным образом отражается в греческом языке и в санскрите, тогда как вызываемые им в обоих языках грамматические след­ствия вовсе не обязательно тождественны. <...>

Лингвистика в точном смысле слова, которая отвела сравни­тельному методу его надлежащее место, родилась на почве изуче­ния романских и германских языков. В частности, именно романи­стика (основатель которой Фридрих Диц в 1836—1838 гг. выпустил свою «Грамматику романских языков») очень помогла лингвисти­ке приблизиться к ее настоящему объекту. Дело в том, что романи­сты находились в условиях гораздо более благоприятных, чем ин­доевропеисты, поскольку им был известен латинский язык, про­тотип романских языков, и поскольку обилие памятников позволяло им детально прослеживать эволюцию отдельных романских язы­ков. Оба эти обстоятельства ограничивали область гипотетических построений и сообщали всем изысканиям романистики в высшей степени конкретный характер. Германисты находились в аналогич­ном положении; правда, прагерманский язык непосредственно неизвестен, но зато история происходящих от него языков может быть прослежена на материале многочисленных памятников на протяжении длинного ряда столетий. Поэтому-то германисты, как более близкие к реальности, и пришли к взглядам, отличным от взглядов первых индоевропеистов.

Первый импульс был дан американцем Вильямом Уитни, ав­тором книги «Жизнь и развитие языка» (1875). Вскоре образовалась новая школа, школа младограмматиков (Junggrammatiker), во гла­ве которой стояли немецкие ученые Карл Бругман, Герман Остгоф, германисты Вильгельм Брауне, Эдуард Сивере, Герман Пауль, славист Август Лески́н и др. Заслуга их заключалась в том, что результаты сравнения они включали в историческую перспективу и тем самым располагали факты в их естественном порядке. Благо­даря им язык стал рассматриваться не как саморазвивающийся организм, а как продукт коллективного духа языковых групп. Тем самым была осознана ошибочность и недостаточность идей срав­нительной грамматики и филологии.\* Однако, сколь бы ни были велики заслуги этой школы, не следует думать, будто она пролила полный свет на всю проблему в целом: основные вопросы общей лингвистики и ныне все еще ждут своего разрешения.

\* Новая школа, стремясь более точно отражать действительность, объявила войну терминологии компаративистов, в частности, ее нелогичным метафорам. Теперь уже нельзя сказать: «язык делает то-то и то-то» или говорить о «жизни языка» и т.п., ибо язык не есть некая сущность, имеющая самостоятельное бы­тие, он существует лишь в говорящих. Однако в этом отношении не следует захо­дить слишком далеко; самое важное состоит в том, чтобы понимать, о чем идет речь. Есть такие метафоры, избежать которых нельзя. Требование пользоваться лишь терминами, отвечающими реальным явлениям языка, равносильно претензии, будто в этих явлениях для нас уже ничего неизвестного нет. А между тем до этого еще далеко; поэтому мы не будем стесняться иной раз прибегать к таким выраже­ниям, которые порицались младограмматиками.

Глава 2

**Материал и задача лингвистики; ее отношение к смежным дисциплинам**

Материалом лингвистики являются прежде всего все факты речевой деятельности человека как у первобытных народов, так и у культурных наций, как в эпоху расцвета того или другого языка, так и во времена архаические, а также в период его упадка, с охватом в каждую эпоху как форм обработанного, или «литера­турного», языка, так и форм просторечных — вообще всех форм выражения. Это, однако, не все: поскольку речевая деятельность в большинстве случае недоступна непосредственному наблюдению, лингвисту приходится учитывать письменные тексты как единствен­ный источник сведений о языках далекого прошлого или далеких стран. В задачу лингвистики входит:

а) описание и историческое обследование всех доступных ей языков, что ведет к составлению истории всех языковых семейств и по мере возможности к реконструкции их праязыков;

б) обнаружение факторов, постоянно и универсально действу­ющих во всех языках, и установление тех общих законов, к кото­рым можно свести отдельные явления в истории этих языков;

в) определение своих границ и объекта.

Лингвистика весьма тесно связана с рядом других наук, кото­рые то заимствуют у нее ее данные, то предоставляют ей свои. Границы, отделяющие ее от этих наук, не всегда выступают впол­не отчетливо. Так, например, лингвистику следует строго отгра­ничивать от этнографии и от истории древних эпох, где язык учи­тывается лишь в качестве документа. Ее необходимо также отли­чать и от антропологии, изучающей человека как зоологический вид, тогда как язык есть факт социальный. Но не следует ли вклю­чить ее в таком случае в социологию? Каковы взаимоотношения лингвистики и социальной психологии? В сущности, в языке все психично, включая его и материальные и механические проявле­ния, как, например, изменения звуков; и, поскольку лингвисти­ка снабжает социальную психологию столь ценными данными, не составляет ли она с нею единое целое? Всех этих вопросов мы касаемся здесь лишь бегло, с тем чтобы вернуться к их рассмотре­нию в дальнейшем.

Отношение лингвистики к физиологии выясняется с меньшим трудом: отношение это является односторонним в том смысле, что при изучении языков требуются данные по физиологии зву­ков, тогда как лингвистика со своей стороны в распоряжение физиологии подобных данных предоставить не может. Во всяком слу­чае, смешение этих двух дисциплин недопустимо: сущность язы­ка, как мы увидим, не связана со звуковым характером языкового знака.

Что же касается филологии, то, как мы уже знаем, она резко отличается от лингвистики, несмотря на наличие между обеими науками точек соприкосновения и те взаимные услуги, которые они друг другу оказывают.

В чем заключается практическое значение лингвистики? Весь­ма немногие люди имеют на этот счет ясное представление, и здесь не место о нем распространяться. Во всяком случае, очевид­но, что лингвистические вопросы интересны для всех тех, кто, как, например, историки, филологи и др., имеет дело с текстами. Еще очевидно значение лингвистики для общей культуры: в жизни как отдельных людей, так и целого общества речевая деятельность явля­ется важнейшим из всех факторов. Поэтому немыслимо, чтобы ее изучение оставалось в руках немногих специалистов. Впрочем, в дей­ствительности ею в большей или меньшей степени занимаются все; но этот всеобщий интерес к вопросам речевой деятельности влечет за собой парадоксальное следствие: нет другой области, где возни­кало бы больше нелепых идей, предрассудков, миражей и фикций. Все эти заблуждения представляют определенный психологичес­кий интерес, и первейшей задачей лингвиста является выявление и по возможности окончательное их устранение.

**Глава 3 Объект лингвистики**

§ 1. Определение языка

Что является целостным и конкретным объектом лингвисти­ки? Вопрос этот исключительно труден, ниже мы увидим, почему. Ограничимся здесь показом этих трудностей.

Другие науки оперируют заранее данными объектами, кото­рые можно рассматривать под различными углами зрения; ничего подобного нет в лингвистике. Некто произнес французское слово *пи* «обнаженный»: поверхностному наблюдателю покажется, что это конкретный лингвистический объект; однако более присталь­ный взгляд обнаружит в *пи* три или четыре совершенно различные вещи в зависимости от того, как он будет рассматривать это слово: только как звучание, как выражение определенного понятия, как соответствие латинскому *nūdum* «нагой» и т.д. В лингвистике объект вовсе не предопределяет точки зрения; напротив, можно сказать, что здесь точка зрения создает самый объект; вместе с тем ничто не говорит нам о том, какой из этих способов рассмотрения дан­ного факта является первичным или более совершенным по срав­нению с другими.

Кроме того, какой бы способ мы ни приняли для рассмотре­ния того или иного явления речевой деятельности, в ней всегда обнаруживаются две стороны, каждая из которых коррелирует с другой и значима лишь благодаря ей.

Приведем несколько примеров:

1. Артикулируемые слоги — это акустические явления, воспри­нимаемые слухом, но сами звуки не существовали бы, если бы не было органов речи: так, звук *п* существует лишь в результате кор­реляции этих двух сторон: акустической и артикуляционной. Та­ким образом, нельзя ни сводить язык к звучанию, ни отрывать звучание от артикуляторной работы органов речи; с другой сторо­ны, нельзя определить движение органов речи, отвлекаясь от акустического фактора.

2. Но допустим, что звук есть нечто простое: исчерпывается ли им то, что мы называем речевой деятельностью? Нисколько, ибо он есть лишь орудие для мысли и самостоятельного существования не имеет. Таким образом возникает новая, осложняющая всю кар­тину корреляция: звук, сложное акустико-артикуляционное един­ство, образует в свою очередь новое сложное физиолого-мыслительное единство с понятием. Но и это еще не все.

3. У речевой деятельности есть две стороны: индивидуальная и социальная, причем одну нельзя понять без другой.

4. В каждый данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему и эволюцию; в любой момент речевая деятельность есть одновременно и действующее установление (institution actuelle) и продукт прошлого. На первый взгляд разли­чение между системой и историей, между тем, что есть, и тем, что было, представляется весьма простым, но в действительности то и другое так тесно связано между собой, что разъединить их весьма затруднительно. Не упрощается ли проблема, если рассмат­ривать речевую деятельность в самом ее возникновении, если, например, начать с изучения речевой деятельности ребенка? Нис­колько, ибо величайшим заблуждением является мысль, будто в отношении речевой деятельности проблема возникновения отлична от проблемы постоянной обусловленности. Таким образом, мы продолжаем оставаться в том же порочном кругу.

Итак, с какой бы стороны ни подходить к вопросу, нигде объект не дан нам во всей целостности; всюду мы натыкаемся на ту же дилемму: либо мы сосредоточиваемся на одной лишь стороне каж­дой проблемы, тем самым рискуя не уловить присущей ей двусторонности, либо, если мы изучаем явления речевой деятельности одновременно с нескольких точек зрения, объект лингвистики выступает перед нами как груда разнородных, ничем между собою не связанных явлений. Поступая так, мы распахиваем дверь перед целым рядом наук: психологией, антропологией, нормативной грамматикой, филологией и т.д., которые мы строго отграничива­ем от лингвистики, но которые в результате методологической ошибки могут притязать на речевую деятельность как на один из своих объектов.

По нашему мнению, есть только один выход из всех этих за­труднений: *надо с самого начала встать на почву языка и считать его основанием* (norme) *для всех прочих проявлений речевой деятель­ности.* Действительно, среди множества двусторонних явлений толь­ко язык, по-видимому, допускает независимое (autonome) опре­деление и дает надежную опору для мысли.

Но что же такое язык? По нашему мнению, понятие языка не совпадает с понятием речевой деятельности вообще; язык — толь­ко определенная часть — правда, важнейшая часть — речевой дея­тельности. Он является социальным продуктом, совокупностью необходимых условностей, принятых коллективом, чтобы обеспе­чить реализацию, функционирование способности к речевой дея­тельности, существующей у каждого носителя языка. Взятая в це­лом, речевая деятельность многообразна и разнородна; протекая одновременно в ряде областей, будучи одновременно физической, физиологической и психической, она, помимо того, относится и к сфере индивидуального и к сфере социального; ее нельзя отнес­ти определенно ни к одной категории явлений человеческой жиз­ни, так как неизвестно, каким образом всему этому можно сооб­щить единство.

В противоположность этому язык представляет собою целост­ность сам по себе, являясь, таким образом, отправным началом (principe) классификации. Отводя ему первое место среди явле­ний речевой деятельности, мы тем самым вносим естественный порядок в эту совокупность, которая иначе вообще не поддается классификации.

На это выдвинутое нами положение об отправном начале клас­сификации, казалось, можно было бы возразить, утверждая, что осуществление речевой деятельности покоится на способности, присущей нам от природы, тогда как язык есть нечто усвоенное и условное, и что, следовательно, язык должен занимать подчинен­ное положение по отношению к природному инстинкту, а не стоять над ним. Вот что можно ответить на это. Прежде всего, вовсе не доказано, что речевая деятельность в той форме, в какой она проявляется, когда мы говорим, есть нечто вполне естественное, иначе говоря, что наши органы речи предназначены для говоре­ния точно так же, как наши ноги для ходьбы. Мнения лингвистов по этому поводу существенно расходятся. Так, например, Уитни, приравнивающий язык к общественным установлениям со всеми их особенностями, полагает, что мы используем органы речи в качестве орудия речи чисто случайно, просто из соображений удоб­ства; люди, по его мнению, могли бы с тем же успехом пользо­ваться жестами, употребляя зрительные образы вместо слуховых. Несомненно, такой тезис чересчур абсолютен: язык не есть об­щественное установление, во всех отношениях подобное прочим; кроме того, Уитни заходит слишком далеко, утверждая, будто наш выбор лишь случайно остановился на органах речи: ведь этот выбор до некоторой степени был нам навязан природой. Но по основному пункту американский лингвист, кажется, безусловно прав: язык — условность, а какова природа условно избранного знака, совершенно безразлично. Следовательно, вопрос об орга­нах речи — вопрос второстепенный в проблеме речевой деятель­ности.

Положение это может быть подкреплено путем определения того, что разуметь под *членораздельной речью* (langage articulé). По-латыни *articulus* означает «составная часть», «член(ение)»; в отно­шении речевой деятельности членораздельность может означать либо членение звуковой цепочки на слоги, либо членение цепоч­ки значений на значимые единицы; в этом именно смысле по-немецки и говорят *gegliederte Sprache.* Придерживаясь этого второ­го определения, можно было бы сказать, что естественной для человека является не речевая деятельность как говорение (langage parlé), а способность создавать язык, то есть систему дифферен­цированных знаков, соответствующих дифференцированным по­нятиям.

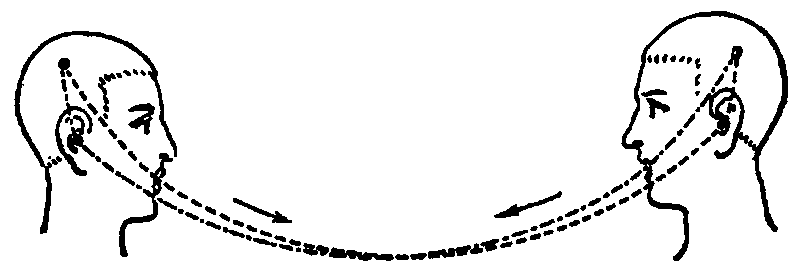
Брока́ открыл, что способность говорить локализована в тре­тьей лобной извилине левого полушария большого мозга; и на это открытие пытались опереться, чтобы приписать речевой дея­тельности естественно-научный характер. Но, как известно, эта локализация была установлена в отношении *всего,* имеющего от­ношение к речевой деятельности, включая письмо; исходя из это­го, а также из наблюдений, сделанных относительно различных видов афазии в результате повреждения этих центров локализа­ции, можно, по-видимому, допустить: 1) что различные расстрой­ства устной речи разнообразными путями неразрывно связаны с расстройствами письменной речи и 2) что во всех случаях афазии или аграфии нарушается не столько способность произносить те или иные звуки или писать те или иные знаки, сколько способ­ность любыми средствами вызывать в сознании знаки упорядо­ченной речевой деятельности. Все это приводит нас к предполо­жению, что над деятельностью различных органов существует спо­собность более общего порядка, которая управляет этими знаками и которая и есть языковая способность по преимуществу. Таким путем мы приходим к тому же заключению, к какому пришли раньше.

Наконец, в доказательство необходимости начинать изучение речевой деятельности именно с языка можно привести и тот аргу­мент, что способность (безразлично, естественная она или нет) артикулировать слова осуществляется лишь с помощью орудия, созданного и предоставляемого коллективом. Поэтому нет ничего невероятного в утверждении, что единство в речевую деятельность вносит язык.

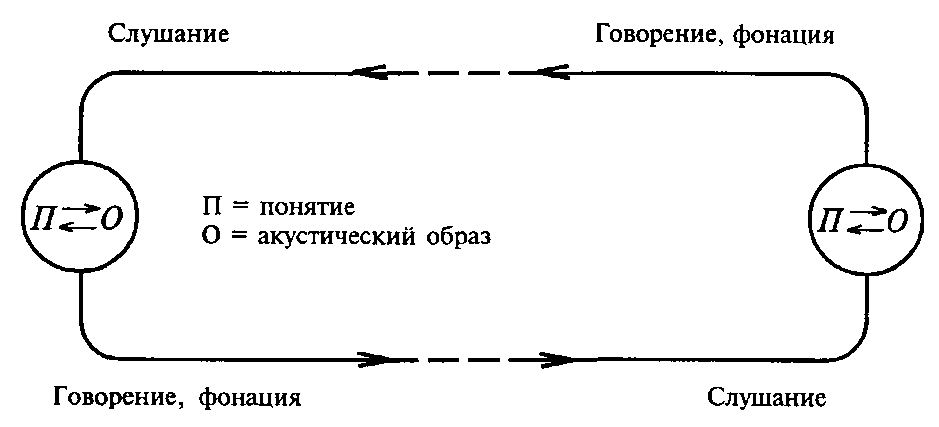
§ 2. Место языка в явлениях речевой деятельности

Для того чтобы во всей совокупности явлений речевой дея­тельности найти сферу, соответствующую языку, надо рассмот­реть индивидуальный акт речевого общения. Такой акт предпола­гает по крайней мере двух лиц — это минимум, необходимый для полноты ситуации общения. Итак, пусть нам даны два разговари­вающих друг с другом лица: А и В (см. рисунок на следующей стра­нице).

Отправная точка акта речевого общения находится в мозгу од­ного из разговаривающих, скажем А, где явления сознания, назы­ваемые нами «понятиями», ассоциируются с представлениями язы­ковых знаков, или с акустическими образами, служащими для выражения понятий. Предположим, что данное понятие вызывает в мозгу соответствующий акустический образ — это явление чисто *психического* порядка, за которым следует *физиологический* процесс: мозг передает органам речи соответствующий образу импульс, за­тем звуковые волны распространяются из уст А к ушам В — это уже чисто *физический* процесс. Далее процесс общения продолжается в В, но в обратном порядке: от уха к мозгу — физиологическая пе­редача акустического образа; в мозгу — психическая ассоциация этого образа с соответственным понятием. Когда В заговорит в свою очередь, во время этого нового акта речи будет проделан в точно­сти тот же самый путь, что и во время первого, — от мозга В к мозгу А речь пройдет через те же самые фазы.



Все это можно изобразить следующим образом:



Этот анализ не претендует на полноту. <...> Но мы приняли во внимание лишь те элементы, которые считаем существенными; наша схема позволяет сразу же отграничить элементы физические (звуковые волны) от элементов физиологических (говорение, фо­нация и слушание) и психических (словесные образы и понятия). При этом в высшей степени важно отметить, что словесный образ не совпадает с самим звучанием и что он столь же психичен, как и ассоциируемое с ним понятие.

Речевой акт, изображенный нами выше, может быть расчле­нен на следующие части:

а) внешняя часть (звуковые колебания, идущие из уст к ушам) и внутренняя часть, включающая все прочее;

б) психическая часть и часть непсихическая, из коих вторая включает как происходящие в органах речи физиологические яв­ления, так и физические явления вне человека;

в) активная часть и пассивная часть: активно все то, что идет от ассоциирующего центра одного из говорящих к ушам другого, а пассивно все то, что идет от ушей этого последнего к его ассоци­ирующему центру.

Наконец, внутри локализуемой в мозгу психической части можно называть экзекутивным все то, что активно (П → О), и рецептивным все то, что пассивно (О ← П).

К этому надо добавить способность к ассоциации и координа­ции, которая обнаруживается, как только мы переходим к рас­смотрению знаков в условиях взаимосвязи; именно эта способ­ность играет важнейшую роль в организации языка как системы.

Но чтобы верно понять эту роль, надо отойти от речевого акта как явления единичного, которое представляет собою всего лишь зародыш речевой деятельности, и перейти к языку как к явлению социальному.

У всех лиц, общающихся вышеуказанным образом с помощью речевой деятельности, неизбежно происходит известного рода выравнивание: все они воспроизводят, хотя, конечно, и не впол­не одинаково, примерно одни и те же знаки, связывая их с одни­ми и теми же понятиями.

Какова причина этой социальной «кристаллизации»? Какая из частей речевого акта может быть ответственна за это? Ведь весьма вероятно, что не все они принимают в этом одинаковое участие.

Физическая часть может быть отвергнута сразу. Когда мы слы­шим разговор на незнакомом нам языке, мы, правда, слышим звуки, но вследствие непонимания того, что говорится, сказанное не составляет для нас социального факта.

Психическая часть речевого акта также мало участвует в «кри­сталлизации»; ее экзекутивная сторона остается вообще непричаст­ной к этому, ибо исполнение никогда не производится коллекти­вом; оно всегда индивидуально, и здесь всецело распоряжается индивид; мы будем называть это *речью.*

Формирование у говорящих примерно одинаковых для всех пси­хических образов обусловлено функционированием рецептивной и координативной способностей. Как же надо представлять себе этот социальный продукт, чтобы язык вполне выделился, обособившись от всего прочего? Если бы мы были в состоянии охватить сумму всех словесных образов, накопленных у всех индивидов, мы бы косну­лись той социальной связи, которая и образует язык. Язык — это клад, практикой речи отлагаемый во всех, кто принадлежит к одно­му общественному коллективу, это грамматическая система, вирту­ально существующая у каждого в мозгу, точнее сказать, у целой совокупности индивидов, ибо язык не существует полностью ни в одном из них, он существует в полной мере лишь в коллективе.

Разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем: 1) социальное от индивидуального; 2) существенное от побочного и более или менее случайного.

Язык не деятельность (fonction) говорящего. Язык — это гото­вый продукт, пассивно регистрируемый говорящим; он никогда не предполагает преднамеренности, и сознательно в нем прово­дится лишь классифицирующая деятельность, о которой речь бу­дет идти ниже.

Наоборот, речь есть индивидуальный акт воли и разума; в этом акте надлежит различать: 1) комбинации, в которых говорящий использует код (code) языка с целью выражения своей мысли;

2) психофизический механизм, позволяющий ему объективиро­вать эти комбинации.

Следует заметить, что мы занимаемся определением предме­тов, а не слов; поэтому установленные нами различия ничуть не страдают от некоторых двусмысленных терминов, не вполне соот­ветствующих друг другу в различных языках. Так, немецкое *Sprache* соответствует французскому *langue* «язык» и *langage* «речевая дея­тельность»; немецкое *Rede* приблизительно соответствует фран­цузскому *parole* «речь»; однако в нем. *Rede* содержится дополни­тельное значение: «ораторская речь» (= франц. *discours)*; латинское *sermo* означает скорее и *langage* «речевая деятельность» и *parole* «речь», тогда как *lingua* означает *langue* «язык» и т.д. Ни для одного из определенных выше понятий невозможно указать точно соот­ветствующее ему слово, поэтому-то определять слова абсолютно бесполезно; плохо, когда при определении вещей исходят из слов.

Резюмируем теперь основные свойства языка:

1. Язык есть нечто вполне определенное в разнородном множе­стве фактов речевой деятельности. Его можно локализовать в опре­деленном отрезке рассмотренного нами речевого акта, а именно там, где слуховой образ ассоциируется с понятием. Он представля­ет собою социальный аспект речевой деятельности, внешний по отношению к индивиду, который сам по себе не может ни созда­вать его, ни изменять. Язык существует только в силу своего рода договора, заключенного членами коллектива. Вместе с тем, чтобы знать его функционирование, индивид должен учиться; ребенок овладевает им лишь мало-помалу. Язык до такой степени есть не­что вполне особое, что человек, лишившийся дара речи, сохраня­ет язык, поскольку он понимает слышимые им языковые знаки.

2. Язык, отличный от речи, составляет предмет, доступный самостоятельному изучению. Мы не говорим на мертвых языках, но мы отлично можем овладеть их механизмом. Что же касает­ся прочих элементов речевой деятельности, то наука о языке вполне может обойтись без них; более того, она вообще возможна лишь при условии, что эти прочие элементы не примешаны к ее объекту.

3. В то время как речевая деятельность в целом имеет характер разнородный, язык, как он нами определен, есть явление по сво­ей природе однородное — это система знаков, в которой един­ственно существенным является соединение смысла и акустичес­кого образа, причем оба эти компонента знака в равной мере психичны.

4. Язык не в меньшей мере, чем речь, конкретен по своей при­роде, и это весьма способствует его исследованию. Языковые зна­ки хотя и психичны по своей сущности, но вместе с тем они — не абстракции; ассоциации, скрепленные коллективным согласием и в своей совокупности составляющие язык, суть реальности, лока­лизующиеся в мозгу. Более того, знаки языка, так сказать, осязае­мы: на письме они могут фиксироваться посредством условных на­писаний, тогда как представляется невозможным во всех подробно­стях фотографировать акты речи; произнесение самого короткого слова представляет собою бесчисленное множество мускульных движений, которые чрезвычайно трудно познать и изобразить. В языке же, на­против, не существует ничего, кроме акустического образа, кото­рый может быть передан посредством определенного зрительного образа. В самом деле, если отвлечься от множества отдельных движе­ний, необходимых для реализации акустического образа в речи, вся­кий акустический образ оказывается, как мы далее увидим, лишь суммой ограниченного числа элементов, или фонем, которые в свою очередь можно изобразить на письме, при помощи соответ­ствующего числа знаков. Именно возможность фиксировать явле­ния языка позволяет сделать словарь и грамматику верным изобра­жением его: ведь язык — это сокровищница акустических образов, а письмо обеспечивает им осязаемую форму.

§ 3. Место языка в ряду явлений человеческой жизни.

Семиология

Сформулированная в § 2 характеристика языка ведет нас к ус­тановлению еще более важного положения. Язык, выделенный та­ким образом из совокупности явлений речевой деятельности, в отличие от этой деятельности в целом, занимает особое место сре­ди проявлений человеческой жизни.

Как мы только что видели, язык есть общественное установле­ние, которое во многом отличается от прочих общественных уста­новлении: политических, юридических и др. Чтобы понять его спе­цифическую природу, надо привлечь ряд новых фактов.

Язык есть система знаков, выражающих понятия, а следова­тельно, его можно сравнивать с письменностью, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и т.д. и т.п. Он только наиважнейшая из этих систем.

Следовательно, можно представить себе *науку, изучающую жизнь знаков в рамках жизни общества;* такая наука явилась бы частью социальной психологии, а следовательно, и общей психологии; мы назвали бы ее *семиологией* (от греч. *sēmeîon* «знак»). Она должна открыть нам, что такое знаки и какими законами они управляют­ся. < ... >

Задача лингвиста сводится к выяснению того, что выделяет язык как особую систему в совокупности семиологических явле­ний. Вопрос этот будет рассмотрен нами ниже; пока запомним лишь одно: если нам впервые удается найти лингвистике место среди наук, то это только потому, что мы связали ее с семиологи­ей. < ... >

Существует поверхностная точка зрения широкой публики, ус­матривающей в языке лишь номенклатуру; эта точка зрения уничто­жает самое возможность исследования истинной природы языка.

Затем существует точка зрения психологов, изучающих меха­низм знака у индивида; этот метод самый легкий, но он не ведет далее индивидуального акта речи и не затрагивает знака, по при­роде своей социального.

Но, даже заметив, что знак надо изучать как общественное явление, обращают внимание лишь на те черты языка, которые связывают его с другими общественными установлениями, более или менее зависящими от нашей воли, и таким образом проходят мимо цели, пропуская те черты, которые присущи только или семиологическим системам вообще, или языку в частности. Ибо знак всегда до некоторой степени ускользает от воли как индиви­дуальной, так и социальной, в чем и проявляется его существен­нейшая, но на первый взгляд наименее заметная черта.

Именно в языке эта черта проявляется наиболее отчетливо, но обнаруживается она в такой области, которая остается наименее изученной; в результате остается неясной необходимость или осо­бая полезность семиологии. Для нас же проблемы лингвистики — это прежде всего проблемы семиологические, и весь ход наших рассуждений получает свой смысл лишь в свете этого основного положения. Кто хочет обнаружить истинную природу языка, дол­жен прежде всего обратить внимание на то, что в нем общего с иными системами того же порядка; а многие лингвистические факторы, кажущиеся на первый взгляд весьма существенными (например, функционирование органов речи), следует рассматри­вать лишь во вторую очередь, поскольку они служат только для выделения языка из совокупности семиологических систем. Благо­даря этому не только прольется свет на проблемы лингвистики, но, как мы полагаем, при рассмотрении обрядов, обычаев и т.п. как знаков все эти явления также выступят в новом свете, так что явится потребность объединить их все в рамках семиологии и разъяс­нить их законами этой науки.

**Глава 4**

**Лингвистика языка и лингвистика речи**

Указав науке о языке принадлежащее ей по праву место в той области знания, которая занимается изучением речевой деятель­ности, мы тем самым определили место лингвистики в целом. Все остальные элементы речевой деятельности, образующие речь, ес­тественно подчиняются этой науке, и именно благодаря этому подчинению все части лингвистики располагаются по своим над­лежащим местам.

Рассмотрим для примера производство необходимых для речи звуков. Все органы речи являются столь же посторонними по отно­шению к языку, сколь посторонни по отношению к азбуке Морзе служащие для передачи ее символов электрические аппараты. Фо­нация, то есть реализация акустических образов, ни в чем не за­трагивает самой их системы. В этом отношении язык можно срав­нивать с симфонией, реальность которой не зависит от способа ее исполнения; ошибки, которые могут сделать исполняющие ее му­зыканты, никак не вредят этой реальности.

Возражая против такого разделения фонации и языка, можно указать на факт фонетических трансформаций, то есть на те изме­нения звуков, которые происходят в речи и оказывают столь глу­бокое влияние на судьбы самого языка. В самом деле, вправе ли мы утверждать, что язык существует независимо от этих явлений? Да, вправе, ибо эти явления касаются лишь материальной субстанции слов. Если даже они и затрагивают язык как систему знаков, то лишь косвенно, через изменения происходящей в результате этого интерпретации знаков, а это явление ничего фонетического в себе не содержит. Могут представить интерес поиски причин этих из­менений, чему и помогает изучение звуков, но не в этом суть: для науки о языке вполне достаточно констатировать звуковые изме­нения и выяснить их последствия. <...>

Итак, изучение речевой деятельности распадается на две час­ти; одна из них, основная, имеет своим предметом язык, то есть нечто социальное по существу и независимое от индивида; это наука чисто психическая; другая, второстепенная, имеет предметом индивидуальную сторону речевой деятельности, то есть речь, включая фонацию; она психофизична.

Несомненно, оба эти предмета тесно связаны между собой и предполагают друг друга: язык необходим, чтобы речь была по­нятна и тем самым была эффективна; речь в свою очередь необхо­дима для того, чтобы сложился язык; исторически факт речи все­гда предшествует языку. Каким образом была бы возможна ассоци­ация понятия со словесным образом, если бы подобная ассоциация предварительно не имела места в акте речи? С другой стороны, только слушая других, научаемся мы своему родному языку; лишь в результате бесчисленных опытов язык отлагается в нашем мозгу. Наконец, именно явлениями речи обусловлена эволюция языка: наши языковые навыки изменяются от впечатлений, получаемых при слушании других. Таким образом, устанавливается взаимоза­висимость между языком и речью: язык одновременно и орудие и продукт речи. Но все это не мешает языку и речи быть двумя со­вершенно различными вещами.

Язык существует в коллективе как совокупность отпечатков, имеющихся у каждого в голове, наподобие словаря, экземпляры которого, вполне тождественные, находились бы в пользовании многих лиц. Это, таким образом, нечто имеющееся у каждого, вместе с тем общее всем и находящееся вне воли тех, кто им обла­дает. Этот модус существования языка может быть представлен следующей формулой:

1+1+1+1...=I (коллективный образец).

Но каким образом в этом же самом коллективе проявляется речь? Речь — сумма всего того, что говорят люди; она включает:

а) индивидуальные комбинации, зависящие от воли говорящих;

б) акты фонации, равным образом зависящие от воли говорящих и необходимые для реализации этих комбинаций.

Следовательно, в речи нет ничего коллективного: проявления ее индивидуальны и мгновенны; здесь нет ничего, кроме суммы частных случаев по формуле

(1 + 1' + 1" + 1''' + ...).

Учитывая все эти соображения, было бы нелепо объединять под одним углом зрения язык и речь. Речевая деятельность, взя­тая в целом, непознаваема, так как она неоднородна; предла­гаемые же нами различения и иерархия (subordination) разъяс­няют все.

Такова первая дихотомия, с которой сталкиваешься, как толь­ко приступаешь к построению теории речевой деятельности. Надо избрать либо один, либо другой из двух путей и следовать по из­бранному пути независимо от другого; следовать двумя путями одновременно нельзя.

Можно в крайнем случае сохранить название лингвистики за обеими этими дисциплинами и говорить о лингвистике речи. Но ее нельзя смешивать с лингвистикой в собственном смысле, с той лин­гвистикой, единственным объектом которой является язык. < ... >

**Глава 5**

**Внутренние и внешние элементы языка**

Наше определение языка предполагает устранение из понятия «язык» всего того, что чуждо его организму, его системе, — одним словом, всего того, что известно под названием «внешней линг­вистики», хотя эта лингвистика и занимается очень важными пред­метами и хотя именно ее главным образом имеют в виду, когда приступают к изучению речевой деятельности.

Сюда, прежде всего, относится все то, в чем лингвистика со­прикасается с этнологией, все связи, которые могут существовать между историей языка и историей расы или цивилизации. Обе эти истории сложно переплетены и взаимосвязаны, это несколько напоминает те соответствия, которые были констатированы нами внутри собственно языка. Обычаи нации отражаются на ее языке, а с другой стороны, в значительной мере именно язык формирует нацию.

Далее, следует упомянуть об отношениях, существующих меж­ду языком и политической историей. Великие исторические собы­тия — вроде римских завоеваний — имели неисчислимые послед­ствия для многих сторон языка. Колонизация, представляющая собой одну из форм завоевания, переносит язык в иную среду, что влечет за собой изменения в нем. В подтверждение этого можно было бы привести множество фактов: так, Норвегия, политичес­ки объединившись с Данией (1380-1814 гг.), приняла датский язык. <...> Внутренняя политика государства играет не менее важную роль в жизни языков: некоторые государства, например Швейца­рия, допускают сосуществование нескольких языков; другие, как, например, Франция, стремятся к языковому единству. Высокий уровень культуры благоприятствует развитию некоторых специаль­ных языков (юридический язык, научная терминология и т.д.).

Это приводит нас к третьему пункту: к отношению между язы­ком и такими установлениями, как церковь, школа и т.п., кото­рые в свою очередь тесно связаны с литературным развитием язы­ка, — явление тем более общее, что оно само неотделимо от политической истории. Литературный язык во всех направлениях пере­ступает границы, казалось бы, поставленные ему литературой: до­статочно вспомнить о влиянии на язык салонов, двора, академий. С другой стороны, вполне обычна острая коллизия между литера­турным языком и местными диалектами. Лингвист должен также рассматривать взаимоотношение книжного языка и обиходного языка, ибо развитие всякого литературного языка, продукта куль­туры, приводит к размежеванию его сферы со сферой естествен­ной, то есть со сферой разговорного языка.

Наконец, к внешней лингвистике относится и все то, что име­ет касательство к географическому распространению языков и к их дроблению на диалекты. Именно в этом пункте особенно пара­доксальным кажется различие между внешней лингвистикой и лингвистикой внутренней, поскольку географический фактор тес­но связан с существованием языка; и все же в действительности географический фактор не затрагивает внутреннего организма са­мого языка.

Нередко утверждается, что нет абсолютно никакой возможно­сти отделить все эти вопросы от изучения языка в собственном смысле. Такая точка зрения возобладала в особенности после того, как от лингвистов с такой настойчивостью стали требовать зна­ния реалий. В самом деле, разве грамматический «организм» языка не зависит сплошь и рядом от внешних факторов языкового изме­нения, подобно тому, как, например, изменения в организме растения происходят под воздействием внешних факторов — по­чвы, климата и т.д.? Кажется совершенно очевидным, что едва ли возможно разъяснить технические термины и заимствования, ко­торыми изобилует язык, не ставя вопроса об их происхождении. Разве можно отличить естественное, органическое развитие не­которого языка от его искусственных форм, таких, как литера­турный язык, то есть форм, обусловленных факторами внешними и, следовательно, неорганическими? И разве мы не видим посто­янно, как наряду с местными диалектами развивается койнэ?

Мы считаем весьма плодотворным изучение «внешнелингвистических», то есть внеязыковых, явлений; однако было бы ошиб­кой утверждать, будто без них нельзя познать внутренний орга­низм языка. Возьмем для примера заимствование иностранных слов. Прежде всего следует сказать, что оно не является постоянным элементом в жизни языка. В некоторых изолированных долинах есть говоры, которые никогда не приняли извне ни одного искус­ственного термина. Но разве можно утверждать, что эти говоры находятся за пределами нормальных условий речевой деятельнос­ти? <...> Главное, однако, здесь состоит в том, что заимствованное слово уже нельзя рассматривать как таковое, как только оно становится объектом изучения внутри системы данного языка, где оно существует лишь в меру своего соотношения и противо­поставления с другими ассоциируемыми с ним словами, подобно всем другим, исконным словам этого языка. Вообще говоря, нет никакой необходимости знать условия, в которых развивался тот или иной язык. В отношении некоторых языков, например языка текстов Авесты или старославянского, даже неизвестно в точнос­ти, какие народы на них говорили; но незнание этого нисколько не мешает нам изучать их сами по себе и исследовать их превра­щения. Во всяком случае, разделение обеих точек зрения неиз­бежно, и чем строже оно соблюдается, тем лучше.

Наилучшее этому доказательство в том, что каждая из них со­здает свой особый метод. Внешняя лингвистика может нагромож­дать одну подробность на другую, не чувствуя себя стесненной тисками системы. Например, каждый автор будет группировать по своему усмотрению факты, относящиеся к распространению языка за пределами его территории; при выяснении факторов, создав­ших наряду с диалектами литературный язык, всегда можно при­менить простое перечисление; если же факты располагаются ав­тором в более или менее систематическом порядке, то делается это исключительно в интересах изложения.

В отношении внутренней лингвистики дело обстоит совершенно иначе; здесь исключено всякое произвольное расположение. Язык есть система, которая подчиняется лишь своему собственному по­рядку. Уяснению этого может помочь сравнение с игрой в шахма­ты, где довольно легко отличить, что является внешним, а что внутренним. То, что эта игра пришла в Европу из Персии, есть факт внешнего порядка; напротив, внутренним является все то, что касается системы и правил игры. Если я фигуры из дерева заменю фигурами из слоновой кости, то такая замена будет без­различна для системы; но, если я уменьшу или увеличу количе­ство фигур, такая перемена глубоко затронет «грамматику» игры. Такого рода различение требует, правда, известной степени вни­мательности, поэтому в каждом случае нужно ставить вопрос о природе явления и при решении его руководствоваться следую­щим положением: внутренним является все то, что в какой-либо степени видоизменяет систему. <...>

Часть первая

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

**Глава 1**

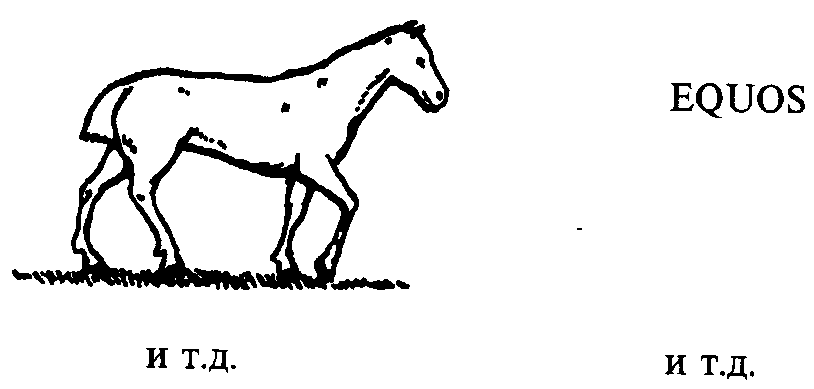
**Природа языкового знака**

§ 1. Знак, означаемое, означающее

Многие полагают, что язык есть по существу номенклатура, то есть перечень названий, соответствующих каждое одной опреде­ленной вещи. Например:

Вещи Названия





Такое представление может быть подвергнуто критике во мно­гих отношениях. Оно предполагает наличие уже готовьк понятий, предшествующих словам; оно ничего не говорит о том, какова природа названия — звуковая или психическая, ибо слово *arbor* может рассматриваться и под тем и под другим углом зрения; на­конец, оно позволяет думать, что связь, соединяющая название с вещью, есть нечто совершенно простое, а это весьма далеко от истины. Тем не менее такая упрощенная точка зрения может при­близить нас к истине, ибо она свидетельствует о том, что единица языка есть нечто двойственное, образованное из соединения двух компонентов.

Рассматривая акт речи, мы уже выяснили, что обе стороны языкового знака психичны и связываются в нашем мозгу ассоци­ативной связью. Мы особенно подчеркиваем этот момент.

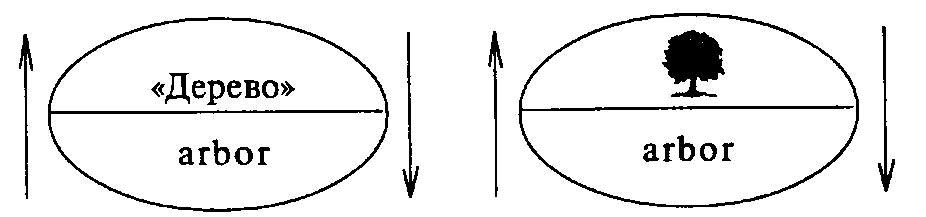
Языковой знак связывает не вещь и ее название, а понятие и акустический образ. Этот последний является не материальным звучанием, вещью чисто физической, а психическим отпечатком звучания, представлением, получаемым нами о нем посредством наших органов чувств; акустический образ имеет чувственную при­роду, и если нам случается называть его «материальным», то толь­ко по этой причине, а также для того, чтобы противопоставить его второму члену ассоциативной пары — понятию, в общем бо­лее абстрактному.

Психический характер наших акустических образов хорошо обнаруживается при наблюдении над нашей собственной речевой практикой. Не двигая ни губами, ни языком, мы можем говорить сами с собой или мысленно повторять стихотворный отрывок. <...>

Языковой знак есть, таким образом, двусторонняя психичес­кая сущность, которую можно изобразить следующим образом:



Оба эти элемента теснейшим образом связаны между собой и предполагают друг друга. Ищем ли мы смысл латинского *arbor* или, наоборот, слово, которым римлянин обозначал понятие «де­рево», ясно, что только сопоставления типа кажутся нам соответствующими действительности, и мы отбрасы­ваем всякое иное сближение, которое может представиться вооб­ражению.



Это определение ставит важный терминологический вопрос. Мы называем *знаком* соединение понятия и акустического образа, но в общепринятом употреблении этот термин обычно обозначает только акустический образ, например слово *arbor* и т.д. Забывают, что если *arbor* называется знаком, то лишь постольку, поскольку в него включено понятие «дерево», так что чувственная сторона знака предполагает знак как целое.

Двусмысленность исчезнет, если называть все три наличных понятия именами, предполагающими друг друга, но вместе с тем взаимно противопоставленными. Мы предлагаем сохранить слово *знак* для обозначения целого и заменить термины *понятие* и *акус­тический образ* соответственно терминами *означаемое* и *означаю­щее;* последние два термина имеют то преимущество, что отмеча­ют противопоставление, существующее как между ними самими, так и между целым и частями этого целого. Что же касается терми­на «знак», то мы довольствуемся им, не зная, чем его заменить, так как обиходный язык не предлагает никакого иного подходя­щего термина.

Языковой знак, как мы его определили, обладает двумя свой­ствами первостепенной важности. Указывая на них, мы тем самым формулируем основные принципы изучаемой нами области зна­ния.

§ 2. Первый принцип: произвольность знака

Связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна; поскольку под знаком мы понимаем целое, возникающее в ре­зультате ассоциации некоторого означающего с некоторым озна­чаемым, то эту же мысль мы можем выразить проще: *языковой знак произволен.*

Так, понятие «сестра» не связано никаким внутренним отно­шением с последовательностью звуков *s-œ:-r,* служащей во фран­цузском языке ее означающим; оно могло бы быть выражено лю­бым другим сочетанием звуков; это может быть доказано различи­ями между языками и самим фактом существования различных языков: означаемое «бык» выражается означающим *b-œ-f* (франц. *bœuf)* по одну сторону языковой границы и означающим *o-k-s* (нем. *Ochs)* по другую сторону ее.

Принцип произвольности знака никем не оспаривается. <...>

Слово *произвольный* также требует пояснения. Оно не должно пониматься в том смысле, что означающее может свободно выби­

раться говорящим (как мы увидим ниже, человек не властен вне­сти даже малейшее изменение в знак, уже принятый определен­ным языковым коллективом); мы хотим лишь сказать, что означа­ющее *немотивировано,* то есть произвольно по отношению к дан­ному означаемому, с которым у него нет в действительности никакой естественной связи.

Отметим в заключение два возражения, которые могут быть выдвинуты против этого первого принципа.

1. В доказательство того, что выбор означающего не всегда про­изволен, можно сослаться на *звукоподражания.* Но ведь звукопод­ражания не являются органическими элементами в системе языка. Число их к тому же гораздо ограниченней, чем обычно полагают. Такие французские слова, как *fouet* «хлыст», *glas* «колокольный звон», могут поразить ухо суггестивностью своего звучания, но достаточно обратиться к их латинским этимонам *(fouet* от *fagis* «бук», *glas* от *classicum* «звук трубы»), чтобы убедиться в том, что они первоначально не имели такого характера: качество их тепе­решнего звучания, или, вернее, приписываемое им теперь каче­ство, есть случайный результат фонетической эволюции.

Что касается подлинных звукоподражаний типа *буль-буль, тик-так,* то они не только малочисленны, но и до некоторой степени произвольны, поскольку они лишь приблизительные и наполови­ну условные имитации определенных звуков (ср. франц. *оиаоиа,* но нем. *wauwau* «гав! гав!»). Кроме того, войдя в язык, они в большей или меньшей степени подпадают под действие фонетической, мор­фологической и всякой иной эволюции, которой подвергаются и все остальные слова (ср. франц. *pigeon* «голубь», происходящее от народнолатинского *pīpiō,* восходящего в свою очередь к звукопод­ражанию), — очевидное доказательство того, что звукоподража­ния утратили нечто из своего первоначального характера и приоб­рели свойство языкового знака вообще, который, как уже указы­валось, немотивирован.

2. Что касается *междометии,* весьма близких к звукоподража­ниям, то о них можно сказать то же самое, что говорилось выше о звукоподражаниях. Они также ничуть не опровергают нашего тези­са о произвольности языкового знака. Весьма соблазнительно рас­сматривать междометия как непосредственное выражение реаль­ности, так сказать, продиктованное самой природой. Однако в от­ношении большинства этих слов можно доказать отсутствие необходимой связи между означаемым и означающим. Достаточно сравнить соответствующие примеры из разных языков, чтобы убедиться, насколько в них различны эти выражения (например, франц. *aїe*! соответствует нем. au! «ой!»). Известно к тому же, что многие междометия восходят к знаменательным словам (ср. франц. *diable*! «черт возьми!» при *diable* «черт», *mordieu* «черт возьми!» из *mort Dieu* букв. «смерть бога» и т.д.).

Итак, и звукоподражания и междометия занимают в языке вто­ростепенное место, а их символическое происхождение отчасти спорно.

§ 3. Второй принцип: линейный характер означающего

Означающее, являясь по своей природе воспринимаемым на слух, развертывается только во времени и характеризуется заим­ствованными у времени признаками: а) *оно обладает протяжен­ностью* и б) *эта протяженность имеет одно измерение—* это ли­ния.

Об этом совершенно очевидном принципе сплошь и рядом не упоминают вовсе, по-видимому, именно потому, что считают его чересчур простым, между тем это весьма существенный принцип и последствия его неисчислимы. Он столь же важен, как и первый принцип. От него зависит весь механизм языка. В противополож­ность означающим, воспринимаемым зрительно (морские сигна­лы и т.п.), которые могут комбинироваться одновременно в не­скольких измерениях, означающие, воспринимаемые на слух, рас­полагают лишь линией времени; их элементы следуют один за другим, образуя цепь. Это свойство обнаруживается воочию, как только мы переходим к изображению их на письме, заменяя пос­ледовательность их во времени пространственным рядом графи­ческих знаков.

В некоторых случаях это не столь очевидно. Если, например, я делаю ударение на некотором слоге, то может показаться, что я кумулирую в одной точке различные значимые элементы. Но это иллюзия; слог и его ударение составляют лишь один акт фонации: внутри этого акта нет двойственности, но есть только различные противопоставления его со смежными элементами.

**Глава 2**

**Неизменчивость и изменчивость знака**

§ 1. Неизменчивость знака

Если по отношению к выражаемому им понятию означающее представляется свободно выбранным, то, наоборот, по отноше­нию к языковому коллективу, который им пользуется, оно не сво­бодно, а навязано. У этого коллектива мнения не спрашивают, и выбранное языком означающее не может быть заменено другим. Этот факт, кажущийся противоречивым, можно было бы, грубо говоря, назвать «вынужденным ходом». Языку как бы говорят: «Вы­бирай!», но тут же добавляют: «...вот этот знак, а не другой!». Не только отдельный человек не мог бы, если бы захотел, ни в чем изменить сделанный уже языком выбор, но и сам языковой кол­лектив не имеет власти ни над одним словом; общество принима­ет язык таким, какой он есть (telle qu'elle).

Таким образом, язык не может быть уподоблен просто догово­ру; именно с этой стороны языковой знак представляет особый интерес для изучения, ибо если мы хотим показать, что действу­ющий в коллективе закон есть нечто, чему подчиняются, а не свободно принимают, то наиболее блестящим подтверждением этому является язык.

Рассмотрим, каким же образом языковой знак не подчиняется нашей воле, и укажем затем на вытекающие из этого важные след­ствия.

Во всякую эпоху, как бы далеко в прошлое мы ни углубля­лись, язык всегда выступает как наследие предшествующей эпохи. Нетрудно себе представить возможность в прошлом акта, в силу которого в определенный момент названия были присвоены ве­щам, то есть в силу которого было заключено соглашение о рас­пределении определенных понятий по определенным акустичес­ким образам, хотя реально такой акт никогда и нигде не был за­свидетельствован. Мысль, что так могло произойти, подсказывается нам лишь нашим очень острым чувством произвольности знака.

Фактически всякое общество знает и всегда знало язык только как продукт, который унаследован от предшествующих поколе­ний и который должен быть принят таким, как он есть. Вот почему вопрос о происхождении языка не так важен, как это обычно ду­мают. Такой вопрос не к чему даже ставить; единственный реаль­ный объект лингвистики — это нормальная и регулярная жизнь уже сложившегося языка. Любое данное состояние языка всегда есть продукт исторических факторов, которые и объясняют, поче­му знак неизменчив, то есть почему он не поддается никакой про­извольной замене.

Но утверждение, что язык есть наследие прошлого, решитель­но ничего не объясняет, если ограничиться только этим. Разве нельзя изменить в любую минуту существующие законы, унасле­дованные от прошлого?

Высказав такое сомнение, мы вынуждены, подчеркнув соци­альную природу языка, поставить вопрос так, как если бы его ставили в отношении прочих общественных установлении. Каким образом передаются эти последние? Таков более общий вопрос, покрывающий и вопрос о неизменчивости. Прежде всего надо вы­яснить, какой степенью свободы пользуются прочие обществен­ные установления; мы увидим, что в отношении каждого из них баланс между навязанной обществу традицией и свободной от тра­диции деятельностью общества складывается по-разному. Затем надо выяснить, почему для данного общественного установления фак­торы первого рода более или, наоборот, менее действенны, чем факторы второго рода. И наконец, обратившись вновь к языку, мы должны спросить себя, почему исторический фактор преемствен­ности господствует в нем полностью и исключает возможность какого-либо общего и внезапного изменения. <...>

1. ***Произвольность знака.*** Выше мы приняли допущение о теоре­тической возможности изменения языка. Углубляясь в вопрос, мы видим, что в действительности сама произвольность знака защи­щает язык от всякой попытки сознательно изменить его. Говоря­щие, будь они даже сознательнее, чем есть на самом деле, не мог­ли бы обсуждать вопросы языка. Ведь для того чтобы подвергать обсуждению какую-либо вещь, надо, чтобы она отвечала какой-то разумной норме. Можно, например, спорить, какая форма бра­ка рациональнее — моногамия или полигамия, и приводить дово­ды в пользу той или другой. Можно также обсуждать систему сим­волов, потому что символ связан с обозначаемой вещью рационально; в отношении же языка, системы произвольных зна­ков, не на что опереться. Вот почему исчезает всякая почва для обсуждения: ведь нет никаких оснований для того, чтобы предпо­честь означающее *sœur* означающему *sister* для понятия «сестра» и означающее *Ochs* означающему *bœиf* для понятия «бык».

2. ***Множественность знаков,*** необходимых в любом языке. Зна­чение этого обстоятельства немаловажно. Система письма, состоя­щая из 20—40 букв, может быть, если на то пошло, заменена дру­гою. То же самое можно было бы сделать и с языком, если бы число элементов, его составляющих, было ограниченным. Но чис­ло знаков языка бесконечно.

3. ***Слишком сложный характер системы.*** Язык является систе­мой. Хотя, как мы увидим ниже, с этой именно стороны он не целиком произволен, и, таким образом, в нем господствует отно­сительная разумность, но вместе с тем именно здесь и обнаружи­вается неспособность говорящих преобразовать его. Дело в том, что эта система представляет собой сложный механизм и постичь ее можно лишь путем специальных размышлений. Даже те, кто изо дня в день ею пользуются, о самой системе ничего не знают. Мож­но было бы представить себе возможность преобразования языка лишь путем вмешательства специалистов, грамматистов, логиков и т.д. Но опыт показывает, что до сего времени такого рода попыт­ки успеха не имели.

4. ***Сопротивление коллективной косности любым языковым ин­новациям.*** Все вышеуказанные соображения уступают по своей убе­дительности следующему: в каждый данный момент язык есть дело всех и каждого; будучи распространен в некотором коллективе и служа ему, язык есть нечто такое, чем каждый человек пользуется ежечасно, ежеминутно. В этом отношении его никак нельзя срав­нивать с другими общественными установлениями. Предписания закона, обряды религии, морские сигналы и пр. затрагивают единовременно лишь ограниченное количество лиц и на ограни­ченный срок; напротив, языком каждый пользуется ежеминутно, почему язык и испытывает постоянное влияние всех. Это фунда­ментальный фактор, и его одного достаточно, чтобы показать не­возможность революции в языке. Из всех общественных установле­нии язык предоставляет меньше всего возможностей для проявле­ния инициативы. Он составляет неотъемлемую часть жизни общества, которое, будучи по природе инертным, выступает прежде всего как консервативный фактор.

Однако еще недостаточно сказать, что язык есть продукт соци­альных сил, чтобы стало очевидно, что он несвободен: помня, что язык всегда унаследован от предшествующей эпохи, мы должны добавить, что те социальные силы, продуктом которых он является, действуют в зависимости от времени. Язык устойчив не только пото­му, что он привязан к косной массе коллектива, но и вследствие того, что он существует во времени. Эти два факта неотделимы. Связь с прошлым ежеминутно препятствует свободе выбора. Мы говорим *человек* и *собака,* потому что и до нас говорили *человек* и *собака.* Это не препятствует тому, что во всем явлении в целом всегда налицо связь между двумя противоречивыми факторами — произвольным соглашением, в силу которого выбор означающего свободен, и вре­менем, благодаря которому этот выбор оказывается жестко опреде­ленным. Именно потому, что знак произволен, он не знает другого закона, кроме закона традиции, и, наоборот, он может быть произ­вольным только потому, что опирается на традицию.

§ 2. Изменчивость знака

Время, обеспечивающее непрерывность языка, оказывает на него и другое действие, которое на первый взгляд противополож­но первому, а именно: оно с большей или меньшей быстротой изменяет языковые знаки, так что в известном смысле можно го­ворить одновременно как о неизменчивости языкового знака, так и об изменчивости его.

В конце концов, оба эти факта взаимно обусловлены: знак мо­жет изменяться, потому что его существование не прерывается. При всяком изменении преобладающим моментом является ус­тойчивость прежнего материала, неверность прошлому лишь от­носительна. Вот почему принцип изменения опирается на прин­цип непрерывности.

Изменение во времени принимает различные формы, каждая из которых могла бы послужить материалом для большой главы в теории лингвистики. Не вдаваясь в подробности, необходимо под­черкнуть следующее.

Прежде всего требуется правильно понимать смысл, который приписывается здесь слову «изменение». Оно может породить мысль, что в данном случае речь идет специально о фонетических измене­ниях, претерпеваемых означающим, или же специально о смыс­ловых изменениях, затрагивающих обозначаемое понятие. Такое понимание изменения было бы недостаточным. Каковы бы ни были факторы изменения, действуют ли они изолированно или в соче­тании друг с другом, они всегда приводят к *сдвигу отношения между означаемым и означающим.*

Вот несколько примеров. Лат. *necáre,* означающее «убивать», превратилось во французском в *поуеr* со значением «топить (в воде)». Изменились и акустический образ и понятие; однако бесполезно различать обе эти стороны данного факта, достаточно констатиро­вать in globo, что связь понятия со знаком ослабла и что произо­шел сдвиг в отношениях между ними. Несколько иначе обстоит дело, если сравнивать классически латинское *necāre* не с француз­ским *noyer*, а с народнолатинским *necáre* IV и V вв., означающим «топить»; но и здесь, при отсутствии изменения в означающем, имеется сдвиг в отношении между понятием и знаком.

Старонемецкое *dritteil* «треть» в современном немецком языке превратилось в *Drittel.* В данном случае, хотя понятие осталось тем же, отношение между ним и означающим изменилось двояким образом: означающее видоизменилось не только в своем матери­альном аспекте, но и в своей грамматической форме; оно более не включает элемента *Teil* «часть», оно стало простым словом. Так или иначе, и здесь имеет место сдвиг в отношении между поняти­ем и знаком.

В англосаксонском языке дописьменная форма *fōt* «нога» со­хранилась в виде *fōt* (совр. англ. *foot),* а форма мн.ч. *\*fōti* «ноги» превратилась в *fēt* (совр. англ. *feet).* Какие бы изменения здесь ни подразумевались, ясно одно: произошел сдвиг в отношении, воз­никли новые соответствия между звуковым материалом и поня­тием.

Язык коренным образом не способен сопротивляться факто­рам, постоянно меняющим отношения между означаемым и озна­чающим. Это одно из следствий, вытекающих из принципа произ­вольности знака.

Прочие общественные установления — обычаи, законы и т.п. — основаны, в различной степени, на естественных отношениях ве­щей; в них есть необходимое соответствие между использованны­ми средствами и поставленными целями. Даже мода, определяю­щая наш костюм, не вполне произвольна: нельзя отклониться да­лее определенной меры от условий, диктуемых свойствами человеческого тела. Язык же, напротив, ничем не ограничен в вы­боре своих средств, ибо нельзя себе представить, что могло бы воспрепятствовать ассоциации какого угодно понятия с какой угод­но последовательностью звуков. <...>

Своим произвольным характером язык резко отличается от всех прочих общественных установлении. Это ясно обнаруживается в том, как он развивается; нет ничего сложнее его развития: так как язык существует одновременно и в обществе и во времени, то никто ничего не может в нем изменить; между тем произвольность его знаков теоретически обеспечивает свободу устанавливать лю­бые отношения между звуковым материалом и понятиями. Из это­го следует, что оба элемента, объединенные в знаке, живут в не­бывалой степени обособленно и что язык изменяется, или, вер­нее, эволюционирует, под воздействием всех сил, которые могут повлиять либо на звуки, либо на смысл. Эта эволюция является неизбежной: нет языка, который был бы от нее свободен. По исте­чении некоторого промежутка времени в каждом языке можно всегда констатировать ощутимые сдвиги.

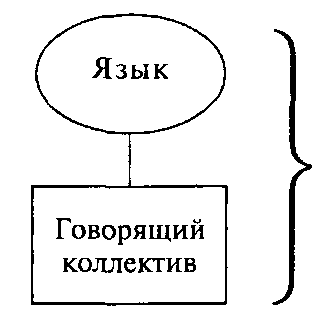
Это настолько верно, что принцип этот можно проверить и на материале искусственных языков. Любой искусственный язык, пока он еще не перешел в общее пользование, является собственнос­тью автора, но, как только он начинает выполнять свое назначе­ние и становится общим достоянием, контроль над ним теряется. К числу языков этого рода принадлежит эсперанто. <...> По исте­чении первого периода своего существования этот язык подчи­нится, по всей вероятности, условиям семиологического разви­тия: он станет передаваться в силу законов, ничего общего не имеющих с законами, управляющими тем, что создается проду­манно; возврат к исходному положению будет уже невозможен. Человек, который пожелал бы создать неизменяющийся язык для будущих поколений, походил бы на курицу, высидевшую утиное яйцо: созданный им язык волей-неволей был бы захвачен течени­ем, увлекающим вообще все языки.

Непрерывность знака во времени, связанная с его изменением во времени, есть принцип общей семиологии: этому можно было бы найти подтверждения в системе письма, в языке глухонемых и т.д. <...>

Резюмируем этапы нашего рассуждения, увязывая их с уста­новленными во введении принципами.

1. Избегая бесплодных дефиниций слов, мы прежде всего вы­делили внутри общего явления, каким является *речевая деятель­ность,* две ее составляющих (facteur): *язык* и *речь.* Язык для нас — это речевая деятельность минус речь. Он есть совокупность языко­вых навыков, позволяющих отдельному человеку понимать других и быть ими понятым.

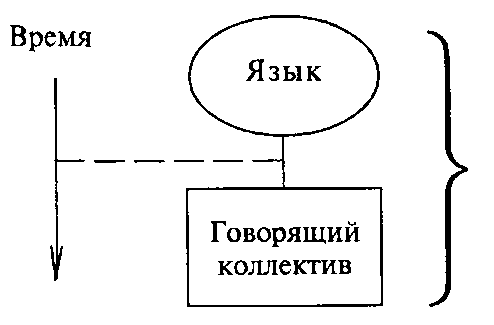
2. Но такое определение все еще оставляет язык вне социаль­ной реальности, оно представляет его чем-то нереальным, так как включает лишь один аспект реальности, аспект индивидуальный: чтобы был язык, нужен *говорящий коллектив.* Вопреки видимости, язык никогда не существует вне общества, ибо язык — это семиологическое явление. Его социальная природа — одно из его внут­ренних свойств; полное его определение ставит нас перед лицом двух неразрывно связанных явлений, как это показано на ниже­следующей схеме:



Но в этих условиях язык только жизнеспособен, но еще не живет; мы приняли во внимание лишь социальную реальность, но не исторический факт.

3. Может показаться, что язык в силу произвольности языково­го знака представляет собой свободную систему, организуемую по воле говорящих, зависящую исключительно от принципа рацио­нальности. Такой точке зрения, собственно, не противоречит и социальный характер языка, взятый сам по себе. Конечно, кол­лективная психология не оперирует чисто логическим материа­лом; нелишне вспомнить и о том, как разум сдает свои позиции в практических отношениях между людьми. И все же рассматривать язык как простую условность, доступную изменению по воле за­интересованных лиц, препятствует нам не это, но действие време­ни, сочетающееся с действием социальных сил: вне категории вре­мени языковая реальность неполна, и никакие заключения отно­сительно нее невозможны.

Если бы мы взяли язык во времени, но отвлеклись от говоряще­го коллектива (представим себе человека, живущего изолированно в течение многих веков), то мы не обнаружили бы в нем, возможно, никакого изменения: время было бы не властно над ним. И наобо­рот, если мы будем рассматривать говорящий коллектив вне време­ни, то не увидим действия на язык социальных сил. Чтобы прибли­зиться к реальности, нужно, следовательно, добавить к приведен­ной выше схеме знак, указывающий на движение времен.



Теперь уже язык теряет свою свободу, так как время позволяет воздействующим на него социальным силам оказывать свое дей­ствие; мы приходим, таким образом, к принципу непрерывности, аннулирующей свободу. Однако непрерывность по необходимости подразумевает изменение, то есть более или менее значительные сдвиги в отношениях между означаемым и означающим.

**Глава 3**

**Статическая лингвистика и эволюционная лингвистика**

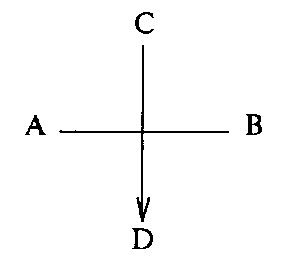
§ 1. Внутренняя двойственность всех наук, оперирующих понятием значимости

Едва ли многие лингвисты догадываются, что появление фак­тора времени способно создать лингвистике особые затруднения и ставит ее перед двумя расходящимися в разные стороны путями.

Большинство наук не знает этой коренной двойственности: фактор времени не сказывается на них сколь-нибудь существен­ным образом. Астрономия установила, что небесные светила пре­терпевают заметные изменения, но ей не пришлось из-за этого расчлениться на две дисциплины. Геология почти всегда имеет дело с последовательными изменениями во времени, но, когда она переходит к уже сложившимся состояниям Земли, эти состояния не рассматриваются как предмет совсем другой науки. Есть описа­тельная наука о праве, и есть история права, но никто не противо­поставляет их друг другу. Политическая история государств развер­тывается целиком во времени, однако, когда историк рисует кар­тину какой-либо эпохи, у нас не создается впечатления, что мы выходим за пределы истории. И наоборот, наука о политических институтах является по существу своему наукой описательной, но она отлично может, когда встретится надобность, рассматривать исторические вопросы, не теряя при этом своего единства.

Наоборот, та двойственность, о которой мы говорим, властно тяготеет, например, над экономическими науками. В противопо­ложность указанным выше отраслям знания политическая эконо­мия и экономическая история составляют две резко разграничен­ные дисциплины в недрах одной науки. <...> Вполне аналогичная необходимость заставляет и нас членить лингвистику на две части, каждая из которых имеет свои собственные основания. Дело в том, что в лингвистике, как и в политической экономии, мы сталкива­емся с понятием *значимости.* В политической экономии ее имену­ют *ценностью.* В обеих науках речь идет о *системе эквивалентностей между вещами различной природы:* в политической экономии — между трудом и заработной платой, в лингвистике — между озна­чаемым и означающим.

Совершенно очевидно, что в интересах всех вообще наук сле­довало бы более тщательно разграничивать те оси, по которым располагаются входящие в их компетенцию объекты. Всюду следо­вало бы различать, как указано на нижеследующем рисунке: 1) *ось одновременности* (АВ), касающуюся отношений между сосуществу­ющими явлениями, где исключено всякое вмешательство време­ни, и 2) *ось последовательности* (CD), на которой никогда нельзя рассматривать больше одной вещи сразу и по которой располага­ются все явления первой оси со всеми их изменениями.



<...>

С наибольшей категоричностью различение это обязательно для лингвиста, ибо язык есть система чистых значимостей, определя­емая исключительно наличным состоянием входящих в нее элемен­тов. Поскольку одной из своих сторон значимость связана с реаль­ными вещами и с их естественными отношениями (как это имеет место в экономической науке: например, ценность земельного уча­стка пропорциональна его доходности), постольку можно до неко­торой степени проследить эту значимость во времени, не упуская, однако, при этом из виду, что в каждый данный момент она зависит от системы сосуществующих с ней других значимостей. Тем не менее ее связь с вещами дает ей естественную базу, а потому вытекающие из этого оценки никогда не являются вполне произвольными, они могут варьировать, но в ограниченных пределах. Однако, как мы видели, естественные вещи и их отношения вообще не имеют отно­шения к лингвистике, когда речь идет о значимостях.

Следует, далее, заметить, что чем сложней и строже организова­на система значимостей, тем необходимее, именно вследствие слож­ности этой системы, изучать ее последовательно, по обеим осям. Никакая система не может сравниться в этом отношении с языком: нигде мы не имеем в наличии такой точности обращающихся зна­чимостей, такого большого количества и такого разнообразия эле­ментов, и притом связанных такими строгими взаимозависимостя­ми. Множественность знаков, о которой мы уже говорили при рас­смотрении непрерывности языка, полностью препятствует одновременному изучению отношений знаков во времени и их от­ношений в системе.

Вот почему мы различаем две лингвистики. <...>

Чтобы резче оттенить это противопоставление и это скреще­ние двоякого рода явлений, относящихся к одному объекту, мы предпочитаем говорить о *синхронической* лингвистике и о *диахро­нической* лингвистике. Синхронично все, что относится к стати­ческому аспекту нашей науки, диахронично все, что касается эво­люции. Существительные же *синхрония* и *диахрония* будут соответ­ственно обозначать состояние языка и фазу эволюции. <...>

§ 3. Внутренняя двойственность лингвистики, показанная на примерах

Противоположность двух точек зрения — синхронической и диахронической — совершенно абсолютна и не терпит компро­мисса. Приведем несколько фактов, чтобы показать, в чем состоит это различие и почему оно неустранимо.

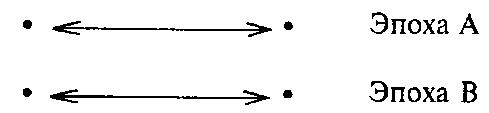
Латинское *crispus* «волнистый, курчавый» оставило в наслед­ство французскому языку корень *сréр-,* откуда глаголы *crépir* «по­крывать штукатуркой» и *décrépir* «отбивать штукатурку». С другой стороны, в какой-то момент из латинского языка во французский было заимствовано слово *dēcrepitus* «дряхлый» с неясной этимоло­гией, и из него получилось *décrépit* с тем же значением. Несомнен­но, в настоящее время говорящие связывают между собой *ип mur décrépi* «облупившаяся стена» и *ип homme décrépit* «дряхлый чело­век», хотя исторически эти два слова ничего общего между собой не имеют; часто говорят *façade décrépite d'une maison* в смысле «об­лупившийся фасад дома». И это есть факт статический, поскольку речь идет об отношении между двумя сосуществующими в языке явлениями. Для того чтобы он проявился, оказалось необходимым стечение целого ряда обстоятельств из области эволюции: потре­бовалось, чтобы *crisp-* стало произноситься *сréр-* и чтобы в некий момент из латинского было заимствовано новое слово.

Вполне очевидно, что эти диахронические факты не находятся ни в каком отношении с порожденным ими синхроническим фак­том; они — явления иного порядка.

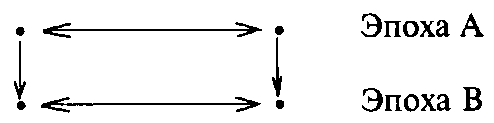
Вот еще один пример, имеющий общее значение. В древневерх­ненемецком языке множественное число от существительного *gast* «гость» первоначально имело форму *gasti,* от существительного *hant* «рука» — *hanti* и т.д. Впоследствии это / вызвало умлаут, то есть при­вело к изменению (в предшествующем слоге) *а* в *е: gasti → gesti, hanti → henti.* Затем это *i* утратило свой тембр, откуда *gesti — geste* и т.д. В результате ныне мы имеем *Cast: Gäste, Hand: Hände,* целый разряд слов обнаруживает то же различие между единственным и множе­ственным числом. Аналогичное, в общем, явление произошло в ан­глосаксонском языке: первоначально было *f­­ōt* «нога», мн.ч. *\*fōti; tōþ* «зуб», мн.ч. *\*tōþi; gōs* «гусь», мн.ч. *\*gōsi* и т.д.; затем в результате пер­вого фонетического изменения — умлаута — *\*fōti* превратилось в *\*fēti,* в результате второго фонетического изменения — падения ко­нечного *i* — *\*fēti* дало *fēt*; так возникло отношение ед.ч. *f­­ōt*: мн.ч. *fēt* и аналогично *fōp* : *fēp, gōs* : *gēs* (совр. англ. *foot* : *feet, tooth* : *teeth, goose* : *geese).*

Первоначально, когда говорили *gast* : *gasti, fōt* : *fōti,* множествен­ное число выражалось простым прибавлением *i; Gast* : *Gäste* и *fōt* : *fēt* выявляют иной механизм для выражения множественного числа. Этот механизм неодинаков в обоих случаях: в староанглийском — только противопоставление гласных, в немецком — еще и наличие или отсутствие конечного *-е,* но это различие для нас несущественно.

Отношение между единственным числом и множественным, образованным от него, каковы бы ни были их формы, для каждо­го данного момента может быть выражено на горизонтальной оси, а именно



Те же факты (каковы бы они ни были), которые вызвали пере­ход от одной формы к другой, должны, наоборот, быть располо­жены на вертикальной оси, так что в результате мы получаем



Наш типовой пример порождает целый ряд соображений, не­посредственно относящихся к нашей теме:

1. Диахронические факты вовсе не имеют своей целью выра­зить другим знаком какую-то определенную значимость в языке: переход *gasti* в *gesti, geste (Gäste)* нисколько не связан с множе­ственным числом существительных, так как в *tragit* → *trägt* тот же умлаут связан со спряжением. Таким образом, диахронический факт является самодовлеющим событием, и те конкретные синхрони­ческие последствия, которые могут из него проистекать, ему со­вершенно чужды.

2. Диахронические факты вовсе не стремятся изменить систему. Здесь отсутствует намерение перейти от одной системы отноше­ний к другой: перемена касается не упорядоченного целого, а только отдельных элементов его.

Здесь мы снова встречаемся с уже высказанным нами принци­пом: система никогда не изменяется непосредственно, сама по себе она неизменна, изменению подвержены только отдельные эле­менты независимо от связи, которая соединяет их со всей совокуп­ностью. Это можно сравнить с тем, как если бы одна из планет, обращающихся вокруг Солнца, изменилась в размере и массе: этот изолированный факт повлек бы за собой общие последствия и на­рушил бы равновесие всей Солнечной системы в целом. Для выра­жения множественного числа необходимо противопоставление двух явлений: либо *fōt* : *\*fōti,* либо *fōt* : *fēt,* эти два способа в равной мере возможны, и говорящие перешли от одного к другому, как бы и не прикасаясь к ним: не целое было сдвинуто и не одна система породила другую, но один из элементов первой системы изменил­ся, и этого оказалось достаточно для того, чтобы произвести но­вую систему.

3. Это наблюдение помогает нам понять *случайный* характер вся­кого состояния. В противоположность часто встречающемуся оши­бочному представлению язык не есть механизм, созданный и при­способленный для выражения понятий. Наоборот, как мы видели, новое состояние, порожденное изменением каких-либо его эле­ментов, вовсе не предназначается для выражения значений, кото­рыми оно оказалось пропитанным. Дано случайное состояние *fōt* : *fēt,* и им воспользовались для выражения различия между единствен­ным и множественным числом. Противопоставление *fōt* : *fēt* слу­жит этому не лучше, чем *fōt* : *\*fōti.* Каждый раз, как возникает новое состояние, разум одухотворяет уже данную материю и как бы вдыхает в нее жизнь. <...>

4. Имеют ли факты, принадлежащие к диахроническому ряду, по крайней мере ту же природу, что и факты синхронического ряда? Нет, не имеют, ибо, как мы уже установили, изменения происходят без всякого намерения. Синхронический факт, напро­тив, всегда облечен значением; он всегда апеллирует к двум одно­временно существующим членам отношения: множественное чис­ло выражается не формой *Gäste,* а противоположением *Gast: Gäste.* В диахроническом плане верно как раз обратное: он затрагивает лишь один член отношения и для появления новой формы *Gäste* надо, чтобы старая форма *gasti* уступила ей место и исчезла.

Попытка объединить внутри одной дисциплины столь различ­ные по характеру факты представляется фантастическим предпри­ятием. В диахронической перспективе мы имеем дело с явления­ми, которые не имеют никакого отношения к системам, хотя и обусловливают их.

Приведем еще несколько примеров, подтверждающих и до­полняющих выводы, извлеченные из первых.

Во французском языке ударение всегда падает на последний слог, если только он не содержит в себе немого *е* (). Это факт синхронический: отношение между совокупностью французских слов и ударением французского слова. Откуда он взялся? Из пред­шествовавшего состояния. В латинском языке система ударения была иная и более сложная: ударение падало на предпоследний слог, если он был долгим; если же он был кратким, то ударение пере­носилось на третий слог от конца (ср. *amī́cus* «друг», но *а́nǐта* «душа»). Этот закон описывает отношения, не имеющие ни малейшей ана­логии с законом французского ударения. Тем не менее это то же самое ударение — в том смысле, что оно осталось на тех же местах; во французском слове оно падает всегда на тот слог, который имел его в латинском языке: *amī́cuт → amí, ánimam → âте.* Между тем формулы ударения во французском и латинском различны, и это потому, что изменилась форма слов. Как известно, все, что следо­вало за ударением, либо исчезло, либо свелось к немому *е.* Вслед­ствие этого изменения слова позиция ударения по отношению к целому слову стала иной; в результате говорящие, сознавая нали­чие нового отношения, стали инстинктивно ставить ударение на последнем слоге даже в заимствованных, унаследованных через письменность словах *(facile, consul, ticket, burgrave* и т.п.). Ясно, что у говорящих не было намерения изменить систему, сознатель­ного стремления к новой формуле ударения, ибо в словах типа *amī́cuт → amí* ударение осталось на прежнем слоге; однако тут вмешалась диахрония: место ударения оказалось измененным, хотя к нему никто и не прикасался. Закон ударения, как и все, относя­щееся к лингвистической системе, есть соотношение (disposition) членов системы, то есть случайный и невольный результат эволю­ции.

Приведем еще более разительный пример. В старославянском языке лто имеет в творительном падеже единственного числа форму лтомь, в именительном падеже множественного числа — лта , в родительном падеже множественного числа — лтъ и т.д.; в этом склонении у каждого падежа свое окончание. Однако сла­вянские «слабые» гласные ь и ъ, восходящие к и.-е. *ǐ* и *ǔ,* в конце концов исчезли; вследствие этого данное существительное, напри­мер в русском языке, склоняется так: *лето, летом, лета, лет.*

Равным образом *рукá* склоняется так: вин.п. ед.ч. *рýку,* им.п. мн.ч. *рýки,* род.п. мн.ч. *рук* и т.д. Таким образом, здесь в формах *лет, рук* показателем родительного падежа множественного числа является нуль. Итак, оказывается, что материальный знак не является не­обходимым для выражения понятия; язык может ограничиться противопоставлением чего-либо ничему. Так, в приведенном при­мере мы узнаем родительный падеж множественного числа *рук* просто потому, что это ни *рукá,* ни *рýку,* ни какая-либо из прочих форм. На первый взгляд кажется странным, что столь специфичес­кое понятие, как понятие родительного падежа множественного числа, стало обозначаться *нулем,* но это как раз доказывает, что все происходит по чистой случайности. Язык есть механизм, про­должающий функционировать, несмотря на повреждения, кото­рые ему наносятся.

Все вышеизложенное подтверждает уже сформулированные нами принципы, которые мы резюмируем здесь следующим обра­зом:

Язык есть система, все части которой могут и должны рассмат­риваться в их синхронической взаимообусловленности.

Изменения никогда не происходят во всей системе в целом, а лишь в том или другом из ее элементов, они могут изучаться толь­ко вне ее. Конечно, всякое изменение сказывается в свою очередь на системе, но исходный факт затрагивает лишь одну ее точку; он не находится ни в какой внутренней связи с теми последствиями, которые могут из него проистечь для целого. Это различие по су­ществу между сменяющимися элементами и элементами сосуще­ствующими, между частными фактами и фактами, затрагивающими систему, препятствует изучению тех и других в рамках одной науки.

§ 4. Различие синхронии и диахронии, показанное на сравнениях

Чтобы показать одновременно и автономность и зависимость синхронического ряда от диахронического, первый из них можно сравнить с проекцией тела на плоскость. В самом деле, всякая про­екция непосредственно зависит от проецируемого тела, и все-таки она представляет собою нечто особое, отличное от самого тела. Иначе не было бы специальной науки о проекциях: достаточно было бы рассматривать сами тела. В лингвистике таково же отно­шение между исторической действительностью и данным состоя­нием языка, представляющим как бы проекцию этой действитель­ности в тот или иной момент. Синхронические состояния позна­ются не путем изучения тел, то есть диахронических событий, подобно тому как понятие геометрических проекций не постига­ется в результате изучения, хотя бы весьма пристального, различ­ных видов тел. <...>

Из всех сравнений, которые можно было бы придумать, наи­более показательным является сравнение, которое можно провес­ти между функционированием языка и игрой в шахматы. И здесь и там налицо система значимостей и наблюдаемое изменение их. Партия в шахматы есть как бы искусственная реализация того, что в естественной форме представлено в языке.

Рассмотрим это сравнение детальнее.

Прежде всего, понятие позиции в шахматной игре во многом соответствует понятию состояния в языке. Соответствующая зна­чимость фигур зависит от их положения в каждый данный момент на доске, подобно тому как в языке значимость каждого элемента зависит лишь от его противоположения всем прочим элементам.

Далее, система всегда моментальна; она видоизменяется от по­зиции к позиции. Правда, значимость фигур зависит также, и даже главным образом, от неизменного соглашения: от правил игры, су­ществующих еще до начала партии и сохраняющих свою силу после каждого хода. Но такие правила, принятые раз навсегда, существуют и в области языка: это неизменные принципы семиологии.

Наконец, для перехода от одного состояния равновесия к дру­гому или — согласно принятой нами терминологии — от одной синхронии к другой достаточно сделать ход одной фигурой; не требуется передвижки всех фигур сразу. Здесь мы имеем полное соответствие диахроническому факту со всеми его особенностями. В самом деле:

а) Каждый шахматный ход приводит в движение только одну фигуру; так и в языке изменениям подвергаются только отдельные элементы.

б) Несмотря на это, каждый ход сказывается на всей системе; игрок не может в точности предвидеть последствия каждого хода. Изменения значимостей всех фигур, которые могут произойти вследствие данного хода, в зависимости от обстоятельств будут либо ничтожны, либо весьма значительны, либо, в общем, скром­ны. Один ход может коренным образом изменить течение всей партии и повлечь за собой последствия даже для тех фигур, кото­рые в тот момент, когда его делали, были им не затронуты. Мы уже видели, что точно то же верно и в отношении языка.

в) Ход отдельной фигурой есть факт, абсолютно отличный от предшествовавшего ему и следующего за ним состояния равнове­сия. Произведенное изменение не относится ни к одному из этих двух состояний; для нас же важны одни лишь состояния.

В шахматной партии любая данная позиция характеризуется, между прочим, тем, что она совершенно независима от всего того, что ей предшествовало; совершенно безразлично, каким путем она сложилась; зритель, следивший за всей партией с самого начала, не имеет ни малейшего преимущества перед тем, кто пришел взгля­нуть на положение партии в критический момент; для описания данной шахматной позиции совершенно незачем вспоминать о том, что происходило на доске десять секунд тому назад. Все это рас­суждение применимо и к языку и еще раз подчеркивает коренное различие, проводимое нами между диахронией и синхронией. Речь функционирует лишь в рамках данного состояния языка, и в ней нет места изменениям, происходящим между одним состоянием и другим.

Лишь в одном пункте наше сравнение неудачно: у шахматиста *имеется намерение* сделать определенный ход и воздействовать на систему отношений на доске, язык же ничего не замышляет — его «фигуры» передвигаются, или, вернее, изменяются, стихийно и случайно. Умлаут в формах *Hände* вместо *hanti* и *Gäste* вместо *gasti* создал множественное число нового вица, но он также вызвал к жизни и глагольную форму *trägt* вместо *tragit* и т.д. Чтобы партия в шахматы во всем уподобилась функционированию языка, необхо­димо представить себе бессознательно действующего или ничего не смыслящего игрока. Впрочем, это единственное отличие делает сравнение еще более поучительным, показывая абсолютную не­обходимость различать в лингвистике два ряда явлений. В самом деле, если диахронические факты несводимы к обусловленной ими синхронической системе даже тогда, когда соответствующие изменения подчиняются разумной воле, то тем более есть основания полагать, что так обстоит дело и тогда, когда эти диахронические факты проявляют свою слепую силу при столкновении с органи­зованной системой знаков.

§ 5. Противопоставление синхронической

и диахронической лингвистик в отношении их методов и принципов

Противопоставление между диахроническим и синхроничес­ким проявляется всюду. Прежде всего (мы начинаем с явления наиболее очевидного) они не одинаковы по своему значению для языка. Ясно, что синхронический аспект превалирует над диахро­ническим, так как для говорящих только он — подлинная и един­ственная реальность. Это же верно и для лингвиста: если он при­мет диахроническую перспективу, то увидит отнюдь не язык, а только ряд видоизменяющих его событий. <...>

Методы синхронии и диахронии тоже различны, и притом в двух отношениях:

а) Синхрония знает только одну перспективу, перспективу говорящих, и весь ее метод сводится к собиранию от них языковых фактов; чтобы убедиться, в какой мере то или другое языковое явление реально, необходимо и достаточно выяснить, в какой мере оно существует в сознании говорящих. Напротив, диахроническая лингвистика должна различать две перспективы: одну *проспективную,* следующую за течением времени, и другую *ретроспектив­ную,* направленную вспять; отсюда — раздвоение метода. <...>

б) Второе различие вытекает из разницы в объеме той облас­ти, на которую распространяется та и другая дисциплина. Объек­том синхронического изучения является не все совпадающее по времени, а только совокупность фактов, относящихся к тому или другому языку; по мере надобности подразделение доходит до ди­алектов и поддиалектов. <...> Наоборот, диахроническая лингвис­тика не только не требует подобной специализации, но и отверга­ет ее; рассматриваемые ею элементы не принадлежат обязательно к одному языку (ср. и.-е. *\*esti,* греч. *ésti,* нем. *ist,* франц. *est).* Различие же между отдельными языками создается последовательным ря­дом событий, развертывающихся в языке на временной оси и ум­ножаемых действием пространственного фактора. Для сопоставле­ния двух форм достаточно, если между ними есть историческая связь, какой бы косвенной она ни была.

<...> Таким образом, синхроническое явление не имеет ничего общего с диахроническим: первое есть отношение между одновре­менно существующими элементами, второе — замена во времени одного элемента другим, то есть событие. Мы увидим ниже, что тождества диахронические и синхронические суть вещи совершенно различные: исторически французское отрицание *pas* «не» тожде­ственно существительному *pas* «шаг», тогда как в современном языке это два совершенно разных элемента. Уже этих констатации, казалось бы, было достаточно для уяснения того, что смешивать обе точки зрения нельзя. <...>

§ 6. Синхронический закон и закон диахронический

Мы привыкли слышать о законах в лингвистике, но действи­тельно ли факты языка управляются законами и какого рода мо­гут быть эти законы? Поскольку язык есть общественное установ­ление, можно было бы a priori сказать, что он регулируется пред­писаниями, аналогичными тем, которые управляют жизнью общества. Как известно, всякий общественный закон обладает двумя основными признаками: он является *императивным* и *все­общим.* Он обязателен для всех, и он распространяется на все слу­чаи, разумеется, в определенных временных и пространственных границах.

Отвечают ли такому определению законы языка? Чтобы выяс­нить это, надо прежде всего, в соответствии с только что сказан­ным, и здесь еще раз разделить сферы синхронического и диахро­нического. Перед нами две разные проблемы, смешивать которые нельзя: говорить о лингвистическом законе вообще равносильно желанию схватить призрак. <...>

Синхронический закон — общий закон, но не императивный; попросту отображая существующий порядок вещей, он только констатирует некое состояние, он является законом постольку же, поскольку законом может быть названо, например, утверж­дение, что в данном фруктовом саду деревья посажены косыми рядами. Отображаемый им порядок вещей непрочен как раз пото­му, что этот порядок не императивен. Казалось бы, можно возра­зить, что в речи синхронический закон обязателен в том смысле, что он навязан каждому человеку принуждением коллективного обычая; это верно, но мы ведь понимаем слово «императивный» не в смысле обязательности по отношению к говорящим — отсут­ствие императивности означает, что в *языке* нет никакой силы, гарантирующей сохранение регулярности, установившейся в ка­ком-либо пункте. Так, нет ничего более регулярного, чем синхро­нический закон, управляющий латинским ударением; <...> между тем эти правила ударения не устояли перед факторами изменения и уступили место новому закону, действующему во французском языке. Таким образом, если и можно говорить о законе в синхро­нии, то только в смысле упорядочения, в смысле принципа регу­лярности.

Диахрония предполагает, напротив того, динамический фак­тор, приводящий к определенному результату, производящий оп­ределенное действие. Но этого императивного характера недоста­точно для применения понятия закона к фактам эволюции языка: о законе можно говорить лишь тогда, когда целая совокупность явлений подчиняется единому правилу, а диахронические собы­тия всегда в действительности носят случайный и частный харак­тер, несмотря на видимые исключения из этого.

В отношении семантических факторов это сразу же бросается в глаза: если франц. *poutre* «кобыла» приняло значение «балка», то это было вызвано частными причинами и не зависело от прочих изменений, которые могли произойти в языке в тот же период времени; это было чистой случайностью из числа многих случай­ностей, регистрируемых историей языка.

В отношении синтаксических и морфологических изменений вопрос на первый взгляд не так ясен. В какой-то период все формы прежнего именительного падежа во французском языке исчезли. Разве здесь нет совокупности фактов, подчиненных общему зако­ну? Нет, так как все это является лишь многообразным проявле­нием одного и того же отдельного факта. Затронутым преобразова­нием оказалось самое понятие именительного падежа, и исчезно­вение его, естественно, повлекло за собою исчезновение всей совокупности его форм. Для всякого, кто видит лишь поверхность языка, единственный феномен оказывается скрытым за множе­ством его проявлений; в действительности же он один, по самой глубинной своей сути, и составляет историческое событие, столь же отдельное в своем роде, как и семантическое изменение, про­исходящее со словом *poutre* «кобыла»; он принимает облик «зако­на» лишь постольку, поскольку осуществляется в системе; строгая упорядоченность этой последней и создает иллюзию, будто диа­хронический факт подчиняется тем же условиям, что и синхрони­ческий.

Так же обстоит дело и в отношении фонетических изменений, а между тем обычно говорят о фонетических законах. В самом деле, констатируется, что в данный момент, в данной области все сло­ва, представляющие одну и ту же звуковую особенность, подвер­гаются одному и тому же изменению. <...> Эта регулярность, кото­рую иногда оспаривали, представляется нам весьма прочно уста­новленной; кажущиеся исключения не устраняют неизбежного характера изменений этого рода, так как они объясняются либо более частными фонетическими законами, < ... > либо вмешатель­ством фактов иного порядка (например, аналогии и т.п.). Ничто, казалось бы, лучше не отвечает данному выше определению поня­тия «закон». А между тем, сколь бы ни были многочисленны слу­чаи, на которых подтверждается фонетический закон, все охваты­ваемые им факты являются всего лишь проявлением одного част­ного факта. <...>

В своем утверждении, что сами слова непосредственно не уча­ствуют в фонетических изменениях, мы опираемся на то простое наблюдение, что такие изменения происходят фактически неза­висимо от слов и не могут затронуть их в их сущности. Единство слова образовано ведь не только совокупностью его фонем, оно держится не на его материальном качестве, а на иных его свой­ствах. Предположим, что в рояле фальшивит одна струна: всякий раз, как, исполняя мелодию, будут к ней прикасаться, зазвучит фальшивая нота. Но где именно она зазвучит? В мелодии? Конеч­но, нет: затронута не она, поврежден ведь только рояль. Совер­шенно то же самое происходит в фонетике. Система наших фонем представляет собою инструмент, на котором мы играем, произно­ся слова языка; видоизменись один из элементов системы, могут произойти различные последствия, но сам факт изменения затра­гивает совсем не слова, которые, так сказать, являются лишь ме­лодиями нашего репертуара.

Итак, диахронические факты носят частный характер: сдвиги в системе происходят в результате событий, которые не только ей чужды, но сами изолированы и не образуют в своей совокупности системы.

Резюмируем: синхронические факты, каковы бы они ни были, обладают определенной регулярностью, но совершенно лишены какого-либо императивного характера; напротив, диахронические факты навязаны языку, но не имеют характера общности.

Короче говоря — к чему мы и хотели прийти, — ни синхрони­ческие, ни диахронические факты не управляются законами в оп­ределенном выше смысле. Если тем не менее, невзирая ни на что, угодно говорить о лингвистических законах, то термин этот дол­жен иметь совершенно разное значение в зависимости от того, с чем мы его соотносим: с явлениями синхронического или с явле­ниями диахронического порядка. <...>

Часть вторая

СИНХРОНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА

Глава 5

**Синтагматические отношения и ассоциативные отношения**

§ 1. Определения

Итак, в каждом данном состоянии языка все покоится на от­ношениях. Что же представляют собою эти отношения?

Отношения и различия между членами языковой системы раз­вертываются в двух разных сферах, каждая из которых образует свой ряд значимостей; противопоставление этих двух рядов позво­лит лучше уяснить природу каждого из них. Они соответствуют двум формам нашей умственной деятельности, равно необходи­мым для жизни языка.

С одной стороны, слова в речи, соединяясь друг с другом, всту­пают между собою в отношения, основанные на линейном харак­тере языка, который исключает возможность произнесения двух элементов одновременно. Эти элементы выстраиваются один за дру­гим в потоке речи. Такие сочетания, имеющие протяженность, можно назвать *синтагмами.* Таким образом, синтагма всегда состо­ит минимум из двух следующих друг за другом единиц (например, *re-lire* «перечитать», *centre tous* «против всех», *la vie humaine* «чело­веческая жизнь», *s'il fait beau temps, nous sortirons* «если будет хоро­шая погода, мы пойдем гулять» и т.п). Член синтагмы получает значимость лишь в меру своего противопоставления либо тому, что ему предшествует, либо тому, что за ним следует, или же тому и другому вместе.

С другой стороны, вне процесса речи слова, имеющие между собой что-либо общее, ассоциируются в памяти так, что из них образуются группы, внутри которых обнаруживаются весьма раз­нообразные отношения. Так, слово *enseignement* «обучение» невольно вызывает в сознании множество других слов (например, *enseigner* «обучать», *renseigner* «снова учить» и др., или *armement* «вооруже­ние», *changement* «перемена» и др., или *éducation* «образование», *apprentissage* «учение» и др.), которые той или иной чертой сходны между собою.

Нетрудно видеть, что эти отношения имеют совершенно иной характер, нежели те отношения, о которых только что шла речь. Они не опираются на протяженность, локализуются в мозгу и при­надлежат тому хранящемуся в памяти каждого индивида сокрови­щу, которое и есть язык. Эти отношения мы будем называть *ассо­циативными отношениями.*

Синтагматическое отношение всегда in praesentia: оно основы­вается на двух или большем числе членов отношения, в равной степени наличных в актуальной последовательности. Наоборот, ассоциативное отношение соединяет члены этого отношения в виртуальный, мнемонический ряд; члены его всегда in absentia.

Языковую единицу, рассмотренную с этих двух точек зрения, можно сравнить с определенной частью здания, например с ко­лонной: с одной стороны, колонна находится в определенном от­ношении с поддерживаемым ею архитравом\* — это взаимораспо­ложение двух единиц, одинаково присутствующих в пространстве, напоминает синтагматическое отношение; с другой стороны, если эта колонна дорического ордера, она вызывает в мысли сравнение с другими ордерами (ионическим, коринфским и т.д.), то есть с такими элементами, которые не присутствуют в данном простран­стве, — это ассоциативное отношение.

\* В греческой и римской архитектуре — лежащий непосредственно на капите­ли колонн поперечный брус. — *Прим. сост.*

Каждый из этих рядов отношений требует некоторых специ­альных замечаний.

§ 2. Синтагматические отношения

Наши примеры уже позволяли заключить, что понятие син­тагмы относится не только к словам, но и к сочетаниям слов, к сложным единицам всякого рода и любой длины (сложные слова, производные слова, члены предложения, целые предложения).

Недостаточно рассмотреть отношения, объединяющие отдель­ные части синтагмы между собою (например, *centre* «против» и *tous* «всех» в синтагме *centre tous* «против всех» или *centre* и *maître* в синтагме *contremaître* «старший рабочий», «мастер»); нужно также принимать во внимание то отношение, которое связывает целое с его частями (например, *contre tous* по отношению к *contre,* с одной стороны, и к *tous,* с другой стороны, или *contremaître—* по отно­шению к *centre*, с одной стороны, и *maître,* с другой стороны).

Здесь можно было бы возразить: поскольку типичным прояв­лением синтагмы является предложение, а оно принадлежит речи, а не языку, то не следует ли из этого, что и синтагма относится к области речи? Мы полагаем, что это не так. Характерным свой­ством речи является свобода комбинирования элементов; надо, следовательно, поставить вопрос: все ли синтагмы в одинаковой мере свободны?

Прежде всего, мы встречаемся с огромным количеством выра­жений, относящихся, безусловно, к языку: это те вполне готовые речения, в которых обычай воспрещает что-либо менять даже в том случае, если по зрелом размышлении в них можно различить значимые части, например *à quoi bon?* «к чему?», *allons donc!* «да полноте же!» и т.д. Приблизительно то же, хотя в меньшей степе­ни, относится к таким выражениям, как *prendre la mouche* «сердиться по пустякам», *forcer la main a quelqu 'un* «принудить к чему-либо», *rompre une lance* «ломать копья», *avoir mal à (la tête...)* «чув­ствовать боль (в голове и т.д.)», *pas n'est besom de...* «нет никакой необходимости...», *que vous en semble?* «что вы думаете об этом?». Узуальный характер этих выражений вытекает из особенностей их значения или их синтаксиса. Такие обороты не могут быть импро­визированы; они передаются готовыми, по традиции. Можно со­слаться еще и на те слова, которые, будучи вполне доступными анализу, характеризуются тем не менее какой-либо морфологи­ческой аномалией, сохраняемой лишь в силу обычая (ср. *difficulté* «трудность» при *facilité* «легкость», *mourrai* «умру» при *dormirai* «буду спать»).

Но это не все. К языку, а не к речи надо отнести и все типы синтагм, которые построены по определенным правилам. В самом деле, поскольку в языке нет ничего абстрактного, эти типы могут существовать лишь в том случае, если в языке зарегистрировано достаточное количество их образцов. Когда в речи возникает такая импровизация, как *indécorable,\* <...>* она предполагает определен­ный тип, каковой в свою очередь возможен лишь в силу наличия в памяти достаточного количества подобных слов, принадлежащих языку *(impardonnable* «непростительный», *intolérable* «нетерпимый», *infatigable* «неутомимый» и т.д.). Точно то же можно сказать и о предложениях и словосочетаниях, составленных по определенно­му шаблону; такие сочетания, как *la terre tourne* «земля вращает­ся», *que vous dit-il?* «что он вам сказал?», отвечают общим типам, которые в свою очередь принадлежат языку, сохраняясь в памяти говорящих.

\* «Неукрашаемый» (франц.). — *Прим. сост.*

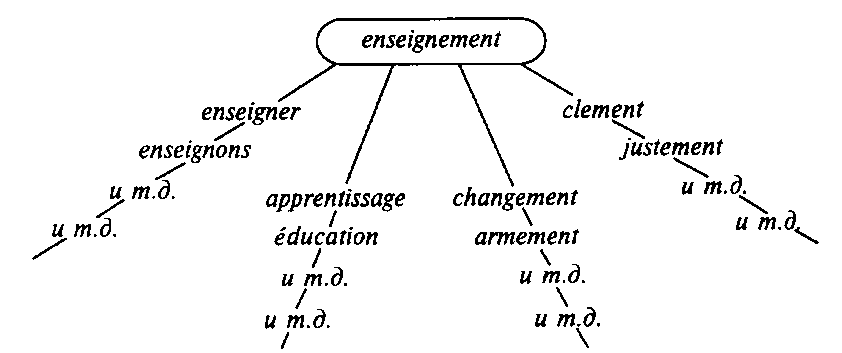
Но надо признать, что в области синтагм нет резкой границы между фактом языка, запечатленным коллективным обычаем, и фактом речи, зависящим от индивидуальной свободы. Во многих случаях представляется затруднительным отнести туда или сюда данную комбинацию единиц, потому что в создании ее участвова­ли оба фактора, и в таких пропорциях, определить которые не­возможно.

§ 3. Ассоциативные отношения

Образуемые в нашем сознании ассоциативные группы не огра­ничиваются сближением членов отношения, имеющих нечто об­щее, — ум схватывает и характер связывающих их в каждом случае отношений и тем самым создает столько ассоциативных рядов, сколько есть различных отношений. Так, в *enseignement* «обучение», *enseigner* «обучать», *enseignons* «обучаем» и т.д. есть общий всем чле­нам отношения элемент — корень; но то же слово *enseignement* может попасть и в другой ряд, характеризуемый общностью дру­гого элемента — суффикса: *enseignement* «обучение», *armement* «во­оружение», *changement* «изменение» и т.д.; ассоциация может так­же покоиться единственно на сходстве означаемых *(enseignement* «обучение», *instruction* «инструктирование», *apprentissage* «учение», *éducation* «образование» и т.д.), или, наоборот, исключительно на общности акустических образов (например: *enseigne*ment «обуче­ние» *juste*ment «справедливо»). Налицо, таким образом, либо об­щность как по смыслу, так и по форме, либо только по форме, либо только по смыслу. Любое слово всегда может вызвать в памя­ти все, что способно тем или иным способом с ним ассоцииро­ваться.

В то время как синтагма сразу же вызывает представление о последовательности и определенном числе сменяющих друг друга элементов, члены, составляющие ассоциативную группу, не даны в сознании ни в определенном количестве, ни в определенном порядке.

Если начать подбирать ассоциативный ряд к таким словам, как *désir-aux* «жаждущий», *chaleur-eux* «пылкий» и т.д., то нельзя напе­ред сказать, каково будет число подсказываемых памятью слов и в каком порядке они будут возникать. Любой член группы можно рассматривать как своего рода центр созвездия, как точку, где схо­дятся другие, координируемые с ним члены группы, число кото­рых безгранично.



Впрочем, из этих двух свойств ассоциативного ряда — неопре­деленности порядка и безграничности количества — лишь первое всегда налицо; второе может отсутствовать, как, например, в том характерном для этого ряда типе, каковым являются парадигмы словоизменения. В таком ряду, как лат. *dominus, dominī, dominō* и т.д., мы имеем ассоциативную группу, образованную общим элемен­том — именной основой *domin-,* но ряд этот небезграничен, напо­добие ряда *enseignement, changement* и т.д.: число падежей является строго определенным, но порядок их следования не фиксирован и та или другая группировка их зависит исключительно от произво­ла автора грамматики; в сознании говорящих именительный па­деж — вовсе не первый падеж склонения; члены парадигмы могут возникать в том или ином порядке чисто случайно.

*И. А. Бодуэя де Куртенэ.* Некоторые общие замечания о языковедении и языке\*

**(Вступительная лекция по кафедре сравнительной грамматики индоевропейских языков, читанная 17/29 декабря 1870 г. в С.-Петербургском университете)**

\* *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963. Т. 1.С. 47-77.

<...> В исторически развившемся, сознательном, научном ис­следовании языков и речи человеческой вообще можно отличить три направления:

1) Описательное, крайне эмпирическое направление, ставя­щее себе задачею собирать и обобщать факты чисто внешним об­разом, не вдаваясь в объяснение их причин и не связывая их меж­ду собою на основании их сродства и генетической зависимости. <...> Хорошие описательные грамматики, издания памятников и словари останутся навсегда насущною потребностью нашей на­уки, и без них даже самым гениальным теоретическим выводам будет недоставать фактического основания.

2) Совершенную противоположность этому скромному и сдер­жанному направлению составляет направление *резонирующее,* ум­ствующее, априористическое. <...>

В новейшее время априористическое направление в языковеде­нии создало так называемую *философскую* школу, которая, основы­ваясь на умозрении и ограниченном знании фактов, стала строить грамматические системы, вкладывая явления языка в логические рамки, в логические схемы. Конечно, такого рода системы могут пред­ставлять более или менее удачные измышления ученых умов, произ­ведения логического искусства, отличающиеся гармонией и строй­ностью; но, насилуя и искажая факты на основании узкой теории, они ни более ни менее как воздушные замки, которые не в состоя­нии удовлетворять требованиям людей, думающих положительно. <...>

3) Истинно научное, *историческое,* генетическое направление считает язык суммою действительных явлений, суммою действитель­ных фактов, и, следовательно, науку, занимающуюся разбором этих фактов, оно должно причислить к наукам индуктивным. Задача же индуктивных наук состоит: 1) в объяснении явлений соответствен­ным их сопоставлением и 2) в отыскании сил и законов, то есть тех основных категорий или понятий, которые связывают явления и представляют их как беспрерывную цепь причин и следствий.

Первое имеет целью сообщить человеческому уму системати­ческое знание известной суммы однородных фактов или явлений, второе же вводит в индуктивные науки все более и более дедук­тивный элемент. Так точно и языковедение, как наука индуктив­ная, 1) обобщает явления языка и 2) отыскивает силы, действую­щие в языке, и законы, по которым совершается его развитие, его жизнь. Разумеется, что при этом все факты равноправны и их мож­но признавать только более или менее важными, но уж никак нельзя умышленно не обращать внимания на некоторые из них, а ругаться над фактами просто смешно. Все существующее разумно, естественно и законно; вот лозунг всякой науки. <...>

Отождествлять филологию с языкознанием значит, с одной стороны, суживать круг ее вопросов (так как филология занимает­ся всеми проявлениями душевной жизни известного народа, а не только языком), с другой же стороны — слишком расширять этот круг (так как филология ограничивается до сих пор известным народом или же группою народов, а языковедение в общей слож­ности исследует языки всех народов). Впрочем, филология, как она развивалась исторически, представляет не однородную, цель­ную науку, а собрание частей разный наук (языковедения, мифо­логии, истории литературы, истории культуры и т.п.), соединен­ных в одно целое тожеством носителей разнородных явлений, в разборе которых состоят научные вопросы и задачи филологии. Отсюда филология классическая (греко-латинская), санскритская, германская, славянская, романская и пр. и пр. <...>

<...> Языковедение исследует жизнь языка во всех ее проявле­ниях, связывает явления языка, обобщает их в факты, определяет законы развития и существования языка и отыскивает действую­щие при этом силы. <...>

Силы и законы и вообще жизнь языка основываются на про­цессах, отвлеченным разбором которых занимаются физиология (с анатомией, с одной, и акустикой, с другой стороны) и психо­логия. Но эти физиологические и психологические категории про­являются здесь в строго определенном объекте, исследованием которого занимается исторически развившееся языковедение; боль­шей части вопросов, которыми задается исследователь языка, ни­когда не касаются ни физиолог, ни психолог, стало быть, и язы­коведение следует признать наукою самостоятельною, не смеши­вая его ни с физиологией, ни с психологией. <...>

Прежде всего нужно отличить *чистое языковедение,* языкове­дение само по себе, предметом которого служит сам язык как сумма в известной степени однородных фактов, подходящих в своей общности под категорию так называемых проявлений жизни че­ловечества, — и *языковедение прикладное,* предмет которого со­ставляет применение данных чистого языковедения к вопросам из области других наук.

*Чистое языковедение* распадается на два обширные отдела:

А. Всесторонний разбор положительно данных, уже сложив­шихся языков.

Б. Исследование о начале слова человеческого, о первобытном образовании языков и рассмотрение общих психически-физиоло­гических условий их беспрерывного существования.

А. *Положительное языковедение* разделяется на две части:

I) в первой язык рассматривается как составленный из частей, то есть как сумма разнородных категорий, находящихся между собою в тесной органической (внутренней) связи; II) во второй же языки как целые исследуются по своему родству и формальному сходству. Первая часть — *грамматика* как рассмотрение строя и состава языка (анализ языков), вторая — *систематика,* классификация. Первую можно сравнить с анатомией и физиологией, вторую с морфологи­ей растений и животных в ботанико-зоологическом смысле. Разуме­ется, что, как везде в природе и в науке, так и здесь нет резких пределов, и исследования в одной части обусловливаются и основы­ваются на данных из области другой части. Для разбора строя и со­става известного языка, с одной стороны, очень полезно, даже не­обходимо знать, к какой категории в формальном отношении при­надлежит этот язык; с другой же стороны, для объяснения его явлений соответственными явлениями языков родственных нужно опреде­лить, часть которой семьи и отрасли составляет этот данный язык. Подобным образом только рассмотрение строя и состава языков дает прочное основание для их классификации.

I. Сообразно постепенному анализу языка можно разделить *грам­матику* на три большие части: 1) фонологию (фонетику), или звукоучение, 2) словообразование в самом обширном смысле этого слова и 3) синтаксис.

1. Первым условием успешного *исследования звуков* следует счи­тать строгое и сознательное различение звуков от соответствую­щих начертаний. <...> Предмет *фонетики* составляет:

а) рассмотрение звуков с чисто *физиологической* точки зрения, естественные условия их образования, их развития, и их класси­фикация, их разделение; <...>

б) роль звуков в механизме языка <...>, разбор звуков с *мор­фологической,* словообразовательной точки зрения. Наконец, пред­мет фонетики составляет

в) генетическое развитие звуков, их история, их этимологи­ческое и строго морфологическое сродство и соответствие — это разбор звуков с точки зрения *исторической.*

Первая физиологическая и вторая морфологическая части фо­нетики исследуют и разбирают законы и условия жизни звуков в состоянии языка в один данный момент (статика звуков), третья же часть — историческая — законы и условия развития звуков во времени (динамика звуков).

2. Разделение *словообразования,* или морфологии, соответству­ет постепенному развитию языка: оно воспроизводит три периода этого развития (односложность, агглютинацию, или свободное сопоставление, и флексию). Части морфологии суть следующие:

а) наука о корнях — *этимология;*

б) наука о *теплообразовании,* о словообразовательных суффик­сах с одной, и о темах или основах, с другой стороны;

в) наука о *флексии,* или об окончаниях и о полных словах, как они представляются в языках на высшей степени развития в язы­ках флексивных. <... >

3. *Синтаксис,* или словосочинение (словосочетание), рассмат­ривает слова как части предложений и определяет их именно по отношению к связной речи, или предложениям (основание для разделения частей речи); оно занимается значением слов и форм в их взаимной связи. С другой стороны, оно подвергает своему раз­бору и целые предложения как части больших целых и исследует условия их сочетания и взаимной связи и зависимости. <...>

II. *Систематики,* классификации языков нельзя понимать в смысле искусственного облегчения их изучения посредством вве­дения порядка в их разнообразие на основании известных, наобум подобранных или же предвзятых характеристических черт. При со­временном взгляде на науки вообще и на языковедение в особен­ности истинно научная классификация языков должна быть вос­произведением их естественного развития и, с другой стороны, должна основываться на существенно отличительных свойствах.

В области языков родственных, то есть развившихся из одного и того же первобытного языка и, следовательно, представляющих видоизменения одного и того же первоначального материала под влиянием различных условий, в которых находились и находятся говорящие этими языками народы, — классификация является только модификацией истории языка. Следует только посмотреть на языки как на индивидуумы или скорее как на комплексы зна­менательных звуков и созвучий, соединяемых в одно целое чутьем известного народа, с другой стороны — выдвинуть на первый план те свойства отдельных языков, которые или существенно отлича­ют их друг от друга, или же соединяют их в одну группу в отличие от других языков и групп, и ео ipso история языка становится *генетическою* классификацией языков. <...>

Рядом с этою генетическою классификацией существует тоже *морфологическая,* разделяющая языки по особенностям их строя и основывающаяся именно на второй части грамматики, то есть на морфологии или словообразовании. <...> Языки, отличающиеся друг от друга морфологически, не могут быть родственны генетически. Напротив того, языки, генетически различные, могут принадлежать к той же категории с морфологической точки зрения, то есть они мо­гут представлять один и тот же или, по крайней мере, сходный строй.

Скрещением классификации генетической с морфологическою является разделение языков флективных на *первичные* и *вторичные,* синтетические и аналитические. В первых слова чувствуются еще живо в своем составе и потребности флексии удовлетворяются с помощью входящих в состав слова окончаний и т.п., во вторых слова являются уже, по отношению к своему составу, мертвыми созвучиями, мерт­выми конгломератами звуков, и флексивные отношения выражают­ся с помощью определяющих самостоятельных словечек. <...>

Б. Грамматикой и систематикой исчерпывается научное иссле­дование исторически данных языков. Во втором отделе чистого языковедения разбираются вопросы, лежащие вне пределов исто­рических данных. Здесь говорится о начале слова человеческого, о первоначальном его образовании, об общих психически-физиоло­гических условиях его беспрерывного существования, о влиянии миросозерцания народа на своеобразное развитие языка и, наобо­рот, о влиянии языка на миросозерцание его носителей, о значе­нии языка для психического развития народа и т.п. <...>

Что касается *прикладного* языковедения, то оно состоит:

1) в применении данных из грамматики к вопросам из области мифологии (этимологические мифы), древностей и истории куль­туры вообще (сравнение слов, важных в культурно-историческом отношении, цвет которого составляет первобытная, или доисто­рическая, история, воссоздаваемая при помощи языковедения и называемая также лингвистическою палеонтологией), в определе­нии посредством грамматических исследований взаимного влия­ния народов друг на друга и т.д.,

2) в применении данных из систематики к этнографическим и этнологическим вопросам и к вопросам из истории народов вооб­ще (разделение языков в связи с естественным разделением чело­вечества) и пр.; и наконец,

3) в применении результатов исследования второго отдела (о начале языка и т.д.) к вопросам, составляющим предмет антро­пологии, зоологии и т.п. (причем лингвистика имеет, впрочем, только второстепенную важность). <...>

*И. А. Бодуэн де Куртенэ.* Об одной из сторон постепенного человечения языка в области произношения, в связи с антропологией\*

**(читано на заседании 19-го марта 1904 г.)**

\* *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Избранные труды по общему языкознанию. М., 1963. Т. 2. С. 118-128.

<...> Настоящей причинной связи явлений языка < ... > следу­ет искать, с одной стороны, в индивидуально-психических цент­рах отдельных людей как членов известным образом оязыковленного общества, с другой же стороны, в социально-психическом общении членов языкового общества. <...>

«Произносят», т.е. производят звуки тоже животные. <...> Но существенная разница их произношения и произношения челове­ческого состоит в следующем:

У животных: 1) главный фокус фонации или звукопроизводства сосредоточивается в нижних и задних органах; 2) если они и произносят ртом, то в произношении участвует вся полость рта без различения ее отдельных частей, без частной локализации. В человеческом же произношении замечается большое разнообра­зие работ полости рта, и локализация в полости рта составляет его главный признак. <...>

Переход от языкового состояния животного и дочеловека к языковому состоянию человека состоял в общем выходе звукопроизводительной деятельности из полости гортани в полость рта и в появлении настоящей *членораздельности* (артикулованности) произношения.

Возможность произносить по-человечески находится в связи с хождением человека на двух ногах. Хождение на четвереньках не­совместимо с речью человеческою. <...>

Первоначальное *очеловечение* языка состояло в выходе главной массы произносительной деятельности из полости гортани в по­лость рта. <...>

У пещерного человека <...> подбородочный бугорок <...> был весьма слабо развит, а в связи с этим действие подбородочно-языкового мускула <...> могло быть только весьма слабое. Следовательно, участие в произношении со стороны передней части язы­ка пещерного человека сводилось к нулю или почти к нулю. Пе­щерный человек, поскольку он работал в полости рта, произно­сил главным образом заднею частью языка.

С этим предположением согласуется замечаемое в истории язы­ков постепенное усиление звукопроизводной деятельности перед­ней части языка и губ за счет деятельности задней части языка.

Целая масса исторически-фонетических процессов подтверж­дает это обобщение. <...>

Историко-фонетическими процессами *спонтанеического* харак­тера в области ариоевропейских языков, подходящими под общее понятие замены более задних работ полости рта работами более передними (т.е. заднеязычных и среднеязычных работ работами переднеязычными и губными), следует признать прежде всего сле­дующие:

1) < ... > Вместо латинского *k* слов *canis, camera, causa* и т.д. появилось французское *ch (ш)* слов *chien, chambre, chose* и т.д. или же латинское (во Фриуле, в Тироле и у гриджионов Швейцарии) *č(чъ).* Лабиализация же или огубление повторилось при других ус­ловиях в румынском языке.

2) В том же направлении замены работ более задних работами более передними совершилась замена прежнего общеариоевропейского *j* согласными переднеязычными: в греческой языковой об­ласти *(dz* и даже просто *d),* в области романской (итальянское *dž,* французское *ž* и т.п.), в области индийской (пракритское *dž). <...>*

3) Свойственное первобытному ариоевропейскому состоянию <...> различение двух *а,* широкого (*а*) и узкого (c, вроде русского *ы*), со временем исчезает и остается только одно широкое *а*, тогда как узкое или сливается с ним в один звук, или же заменяется гласным *i. <...>*

Из комбинаторных изменений звуков языка, приводящих в кон­це концов к тому же результату, т.е. к замене более задних звуко-производных работ работами более передними, укажем:

1) появление в латинском губного согласного/как историчес­кого продолжения прежних придыхательных согласных не только губной локализации *(bh, ph),* не только локализации переднеязыч­ной *(dh, th),* но тоже локализации заднеязычной *(gh).*

2) <...> Заднеязычные согласные, оставшиеся заднеязычными в отдельных языковых областях, заменяются переднеязычными: историческими продолжателями прежних осреднеязычненных *k' (кь), g' (гь)* и т.п. являются или *č (ч), ž (ж)* и т.п., или *с* *(ц), dz (дз)* и т.п., или *t’(ть), d’(дь)* и т.п. Это мы констатируем в разные периоды исторической жизни славянских языков, в языке латышском, в языке древнеиндийском (в санскрите), в языках романских, в древнегреческом, в новогреческом, в английском, в датском, швед­ском и т.д. Сюда относится тоже наше произношение латинского языка на немецкий лад: *Cicero, cecini,facit,facere* и т.п. В истории язы­ков мы замечаем все новые отложения в этом направлении. Укажем, между прочим, на русское *ти, де* вместо прежних *ки, ге (паутина, тисть* вместо *кисть, андел* вместо *ангел* и т.п.). <...>

Достаточно указать на громадное различие степени заднеязыч­ной и среднеязычной звукопроизводной возбуждаемости и испол­няемости, с одной стороны, в более древнем языковом состоя­нии, которому свойственны три ряда самостоятельно различае­мых заднеязычных согласных, которому свойственно различение двух степеней гласного заднеязычного сужения (широкое *а* и уз­кое *а),* с другой стороны, в более позднем языковом состоянии, которому свойствен только один ряд согласных заднеязычных, но которое не только различает *t-s-r-l,* но тоже *t-s-th* (английское) — *s(ш)-с(ц)* и т.д. <...>

Равнодействующая общего исторического хода идет всегда и везде в указанном направлении. <...>

Надо окинуть взором громадные расстояния хронологической последовательности. Из гортани в полость рта или от задней части языка к передней не то что рукой подать, а просто чихнуть, и все-таки требуются целые столетия и даже многие тысячелетия для того, чтобы перевести фонационную работу из одной области в другую. <...>

Разбираемое здесь одно из главных последствий исторических изменений в произношении совпадает с характером каждовременного процесса произношения. Ведь произношение является экспи­раторным, т.е. выходящим наружу, из глубины на поверхность. <...>

Побудительною «причиной» указанной исторической последо­вательности следует признать стремление к сбережению труда в трех областях, на которые распадается сложный языковой про­цесс: в области *фонации, аудиции* и *церебрации. <...>*

Этот процесс является тоже продолжением дифференциации *пения* и *языка.* Пению предоставлена по преимуществу полость гор­тани; главным же органом языка или речи человеческой является полость рта, со вспомогательным участием полости гортани и но­совых полостей.

Первым актом человечения языка было возникновение *члено­раздельности* звуков. <...>

Этот процесс постепенного выхода произношения наружу мож­но считать продолжением первоначального акта *очеловечения* язы­ка, состоящего, с одной стороны, в *дифференциации* пения и язы­ка, с другой же стороны, в развитии *«членораздельности» звуков* речи человеческой. Путем этих последовательных изменений чело­век все более удаляется от состояния не только животного вооб­ще, но и своего непосредственного предшественника, человека «пещерного». <...>

Внешняя речь выходит все более наружу; внутреннее языковое мышление уходит все более вглубь. <...>

*Антропологические «полюсы»* вообще, и в частности в области языка, все более и более удаляются друг от друга: *исполнительный «полюс»* все более и более *выходит наружу* и все более и более вцепляется в так называемый внешний мир, *«руководящий»* же психический *«полюс»* все более и более *уходит вглубь,* принимая характер все большей отвлеченности и символизма. <...>

*Э. Бенвенист.* Уровни лингвистического анализа\*

Когда предметом научного исследования является такой объект, как язык, то становится очевидным, что все вопросы относитель­но каждого языкового факта надо решать одновременно, и преж­де всего надо решать вопрос о том, что следует понимать под языковым *фактом,* то есть вопрос о выборе критериев для его определения как такового. Коренное изменение, происшедшее в лингвистической науке, заключается в следующем: признано, что язык должно описывать как формальную структуру, но что такое описание требует предварительно соответствующих процедур и кри­териев и что в целом реальность исследуемого объекта неотделима от метода, посредством которого ее определяют. Следовательно, ввиду исключительной сложности языка мы должны стремиться к упорядочению как изучаемых явлений **<...>,** так и методов анали­за, чтобы создать совершенно последовательное описание, пост­роенное на основе одних и тех же понятий и критериев.

\* Новое в лингвистике. М., 1965. Вып. IV. С. 434-449.

Основным понятием для определения процедуры анализа бу­дет понятие *уровня.* Лишь с помощью этого понятия удается пра­вильно отразить такую существенную особенность языка, как его *членораздельный характер* и *дискретность* его элементов. Только понятие уровня поможет нам обнаружить во всей сложности форм своеобразие строения частей и целого. Понятие уровня мы будем изучать применительно к языку (langue) как органической систе­ме языковых знаков.

Цель всей процедуры анализа — это выделение *элементов* на основе связывающих их *отношений.* Эта процедура состоит из двух взаимообусловленных операций, от которых зависят и все осталь­ные: 1) сегментация и 2) субституция.

Рассматриваемый текст любой длины прежде всего должен быть сегментирован на всё более мелкие отрезки, пока он не будет све­ден к не разложимым далее элементам. В то же время эти элементы отождествляются при помощи допустимых субституций. Так, на­пример, франц. *raison* «довод» сегментируется на [r] — [е] — [z] — [õ], где можно произвести подстановки [s] вместо [r] *(= saison* «сезон»); [а] вместо [ε] *(=rasons—* 1 л. мн.ч. глагола *raser* «бриться»); [у] вместо [z] *(= rayon* «луч»); [] вместо [õ] (= *raisin* «виноград»). Эти субституции могут быть перечислены: класс субститу­тов, возможных для [r] в [rezõ], состоит из [b], [s], [m], [t], [v]. Применяя к остальным трем элементам в [rezo] ту же процедуру, получим перечень всех допустимых субституций, каждая из кото­рых позволит в свою очередь выявить такой сегмент, который мо­жет быть отождествлен с некоторым сегментом, входящим в со­став других знаков. Постепенно, переходя от одного знака к друго­му, мы можем выявить всю совокупность элементов и для каждого из них — совокупность возможных субституций. Таков вкратце ме­тод дистрибутивного анализа. Этот метод состоит в том, чтобы определить каждый элемент через множество окружений, в кото­рых он встречается, и посредством двух отношений: отношения к другим элементам, одновременно представленным в том же от­резке высказывания (синтагматическое отношение), и отношения элемента к другим, взаимноподставимым элементам (парадигма­тическое отношение).

Тут же отметим различие между обеими операциями в сфере их применения. Сегментация и субституция не одинаковы по охва­ту. Элементы отождествляются по отношению к другим сегмен­там, с которыми они находятся в отношении подставимости (суб­ституции). Однако субституцию можно применять и к далее нечле­нимым <не поддающимся сегментации> элементам. Если минимальные сегментируемые элементы идентифицируются как *фо­немы,* то анализ можно продолжить и выделить внутри фонемы *раз­личительные признаки.* Но эти различительные признаки не могут быть сегментированы, хотя они идентифицируются и могут быть подвергнуты субституции. В [dh] можно выделить четыре различи­тельных признака: смычность, дентальность, звонкость, придыха-тельность. Никакой из признаков не может быть реализован сам по себе, вне фонетической артикуляции, в которой он проявляется. Между ними нельзя установить синтагматического порядка; смыч­ность неотделима от детальности, а придыхательность от звонкос­ти. Тем не менее по отношению к каждому из них возможна субсти­туция. Смычность может быть заменена фрикативностью, дентальность — лабиальностью, придыхательность — глоттализацией и т.п.

Таким образом, мы приходим к выделению двух классов ми­нимальных элементов: элементы, одновременно поддающиеся сег­ментации и субституции, — фонемы, и элементы, поддающиеся только субституции, — различительные признаки фонем. Вслед­ствие того, что различительные признаки фонем не сегментиру­ются, они не могут образовывать синтагматических классов, но ввиду того, что они поддаются субституции, они образуют пара­дигматические классы. Следовательно, мы признаем и различаем фонематический уровень, на котором возможны обе операции (сег­ментация и субституция), и субфонематический уровень, то есть уровень различительных признаков, на котором возможна только субституция, но не сегментация. Здесь — предел лингвистического анализа. <...>

Итак, мы приходим к двум нижним уровням анализа — к уров­ню минимальных сегментирующихся единиц — фонем, то есть уровню *фонематическому,* и к уровню различительных признаков, которые мы предлагаем назвать меризмами (греч. merisma-atos «от­граничение»), то есть к *меризматическому* уровню.

Мы определяем их отношение по их взаимной позиции эмпи­рически, как отношение двух уровней, последовательно достигае­мых в ходе анализа: комбинация меризмов дает фонему или же фонема разлагается на меризмы. Какова языковая сущность этого отношения? Мы выясним это, если продолжим наш анализ и зай­мемся высшим уровнем, поскольку спускаться далее мы не можем. Нам придется оперировать с более длинными отрезками текста и выяснить, как надо производить операции сегментации и субсти­туции, когда нашей целью является получение не минимальных возможных единиц, а единиц большей протяженности.

Предположим, что в английском высказывании [] *«leaving things (as they are)»* мы идентифицировали в разных местах 3 фонематические единицы: [], [], []. Постараемся выяснить, можно ли выделить единицу высшего уровня, которая содержала бы эти единицы. Логически возможны шесть комбинаций указан­ных фонематических единиц: [], [], [], [], [], []. Рассмотрим их все по порядку. Мы видим, что две из этих комби­наций действительно представлены в данном высказывании, но реализованы они таким образом, что имеют две общие фонемы, и мы вынуждены избрать одну из них и исключить другую: в [] это будет либо [], либо []. Сомневаться в ответе не приходит­ся: мы отбросим [] и возведем [] в ранг новой единицы //. Чем будет обусловлено такое решение? Тем, что выявление новой единицы высшего уровня должно удовлетворять требованию ос­мысленности: [] имеет смысл, а [] бессмысленно. К этому присоединяется дистрибутивный критерий, который может быть получен раньше или позже в ходе описанного анализа, если про­анализировать достаточное количество текстов: [] не допускается в начальной позиции и последовательность [] невозможна; в то же время [] принадлежит к фонемам, встречающимся в конеч­ном положении, a [] и [] в равной степени возможны.

В самом деле, *осмысленность —* это основное условие, которо­му *должна* удовлетворять любая единица любого уровня, чтобы приобрести лингвистический статус. Подчеркиваем: единица любого уровня. Фонема получает свой статус только как различитель языко­вых знаков, а различительный признак — как различитель фонем. Иначе язык не мог бы выполнять свою функцию. Все операции, которые должно проделать в пределах рассматриваемого высказыва­ния, удовлетворяют этому условию. Отрезок [] неприемлем ни на каком уровне; он не может быть заменен никаким другим отрезком и не может заменить никакой другой. Его нельзя считать свободной формой, и он не находится в дополнительном синтагматическом отношении с другими отрезками высказывания. То, что сейчас было сказано о [], в равной степени относится к [i:vi] или к тому отрез­ку, который за ним следует, — [z]. Для них невозможны ни сегмен­тация, ни субституция. Напротив, смысловой анализ выделит две единицы в []: одну — свободный знак // и другую — /z/, кото­рый затем будет признан вариантом связанного знака /-s/. <...> Зна­чение является первейшим условием лингвистического анализа.

Необходимо лишь рассмотреть, каким образом значение при­нимает участие в нашем анализе и с каким уровнем анализа оно связано.

Из этих предварительных замечаний следует, что ни сегмента­ция, ни субституция не могут быть применены к любым отрезкам речевой цепи. Действительно, ничто не позволяет определить дис­трибуцию фонемы, объем ее комбинаторных, синтагматических или парадигматических возможностей, то есть саму реальность фо­немы, если мы не будем постоянно обращаться к некоторой *конк­ретной единице* высшего уровня, в состав которой данная фонема входит. В этом заключается основное условие, значение которого для настоящего анализа будет раскрыто в дальнейшем. Из всего этого следует, что данный уровень не является чем-то внешним по отно­шению к анализу: он *входит* в анализ; уровень есть оператор. Если фонема определима, то только как составная часть единицы более высокого уровня — морфемы. Различительная функция фонемы основана на том, что фонема включается в некую конкретную еди­ницу, которая только в силу этого относится к высшему уровню.

Подчеркнем следующее: любая языковая единица восприни­мается как таковая, только если ее можно идентифицировать *в составе* единицы более высокого уровня. Техника дистрибутивно­го анализа не выявляет этого типа отношений между различными уровнями.

Таким образом, от фонемы мы переходим к уровню *знака,* который может выступать в зависимости от условий в виде свобод­ной формы или связанной формы (морфемы). Для удобства прово­димого нами анализа мы можем пренебречь этой разницей и рассмотреть все знаки как принадлежащие к одному классу, который практически совпадает со *словом. <...>*

В функциональном отношении слово занимает промежуточную позицию, что связано с его двойственной природой. С одной сто­роны, оно распадается на фонематические единицы низшего уров­ня, с другой — входит как значащая единица вместе с другими такими же единицами в единицу высшего уровня. Оба эти свой­ства необходимо несколько уточнить.

Утверждая, что слово разлагается на фонематические едини­цы, мы должны подчеркнуть, что это разложение возможно даже тогда, когда слово состоит из одной фонемы. Например, во фран­цузском языке каждая из гласных фонем материально совпадает с каким-либо самостоятельным знаком языка. Иначе говоря, во фран­цузском языке некоторые означающие реализуются посредством одной гласной фонемы. Тем не менее при анализе таких означающих предполагается и разложение. Эта операция необходима для получе­ния единиц низшего уровня. Следовательно, франц. *а* (глаг. *avoir* «иметь» — 3-е л. ед.ч. индикатив) или *à* (предлог) будет анализиро­ваться как /а/; франц. *est* (глаг. *être* «быть» —3-е л. ед.ч. индика­тив) — как /е/; франц. *ait* (глаг. *avoir —* 3-е л. ед.ч. конъюнктив) — как /ε/; франц. *у* (адвербиальное местоимение), *hie* (техн. термин: «трамбовка, баба, пест») — как /i/; франц. *еаи* «вода» — как /о/; франц. *еu* (причастие прошедшего времени от глаг. *avoir)—* как /у/; франц. *оù* «где» — как /*u*/; франц. *еих* «они» — как /ø/. Аналогично этому в русском языке возможны означающие, выраженные одной гласной или согласной фонемой: союзы *а, и,* предлоги *о,* *у, к, с, в.*

Труднее поддаются определению отношения между словом и единицей высшего уровня. Такая единица не является просто бо­лее длинным или более сложным словом. Она принадлежит к дру­гому ряду понятий. Эта единица — предложение. Предложение ре­ализуется посредством слов. Но слова — это не просто отрезки предложения. Предложение — это целое, не сводящееся к сумме его частей; присущий этому целому смысл распределяется на всю совокупность компонентов. Слово — это компонент предложения, в нем проявляется часть смысла всего предложения. Но слово не обязательно выступает в предложении в том же самом смысле, который оно имеет как самостоятельная единица. Следовательно, слово можно определить как минимальную значимую свободную единицу, которая может образовывать предложения и которое само может быть образовано из фонем. Практически слово в основном рассматривается как синтагматический элемент — компонент эм­пирических высказываний. Парадигматические отношения менее важны, когда речь идет о слове как элементе предложения. <...>

При определении характера отношений между словом и пред­ложением необходимо установить различия между самостоятель­ными словами (mots autonomes), функционирующими как компо­ненты предложения и составляющими подавляющее большинство всех слов, и словами вспомогательными (mots synnomes), которые могут выступать в предложении лишь в соединении с другими сло­вами: например, франц. *le (la...)* (определенный артикль м. и ж.р.), *се (cette...* «этот, эта»); *топ (ton...* «мой, твой...») или *de, à, dans, chez* (предлоги); однако не все французские предлоги относятся к вспомогательным словам: например, в предложениях типа *с'est fait pour,* букв. «это сделано для»; *jе travaille avec,* букв. «я работаю c»; *je pars sans,* букв. «я уезжаю без» предлоги к ним не относятся. <...>

При помощи слов, а затем словосочетаний мы образуем *пред­ложения.* Это есть эмпирическая констатация, относящаяся к оче­редному уровню, достигаемому в процессе последовательного пе­рехода от единицы к единице. Этот переход представляется нам в виде линейной последовательности. Однако в действительности, что мы сейчас и покажем, дело обстоит совсем иначе.

Чтобы лучше понять природу изменения, которое имеет мес­то, когда мы переходим от слова к предложению, необходимо рас­смотреть, как членятся единицы в зависимости от их уровней, и тщательно вскрыть некоторые важные следствия, вытекающие из связывающих эти единицы отношений. При переходе от одного уровня к другому неожиданно проявляются ранее не замеченные особые свойства. Вследствие того что языковые сущности дискрет­ны, они допускают два типа отношений — отношения между эле­ментами одного уровня или отношения между элементами разных уровней. Эти отношения необходимо строго различать. Между эле­ментами одного уровня имеют место *дистрибутивные* отношения, а между элементами разных уровней — *интегративные.* Лишь пос­ледние и нуждаются в разъяснении.

Разлагая единицу данного уровня, мы получаем не единицы низшего уровня, а формальные сегменты той же единицы. Если французское слово /m/ *homme* «человек» расчленить на [] — [m], то мы получим только два сегмента. Ничто еще не доказывает, что [] и [m] являются фонематическими единицами. Чтобы убедиться в этом, необходимо прибегнуть к /t/ *hotte* «корзина, ковш», /s/ *os* «кость», с одной стороны, и к /om/ *heaume* «шлем, шишак», /ym/ *hume* (1-е или 3-е л. ед.ч. глагола *humer* «втягивать, вдыхать») — с другой. Обе эти операции являются противоположными и допол­нительными. Знак определяется своими конститутивными элемен­тами, но единственная возможность определить эти элементы как конститутивные состоит в том, чтобы идентифицировать их внутри определенной единицы, где они выполняют *интегративную* функ­цию. Единица признается различительной для данного уровня, если она может быть идентифицирована как «составная часть» единицы высшего уровня, *интегрантом* которого она становится. <...>

Это «отношение интеграции» построено по той же модели, что и «пропозициональная функция» Рассела.\*

\* *Russel В.* Introduction a la philosophic mathematique, франц. перев., стр. 188: «Пропозициональная функция — это выражение, содержащее один или несколько неопределенных компонентов, таких, что когда они получают то или иное зна­чение, это выражение становится высказыванием. "X — человек" является про­позициональной функцией. Пока Х остается неопределенным, это выражение не является ни истинным, ни ложным. Как только Х получает определенное значе­ние, указанное выражение становится истинным или ложным высказыванием».

Какие звенья в системе знаков языка затрагиваются этим раз­личием между конститутивными элементами и интегрантами? Сфера действия этого различия заключена между двумя грани­цами. Верхняя граница — это предложение, которое содержит конститутивные единицы, но которое, как это будет показано ниже, не может быть интегрантом никакой другой единицы более высокого уровня. Нижняя граница — это меризм, различитель­ный признак фонемы, который не содержит в себе никаких кон­структивных единиц, принадлежащих языку. Следовательно, пред­ложение определяется только своими конститутивными элемен­тами; меризм определяется только как интегрант. Между этими двумя границами четко выступает промежуточный уровень, уровень знаков — самостоятельных или вспомогательных слов или морфем, которые одновременно содержат конститутивные единицы и функционируют как интегранты. Такова структура этих отношений.

Какова же, наконец, функция, приписываемая различию между конститутивной и интегрантной единицей? Эта функция имеет основополагающее значение. Мы думаем, что именно в ней за­ключен тот логический принцип, которому подчинено в единицах различных уровней отношение *формы* и *значения.*

В этом и заключается проблема, поставленная перед современ­ной лингвистикой. Соотношение формы и значения многие линг­висты хотели бы свести только к понятию формы, но им не уда­лось избавиться от ее коррелята — значения. <...>

Форма и значение должны определяться друг через друга, по­скольку в языке они членятся совместно. Их отношение, как нам представляется, заключено в самой структуре уровней и в структу­ре соответствующих функций, которые мы назвали «конститутив­ной» и «интегративной».

Когда мы сводим языковую единицу к ее конституентам, то тем самым мы сводим ее к ее *формальным* элементам. Как было сказано выше, анализ языковых единиц не дает автоматического получения других единиц. В единице самого высшего уровня, в предложении, разложение на конституенты приводит к выявле­нию только формальной структуры, как это происходит всякий раз, когда некоторое целое разлагается на составные части. Извест­ную аналогию этому мы находим в графике. По отношению к на­писанному слову составляющие его буквы, взятые отдельно, яв­ляются лишь материальными сегментами, не содержащими ника­кой части этой единицы. Если мы составим слово *samedi* «суббота» из шести детских кубиков, на каждом из которых напишем одну букву, то мы будем неправы, если станем утверждать, что с каж­дым кубиком — с кубиком М, кубиком А и т.д. — соотносится 1/6 (или какая-либо другая часть) *слова* как такового.

Таким образом, производя анализ языковых единиц, мы выде­ляем из них только формальные конститутивные элементы (= кон­ституенты).

Что же нужно для того, чтобы признать эти формальные кон­ституенты единицами определенного уровня? Необходимо прове­сти обратную операцию и проверить, будут ли конституенты вы­полнять функцию интегрантов на более высоком уровне. Суть дела заключается именно в этом: разложение языковых единиц дает нам их формальное строение; интеграция же дает значимые единицы. Фонема являясь различителем, выступает вместе с другими фоне­мами интегрантом по отношению к значимым единицам, в кото­рых она содержится.

Эти знаки включаются в свою очередь как интегранты в еди­ницы высшего уровня, несущие смысловую информацию. Анализ проводится в двух противоположных направлениях и приводит к выявлению либо формы, либо значения в одних и тех же языковых единицах.

Теперь мы можем сформулировать следующие определения:

*Форму* языковой единицы можно определить как способность этой единицы разлагаться на конститутивные элементы низшего уровня.

*Значение* языковой единицы можно определить как способность этой единицы быть составной частью единицы высшего уровня.

Форма и значение, таким образом, выступают как свойства, находящиеся в отношении конъюнкции, обязательно и одновре­менно данные, неразделимые в процессе функционирования языка. Их взаимные отношения выявляются в структуре языковых уровней, раскрываемых в ходе анализа посредством нисходящих и восходящих операций и благодаря такой особенности языка, как членораздельный характер.

Однако понятие значения имеет и еще один аспект. Может быть, проблема значения запутана так именно потому, что эти оба ас­пекта не различались.

В языке, состоящем из знаков, значение языковой единицы заключается в том, что она имеет смысл, что она значима. Это равносильно тому, что языковая единица будет идентифицировать­ся по способности подставляться в «пропозициональную функцию». Это необходимое и достаточное условие для признания ее значимой единицей. При более глубоком анализе нужно было бы перечислить все «функции», в которые ее можно подставить и—в пределе — составить их полный перечень. Такой перечень был бы довольно ог­раничен для *meson* («мезон» — физ. термин) или *chrysoprase* («хри­зопраз» — минерал) и очень велик для слов *chose* «вещь» или *ип* «один» — неопред. артикль ед.ч. м.р., но это различие несуществен­но; все равно названный перечень подчиняется одному и тому же принципу идентификации единиц через их способность к интег­рации. В любом случае можно было бы определить, обладает ли в данном языке тот или иной отрезок «значением» или нет.

Совершенно другой проблемой является вопрос о том, *каково* это значение. Здесь «значение» рассматривается уже в ином аспекте.

Когда говорится, что данный элемент языка (короткий или пространный) обладает значением, то под этим подразумевается свойство, которым обладает данный элемент как означающее, способность образовать единицу, отграниченную от других еди­ниц, опознаваемую носителем данного языка, то есть тем, для кого этот язык является единственным Языком. Это значение им­плицитно, оно внутренне присуще языковой системе и ее состав­ным частям. Но в то же время язык одновременно и глобально соотнесен с миром объектов как в полных высказываниях, имею­щих форму предложений, которые относятся к конкретным и специфическим ситуациям, так и посредством единиц низшего уровня, которые относятся к объектам частным или общим, взя­тым из опыта или порожденным языковой условностью. Каждое высказывание и каждый член высказывания обладает референтом, знание которого возникает в результате использования родного языка. Следовательно, сказать, *каков* референт, описать его и оха­рактеризовать его специфику — это иная, подчас очень трудная задача, которая не имеет ничего общего со свободным владением языком. <...> Достаточно самой постановки вопроса об уточнении понятия «значение» и его отличии от понятия «обозначение». И то и другое необходимо. Мы встречаемся с тем и с другим различаю­щимися понятиями, которые, однако, тесно связаны между со­бой на уровне *предложения.*

Итак, мы достигли последнего уровня нашего анализа, уровня *предложения,* о котором уже говорилось, что этот уровень пред­ставляет собой не просто следующую ступень в распространении данного отрезка, — переходя на уровень предложения, мы пере­ступаем границу, отделяющую нас от другой области.

Новым здесь является прежде всего критерий, которым опре­деляется этот тип высказывания. Сегментировать предложение мы можем, но мы не можем сделать его интегрантом какой-либо дру­гой единицы более высокого уровня. Пропозициональной функ­ции, в какую можно было бы подставить предложение, не суще­ствует. Следовательно, предложение не может быть интегрантом для единиц других типов. Это объясняется прежде всего той осо­бенностью, какая присуща только предложению и отличает его от всех других единиц, т.е. *предикативностью.* Все другие свойства предложения являются вторичными по отношению к этой особен­ности. Число знаков, входящих в предложение, не играет никакой роли: одного знака достаточно, чтобы выразить предикативность. К тому же наличие «субъекта» (подлежащего) при предикате не обязательно. Предикативный член предложения достаточен сам по себе, так как служит определителем для субъекта. «Синтаксис» предложения является только грамматическим кодом, который обеспечивает правильное размещение его членов. Различные инто­национные рисунки не имеют всеобъемлющего значения и лежат в области субъективных оценок. Следовательно, единственным признаком предложения является его предикативный характер. Предложение мы отнесем к *категорематическому уровню.*\*

\* Греч. kategorema, лат. praedicatum.

Что же обнаруживаем мы на этом уровне? До сих пор название уровня соответствовало рассматриваемой языковой единице. Фо­нематический уровень — это уровень фонем; действительно, су­ществуют конкретные фонемы, которые можно выделять, комби­нировать или перечислять. А категоремы? Существуют ли они? Предикативность — основное свойство предложения, но она не является единицей. Разных видов предикации не существует, и ничего не меняется от замены термина «категорема» на термин «фразема».\* Предложение не является формальным классом, куда бы входили единицы — «фраземы», разграниченные и противопоставимые друг другу. Все типы предложений, которые можно было бы различить, сводятся к одному предложению с предикативностью. Вне предикации предложения не существует. Следовательно, нужно признать, что категорематический уровень включает только одну специфическую форму языкового высказывания — предложение. Оно не составляет класса различимых единиц, а поэтому не может вхо­дить составной частью в единицу более высокого уровня. Предложе­ние может только предшествовать какому-нибудь другому предло­жению или следовать за ним, находясь с ним в отношении следова­ния. Группа предложений не образует единицы высшего уровня по отношению к уровню предложения. Языкового уровня, расположен­ного выше категорематического уровня, не существует.

\* Коль скоро можно произвести слово «лексема» от греческого lexis, ничто не помешает сделать «фразему» из греч. phrasis «предложение».

Ввиду того что предложение не образует формального класса различительных единиц, которые могли бы быть потенциальны­ми членами более высокого уровня, как это свойственно фоне­мам или морфемам, оно принципиально отлично от других язы­ковых единиц.

Сущность этого различия заключается в том, что предложение содержит знаки, но не является знаком. Коль скоро мы это при­знаем, станет явным контраст между сочетаниями знаков, кото­рые мы встречали на низших уровнях, и единицами рассматрива­емого уровня.

Фонемы, морфемы, слова (лексемы) могут быть пересчитаны. Их число конечно. Число предложений бесконечно.

Фонемы, морфемы, слова (лексемы) имеют дистрибуцию на соответствующем уровне и употребление на высшем. Для предло­жений не существует ни законов дистрибуции, ни законов упот­ребления.

Список употреблений одного слова может быть не закончен. Список употреблений предложения не может быть даже начат.

Предложение — образование неопределенное, неограниченно варьирующееся; это сама жизнь языка в действии. С предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в дру­гой мир, в мир языка как средства общения, выражением которо­го является сама речь.

В самом деле, это два различных мира, хотя они охватывают одну и ту же реальность; им соответствуют две разные лингвисти­ки, пути которых, однако, ежесекундно пересекаются. С одной стороны, существует язык как совокупность формальных знаков, выделяемых посредством точных и строгих процедур, распреде­ленных по классам, комбинируемых в структуры и системы, с другой — проявление языка в живом общении.

Предложение принадлежит речи. Именно так его и можно опре­делить: предложение есть единица речи. Подтверждение этому со­стоит в том, что предложению присущи определенные модальности. Повсеместно признано, что существуют предложения утвердитель­ные, вопросительные, повелительные, отличающиеся друг от друга специфическими чертами синтаксиса и грамматики, но одинаково основанные на предикации. Однако эти три модальности лишь ото­бражают три основные позиции говорящего, который воздействует на собеседника своей речью; говорящий либо хочет передать собе­седнику элемент знания, либо получить от него информацию, либо приказать что-либо сделать. Именно эти три связанные с общением функции речи отражаются в трех формах модальности предложе­ния, соответствуя каждая одной из позиций говорящего.

Предложение — единица, потому что оно является сегментом речи, а не потому, что оно может служить различителем других единиц того же уровня; оно не таково, как это было показано. Но предложение является полной единицей, которая имеет одновре­менно смысл и референт: смысл — потому, что оно несет смысло­вую информацию, а референт потому, что оно соотносится с со­ответствующей ситуацией. Люди, которые общаются между собой, должны иметь определенный общий референт (или определенную ситуацию в качестве референта), без которого коммуникации как таковой не происходит: ведь даже если «смысл» и понятен, а «ре­ферент» не известен, коммуникация не имеет места.

В этих двух свойствах предложения мы видим условие, которое делает возможным его анализ самим говорящим начиная с момен­та обучения языку и в ходе непрерывных упражнений в речи в любой ситуации. Постепенно говорящий начинает постигать бес­конечное многообразие передаваемых содержаний, контрастиру­ющее с малым числом употребляемых элементов. Отсюда он, по мере того как система становится для него привычной, бессозна­тельно извлекает чисто эмпирическое представление о знаке, ко­торый можно было бы, в рамках предложения, определить следу­ющим образом: знак есть такая минимальная единица предложе­ния, которую можно опознать как идентичную в другом окружении или заменить другой единицей в идентичном окружении.

Говорящий, после того как он воспринял знаки в облике «слов», может остановиться на этом. Лингвистический анализ начинается для него — в практике речи — с предложения. Когда же лингвист пытается выявить уровни анализа, то он идет в обратном направ­лении, отталкиваясь от элементарных единиц, и приходит к опре­делению предложения как единицы высшего уровня. Именно в речи, реализованной в предложениях, формируется и оформляется язык. Именно здесь начинается речевая деятельность. Можно было бы сказать, перефразируя классическое изречение: nihil est in *lingua* quod non prius fuerit in *oratione* «в *языке* нет ничего, чего раньше не было в *речи».*

*С. О. Карцевский.* Об асимметричном дуализме лингвистического знака\*

\* *Звегинцев В.А.* История языкознания ХIХ-ХХ веков в очерках и извлечениях М., 1965. 3-е изд. Ч. 2. С. 85-93.

Знак и значение не покрывают друг друга полностью. Их гра­ницы не совпадают во всех точках: один и тот же знак имеет не­сколько функций, одно и то же значение выражается нескольки­ми знаками. Всякий знак является потенциально «омонимом» и «синонимом» одновременно, т.е. он образован скрещением этих двух рядов мыслительных явлений.

Будучи семиологическим механизмом, язык движется между двумя полюсами, которые можно определить как общее и отдель­ное (индивидуальное), абстрактное и конкретное.

С одной стороны, язык должен служить средством общения между всеми членами лингвистической общности, а с другой сто­роны, он должен также служить для каждого члена этой общности средством выражения самого себя, и какими бы «социализиро­ванными» ни были формы нашей психической жизни, индивиду­альное не может быть сведено к социальному. Семиологические значимости языка будут непременно иметь виртуальный и, следо­вательно, общий характер, для того чтобы язык оставался незави­симым от настроений индивида и от самих индивидов. Такого рода знаки должны, однако, применяться к всегда новой, конкретной ситуации.

Если бы знаки были неподвижны и каждый из них выполнял только одну функцию, язык стал бы простым собранием этикеток. Но также невозможно представить себе язык, знаки которого были бы подвижны до такой степени, что они ничего бы не значили за пределами конкретных ситуаций. Из этого следует, что природа лингвистического знака должна быть неизменной и подвижной одновременно. Призванный приспособиться к конкретной ситуа­ции, знак может измениться только частично; и нужно, чтобы благодаря неподвижности другой своей части знак оставался тож­дественным самому себе.

Независимо от того, направляется ли наше внимание в дан­ной конкретной ситуации на новое, неизвестное, или на старое, одновременное присутствие этих двух элементов неизбежно для всякого акта понимания (или познания). Новое включается в ста­рые рамки, оно осмысляется как новый род старого вида. Но это всегда род, а не индивид. Познать или понять явление — это зна­чит включить его в совокупность наших знаний, установить коор­динаты, на скрещении которых его можно будет найти. И все же действительно новыми являются не сами координаты, а их взаи­моотношение, их скрещение. Само собой разумеется, что акт по­знания не может затронуть «индивидуальное» в собственном смысле слова. Реальное бесконечно, и в каждой данной ситуации мы удер­живаем только некоторые элементы, отбрасывая остальное как не имеющее значения с точки зрения наших интересов. Мы прихо­дим тем самым к понятию, схематическому продукту интеграции, призванному с самого своего зарождения служить общим типом.

Лингвистический знак по своей внутренней структуре соответ­ствует скрещению координат различных степеней обобщения в зависимости от семиологического плана, которому он принадле­жит. Истинно новым, например, в слове, которое только что со­здалось, является скрещение координат, а не координаты как та­ковые. Иначе и не могло бы быть, так как всякое слово с момента своего появления обозначает род, а не индивид. Если мы являемся свидетелями перемещения границ между семой и морфемой внут­ри слова, что часто имеет место в этимологизировании детей, на­пример, *mamagei, papont* и т.д., то это явление возможно только благодаря существованию в языке таких слов, как *papagei* и *mammouth,*\* которые и оказываются затронутыми смещением ко­ординат. В момент ее «изобретения» координата является непре­менно общей, а не индивидуальной, созданной ad hoc для еди­ничного явления. Можно было бы утверждать, что невозможно создание только одного слова и что можно создать по крайней мере лишь два слова одновременно.

\* Ср. нем. *Papagei* «попугаи» и франц. *mammouth* «мамонт». — *Прим. сост.*

Общее и индивидуальное даны во всякой семиологической сис­теме не как сущности, а как взаимоотношения двух координат или двух рядов семиологических значимостей, из которых одна служит для дифференциации другой. Однако не следовало бы слишком на­стаивать на дифференциальном характере лингвистического знака. В введении к нашей «Системе русского глагола» мы говорили следую­щее: «Стало обычным утверждение, что лингвистические значимос­ти существуют только в силу своего противоположения друг к другу. В такой форме эта идея приводит к абсурду: дерево является дере­вом, потому что оно не является ни домом, ни лошадью, ни ре­кой... Чистое и простое противоположение ведет к хаосу и не может служить основанием для системы. Истинная дифференциация предполагает одновременные сходства и различия. Мыслимые яв­ления образуют ряды, основанные на общем элементе, и проти­вополагаются только внутри этих рядов... Таким образом, оправ­дывается и становится возможной омофония, когда две значимо­сти, принадлежащие двум различным рядам... оказываются обладающими одним звуковым знаком».

Бессмысленно спрашивать, например, какова в русском языке значимость *-а* как морфемы. Прежде всего нужно установить ряды общих значимостей, внутри которых это *-а* проявляется. Напри­мер, *стол, стола, столу..., паруса, парусов..., жена, жены...* и т.д. Только тогда, учитывая ряд, мы можем понять, какова диффе­ренциальная значимость этой морфемы.

Если один и тот же звуковой знак, как мы видели, в разных рядах может служить для передачи различных значимостей, то и обратное оказывается возможным: одна и та же значимость внутри различных рядов может быть представлена разными знаками; ср. имя существительное множественного числа — *столы, паруса, кре­стьяне* и т.д. Омофония — явление общее, омонимия же является ее частным случаем и проявляется в понятийных аспектах языка; противоположное ей явление (гетерофония) проявляется в поня­тийных аспектах как синонимия. Однако это не что иное, как две стороны одного и того же общего принципа, который можно было бы сформулировать, хотя и не очень точно, следующим образом: всякий лингвистический знак является в потенции омонимом и синонимом одновременно. Иначе говоря, он одновременно при­надлежит к ряду переносных, транспонированных значимостей одного и того же знака и к ряду сходных значимостей, выражен­ных разными знаками. Это логическое следствие, вытекающее из дифференциального характера знака, а всякий лингвистический знак непременно должен быть дифференциальным, иначе он ни­чем не будет отличаться от простого сигнала.

Омонимия и синонимия в том смысле, в каком мы их здесь понимаем, служат двумя соотносительными координатами, самыми существенными, поскольку они являются самыми подвижными и гибкими; они более всего способны затронуть конкретную дей­ствительность.

Омонимический ряд является по своей природе скорее психо­логическим и покоится на ассоциациях. Синонимический ряд имеет скорее логический характер, так как его члены мыслятся как раз­новидности одного и того же класса явлений. Однако число членов этого ряда не определено, ряд остается всегда открытым: даже если он существует в потенции, возможность введения данного значе­ния в состав класса обязательно сохраняется. Именно эта идея класса в контакте с конкретной ситуацией становится центром излуче­ния сходных значимостей.

Омонимический ряд также остается открытым, в том смысле, что невозможно предвидеть, куда будет вовлечен данный знак иг­рой ассоциаций. Однако в каждый данный момент мы имеем толь­ко два звена, относящихся друг к другу как знак транспонирован­ный, знак в переносном смысле, к знаку «адекватному» и сохра­няющихся в контакте в силу принципа *tertium comparationis.*\* Центром излучения омонимов является совокупность представлений, ассо­циируемых со значимостью знака; их элементы изменяются в за­висимости от конкретной ситуации, и только конкретная ситуа­ция может дать tertium comparationis.

\* Tertium comparationis (лат.) — «третий из сравниваемых»

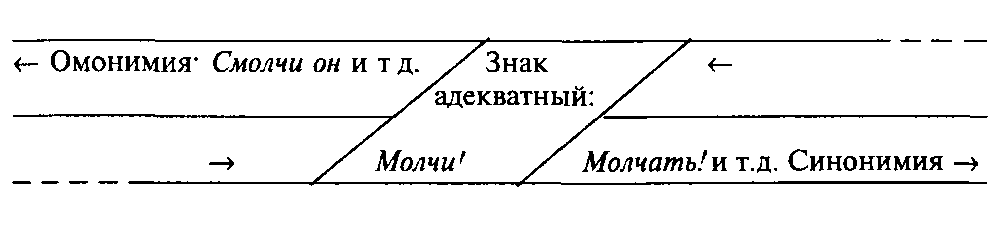
В «полном» знаке (таком, как слово, которое сравнивается с морфемой) имеется два противоположных центра семиологических функций; один группирует вокруг себя формальные значимо­сти, другой — семантические. Формальные значимости слова (род, число, падеж, вид, время и т.д.) представляют элементы значе­ний, известные всем говорящим; эти элементы не подвергаются, так сказать, опасности субъективного истолкования со стороны говорящих; считается, что они остаются тождественными самим себе в любой ситуации. Семантическая часть слова, напротив, пред­ставляет некий род остатка, противящегося всякой попытке раз­делить его на элементы такие же «объективные», каковыми явля­ются формальные значимости. Точная семантическая значимость слова может быть достаточно установлена лишь в зависимости от конкретной ситуации. Только значимость научных терминов за­фиксирована раз и навсегда благодаря тому, что они включаются в *систему* идей. Между тем еще очень далеко до того, чтобы гово­рить о системе в отношении совокупности наших идей, соответ­ствующих тому, что можно было бы обозначить «идеологией обы­денной жизни».

Поэтому всякий раз, когда мы применяем слово как семанти­ческую значимость к реальной действительности, мы покрываем более или менее новую совокупность представлений. Иначе гово­ря, мы постоянно транспонируем, употребляем переносно семан­тическую ценность знака. Но мы начинаем замечать это только тогда, когда разрыв между «адекватной» (обычной) и случайной ценностью знака достаточно велик, чтобы произвести на нас впе­чатление. Тождество знака тем не менее сохраняется: в первом слу­чае знак продолжает существовать, потому что наша мысль, склонная к интеграции, отказывается учитывать изменения, происшед­шие в совокупности представлений; во втором случае знак, види­мо, продолжает существовать, потому что, вводя tertium comparationis, мы тем самым мотивировали новую ценность ста­рого знака.

Какой бы конкретной ни была эта транспозиция, она не за­трагивает индивидуальное. С момента своего появления новое об­разование представляется как знак, т.е. оно способно обозначать аналогичные ситуации, оно является уже родовым и оказывается включенным в синонимический ряд. Предположим, что в разгово­ре кто-то был назван *рыбой.* Тем самым был создан омоним для слова «рыба» (случай переноса, транспозиции), но в то же время прибавился новый член к синонимическому ряду: «флегматик, вялый, бесчувственный, холодный» и т.д.

Другой центр семиологических значимостей слова, а именно группировка формальных значимостей, может быть также транс­понирован, использован в переносном смысле. Вот пример транс­позиции грамматической функции. Повелительное наклонение выражает волевой акт говорящего, перед которым стушевывается роль собеседника как действующего лица *(Замолчи!).* Однако эта форма появляется в другой функции: *«Только посеяли, а мороз и* ***ударь»*** (tertium comparationis: действие неожиданное, следователь­но, «произвольное», независимое от действующего лица), или: ***«Смолчи он,*** *все бы обошлось»* (tertium comparationis: действие, навя­занное действующему лицу); наконец, мы находим омофоны: *«Того и* ***гляди»*** и «То и ***знай»*** и т.д. Повелительная форма обладает, есте­ственно, и синонимами, например: ***«Замолчать! Молчание! Тсс!..»*** и т.д. В своих основных чертах грамматическая транспозиция по­добна семантической транспозиции. Обе они осуществляются в зависимости от конкретной действительности. Мы не можем оста­навливаться здесь на том, что их различает. Заметим все же основ­ную разницу между ними. Формальные значимости, естественно, более общи, чем семантические значимости, и они должны слу­жить типами, из которых каждый включает почти неограниченное число семантических значений. Поэтому грамматические значимо­сти более устойчивые, а их транспозиция менее часта и более «ре­гулярна». Сдвиг, смещение грамматического знака либо по омонимической, либо по синонимической линии можно если не пред­видеть, то по крайней мере зафиксировать. Но невозможно предвидеть, куда повлекут знак семантические сдвиги, смещения. Однако в области грамматики подразделения происходят всегда попарно, и две соотносительные значимости противополагаются как контрастные. Впрочем, мы знаем, что в зависимости от неко­торых конкретных ситуаций такие различные значимости, как со­вершенный и несовершенный вид, могут потерять свое противо­положение. Следовало бы, таким образом, чтобы в «синтаксисе» не только изучались омонические и синонимические сдвиги каж­дой формы (что, впрочем, является единственным средством для понимания значения функции каждой формы), но и были сдела­ны попытки определить, в какой конкретной ситуации и в зави­симости от каких понятий значимость знака приходит к своей про­тивоположности.

Для иллюстрации асимметричного характера знака можно было бы прибегнуть к следующей схеме:



Обозначающее (звучание) и обозначаемое (функция) посто­янно скользят по «наклонной плоскости реальности». Каждое «вы­ходит» из рамок, назначенных для него его партнером: обознача­ющее стремится обладать иными функциями, нежели его собствен­ная; обозначаемое стремится к тому, чтобы выразить себя иными средствами, нежели его собственный знак. Они асимметричны; будучи парными (accouplés), они оказываются в состоянии неус­тойчивого равновесия. Именно благодаря этому асимметричному дуализму структуры знаков лингвистическая система может эво­люционировать: «адекватная» позиция знака постоянно переме­щается вследствие приспособления к требованиям конкретной ситуации.

*Ч. Ф. Хоккетт.* Проблема языковых универсалий\*

\* Новое в лингвистике М., 1970. Вып. V. С. 64-76.

<...> Теперь мы готовы сделать некоторые обобщения. <...>

*3.1. Любое человеческое общество имеет язык.*

Неверно было бы приводить в качестве контрпримера монас­тырь монахов-траппистов:\* не было бы необходимости в запрете на разговор, если бы не существовала возможность разговора.

\* Монахи-трапписты давали обет молчания.

*3.2. Ни один <биологический> вид, за исключением человека, не имеет языка.*

С течением времени это утверждение может быть опровергну­то новыми зоологическими открытиями. В этом утверждении не содержится никаких предположений относительно вымерших ви­дов и родов гоминидов *(неандертальцев, питекантропов, австрало­питеков).*

*3.3. Любая человеческая коммуникативная система, обычно име­нуемая (устным) языком, в нашем понимании тоже является язы­ком.*

Автора беспокоит возможность того, что под определение языка может подойти ряд человеческих систем, которые обычно не именуются «устным языком» (spoken language) и которые он не хотел бы сюда включать, например язык свиста у масатеко. <...> Производный характер таких систем очевиден, но неясно, как же формально оправдать их исключение.

*3.4. У любого человеческого языка есть вокально-слуховой канал.*

Этот признак был исключен из определяющего перечня, по­скольку обусловленные им признаки (рассеянная передача, на­правленный прием, быстрое затухание) представляются гораздо более важными в структурном отношении. Можно вообразить дру­гие каналы — скажем, свет или тепловые колебания, которые давали бы те же следствия. Поэтому данное утверждение не три­виально.

*3.5. У любого человеческого языка есть традиция.*

Если мы сконструируем и построим комплекс машин, обща­ющихся между собой при помощи языка, то данный признак у них будет отсутствовать.

*3.6. Любой человеческий язык можно выучить.*

Возможно, это следует из предшествующего.

*3.7. В любом человеческом языке есть как интонационная систе­ма, так и не-интонационная система; эта дихотомия пронизывает как кенематику, так и плерематику.*

В английском, например, есть сегментные (не-интонационные) морфемы, которые получают отражение в сегментных фонологи­ческих признаках, и интонационные морфемы, которые получа­ют отражение в интонационных фонологических признаках. Гово­рящий одновременно передает и не-интонационное, и интонаци­онное сообщение. Гипотеза состоит в том, что такая организация присуща всем человеческим языкам. Отсюда не следует, что фоне­тическим «сырьем» для интонации непременно является высота голосового тона, как это имеет место в английском языке.

Если это обобщение верно, то оно весьма знаменательно, по­скольку представляется (в данный момент), что нет абсолютно никаких причин, почему бы система, подобная языку во всех дру­гих отношениях, должна была бы обладать этим свойством. Боль­шая часть письменных систем им не обладает.

Соблазнительно другое обобщение об интонации, но оно ба­зируется на весьма ограниченном материале: большое число са­мых разных языков (английский, другие европейские языки, ки­тайский, японский, самоа, фиджи) имеют «весьма бесцветную» утвердительную интонацию, несмотря на: 1) различие фонемати­ческих структур интонации (при *фонетическом* подобии интона­ции в этих языках) и 2) большое несоответствие остальных эле­ментов интонационной системы.

*3.8. В любом человеческом языке как плерематическая, так и кенематическая системы (независимо друг от друга)— иерархические.*

Грамматически высказывание состоит, например, из предло­жений (clauses), предложение — из синтагм (phrases), синтагма — из слов; слово — из морфем. Фонологически высказывание состо­ит из макросегментов, макросегмент — из микросегментов, мик­росегмент — из слогов, слог — из фонем, фонема — из фонологи­ческих компонентов. (За исключением «морфемы», «фонологичес­кого компонента» и, возможно, «высказывания», термины, употребленные в разъяснении данного обобщения, не принадле­жат самому обобщению.)

*3.9. Человеческие языки сильнее различаются кенематикой, чем плерематикой.*

*3.10. Человеческие языки различаются сильнее на низших уровнях. По крайней мере это верно для плерематики.*

Эти два утверждения не являются универсалиями, но, может быть, свидетельствуют о некоторых универсалиях. Например, в 3.10 утверждается, что все языки обладают некоторыми общими круп­ными синтаксическими структурами, как бы разнообразны ни были мелкие структуры, из которых строятся компоненты крупных струк­тур. Утверждение 3.9 можно оспаривать на том основании, что у нас нет надежного способа измерять и сравнивать указанные раз­личия. В настоящее время это, бесспорно, так; но интуитивно дан­ное утверждение представляется автору верным, и, вероятно, мо­гут быть найдены формальные средства для подтверждения (или же опровержения) этого впечатления.

**4. Грамматические универсалии**

В обобщениях предшествующего раздела упоминается грамма­тика (или плерематический уровень), но эти обобщения не при­надлежат к числу обобщений о собственно грамматике, потому что они касаются соотношений грамматики и других аспектов язы­ковой структуры.

Из сказанного ранее мы знаем (или допускаем), что в любом языке существует грамматическая система и что грамматическая структура является иерархической. В дополнение можно с доста­точной уверенностью предложить еще следующее.

*4.1. Любой человеческий язык содержит инвентарь единиц, кото­рые меняют свои денотаты в зависимости от элементарных призна­ков речевой ситуации.*

Иначе говоря, любой язык имеет дейктические элементы (по терминологии Блумфилда — «субституты»): в английском — это личные местоимения, указательные местоимения, местоименные наречия и т.д.

*4.2. В любом человеческом языке среди дейктических элементов представлен элемент, обозначающий говорящего, и элемент, обознача­ющий адресата.*

Первое лицо и второе лицо местоимений единственного чис­ла универсальны. Кажется, нет внутренней (кроющейся в са­мом определении языка) причины, почему это должно быть так; и все-таки, если мы попытаемся вообразить систему, ли­шенную их, мы получим нечто очень непохожее на систему естественного языка.

*4.3. Каждый человеческий язык содержит такие элементы, кото­рые, ничего не обозначая, обусловливают различия в обозначаемом тех сложных форм, в состав которых они входят.*

Подобные элементы суть *маркеры* (markers), например англ. *and* «и»: *match and book* «спичка и книга» обозначает нечто отличное и от *match or book* «спичка или книга», и от *match book* «коробка спи­чек», но само *and* ничего не обозначает.\* Допущение, что такие элементы должны обозначать нечто точно так же, как *man* «чело­век», *sky* «небо», *honor* «честь» или *unicorn* «единорог», породило менталистское философствование, населяющее вселенную абст­рактными сущностями, а человеческий ум понятиями такими же бесполезными, как и светородящий эфир.

\* Переводы здесь и далее добавлены составителями.

Существуют также и *нечистые маркеры,* например англ. *in, on* «в, на», которые обозначают некую сущность и одновременно об­ладают функцией маркера. Возможно, что следует высказать допу­щение лишь об универсальном наличии маркеров (чистых или не­чистых).

*4.4. Каждый человеческий язык имеет имена собственные.*

Собственное имя есть форма, которая обозначает только то, что она обозначает. Если она обозначает более чем одну вещь в разных встречаемостях, то класс вещей, который может быть ею обозначен, не обладает ни одним общим критериальным свой­ством, кроме несущественного свойства быть обозначенным име­нем собственным. Все американцы с именем *Ричард,* по всей веро­ятности, мужчины, но многих мужчин не зовут *Ричардом;* поэто­му, впервые встретив какого-то человека, никоим образом невозможно на основе его свойств заключить, что его имя должно быть *Ричард.*

Форма может быть именем собственным и в то же время не только им: *Robin / robin* «Робин / малиновка», *John /John* «Джон / парень», *Brown / brown* «Браун / коричневый». Данное обобщение не отрицает этой возможности.

*4.5. Во всех языках имеются грамматические элементы, которые не принадлежат ни к одной из трех, только что перечисленных специ­альных категорий.*

В целях сравнения полезно отметить, что все сигналы в танцах пчел — дейктические элементы и что ни один из выкриков гиббо­на не принадлежит ни к одному из трех перечисленных типов эле­ментов.

*4.6. В каждом человеческом языке имеется по крайней мере два основных уровня грамматической организации.*

Там, где их ровно два, вполне хороши и традиционные терми­ны «морфология» и «синтаксис». Там, где граница между морфо­логией и синтаксисом размыта, более пристальный анализ часто вскрывает особый, промежуточный между морфологией и син­таксисом уровень.

Приведем пример из такого языка, как испанский. Внутренняя организация *dando* «давая», *те* «мне» и *lo* «это» — это морфология; участие *dândomelo* в более крупных формах — это синтаксис; струк­туры объединения *dando, те* и /о в *dándomelo* обычно не относят ни к морфологии, ни к синтаксису.

Однако 4.6 сомнительно в другом отношении: более глубокое проникновение в языки типа китайского может показать, что их лучше описывать, не прибегая ни к дихотомии «морфология — синтаксис», ни к более сложной трихотомии.

Во многих языках с четкой дихотомией «морфология — син­таксис» фонологическая и грамматическая структуры скоррелированы, то есть грамматические элементы в основном являются так­же и различающимися фонологически единицами. Из этого прави­ла есть, однако, много исключений, так что данное утверждение указывает скорее на морфофонологическую таксономию, чем на универсалии.

*4.7. Ни один человеческий язык не имеет грамматически однород­ного словаря, даже если исключить уже упомянутые три специальные категории элементов (дейктические элементы, маркеры и собствен­ные имена).*

Всегда существуют формы, различающиеся степенью употре­бительности. Поэтому всегда можно говорить с полным основани­ем о формальных классах слов.

*4.8. Основное противопоставление классов форм «имя»— «глагол» является универсальным, хотя не всегда на одном и том же уровне. <...>*

*4.9. В каждом человеческом языке можно встретить тип предло­жения двучленной структуры, конституенты которой разумно было бы именовать «тема» и «рема» («topic» and «comment»).*

Порядок конституентов может быть различным. Для китайско­го, японского, корейского, английского и многих других языков типично упоминание сначала того, о чем пойдет речь, а затем того, что о нем говорится. В других языках наиболее типичная аранжировка — предшествование ремы или ее части теме. Это обобщение относится, конечно, только к простому предложе­нию. В каждом языке, очевидно, существуют предложения так­же и иных типов.

*4.10. В каждом языке различаются одноместные и двухместные предикаты.*

В предложении *Mary is singing* «Мэри поет» одноместным пре­дикатом является *is singing.* В предложении *John struck Bill* «Джон ударил Билла» предикат двухместен.

Пункты 4.9 и 4.10 в некотором отношении вызывают сомнение. Мы склонны находить эти структуры в каждом языке, но, вообще говоря, возможно, что мы находим их потому, что мы их ожида­ем, а ожидаем мы их потому, что они предполагаются некоторы­ми наиболее известными нам глубинными свойствами языка. Для некоторых языков иная схема, значительно менее очевидная для нас, может на самом деле более соответствовать фактам. Хотя это справедливо для всех предложенных обобщений, это, видимо, в особенности справедливо для указанных двух обобщений.

**5. Фонологические универсалии**

Из уже сказанного мы знаем (или допускаем), что каждый че­ловеческий язык обладает фонологической системой, что фоно­логическое структурирование всегда иерархично. Тогда собственно фонологические обобщения следует рассматривать в пределах этих предварительных допущений.

5.*1. В каждом человеческом языке избыточность, измеряемая в фонологических терминах, близка к 50%.*

Суть дела в том, что если избыточность значительно превыша­ет эту величину, коммуникация становится неэффективной и люди говорят быстрее или неряшливее; значительное снижение этой ве­личины ведет к непониманию, и люди замедляют темп речи и артикулируют более отчетливо.

Возможно, что, если измерить избыточность в лексико-грам-матических терминах, ее величина будет примерно такой же; воз­можно также, что эта приблизительная величина характерна для самых различных коммуникативных систем, по крайней мере для используемых людьми. Печатный английский текст <...> дает эту же величину избыточности для букв.

*5.2. Малопродуктивно считать универсалиями фонемы.*

Мы можем, конечно, говорить вполне обоснованно о фонемах при рассмотрении любого языка. Но их положение в иерархии фоно­логических единиц меняется от одного языка к другому, и, кроме того, оно в некоторой степени зависит от предубеждений или сим­патий исследователя. Но, с другой стороны, статус фонологических компонентов установлен раз и навсегда по определению: фонологи­ческие компоненты суть минимальные (далее неделимые) единицы фонологической системы. Если вся фонологическая структура иерар-хична, то точная организация этой иерархии, меняющаяся от одно­го языка к другому, становится важным основанием для классифи­кации, но не основанием для обобщений рассматриваемого типа.

На Кавказе имеются языки <...>, фонологические системы которых можно описать с помощью дюжины фонологических при­знаков, объединяющихся в 70—80 фонем, которые в свою очередь соединяются в примерно вдвое большее количество слогов. Каж­дый слог состоит из одной из семидесяти с лишним согласных фонем, за которой следует одна из двух гласных фонем. В подобном случае очевидно, что гласные «фонемы» лучше рассматривать про­сто как два дополнительных фонологических признака, так что единица, подобная /ka/, оказывается просто фонемой. В качестве альтернативы можно отказаться от термина «фонема» и говорить о признаках непосредственно в слогах. В любом случае ни в понятии «фонема», ни в понятии «слог» нет необходимости. Это крайний случай, но он реален и подчеркивает важность тех «антиуниверса­лий», о которых говорилось в разд. 5.2.

*5.3. Каждый человеческий язык использует различия в окраске гласных.*

Окраской гласных называется комбинация формант. Из акус­тики известно, что в языках типа английского различия окраски гласного очень важны для разграничения согласных, равно как и для различения гласных фонем.

*5.4. Историческая тенденция к фонологической симметрии уни­версальна.*

Р. Якобсон предложил ряд синхронных обобщений о фоноло­гических системах. Для некоторых из них, кажется, существуют немногочисленные маргинальные исключения. Например, в соот­ветствии с одним из утверждений язык не имеет спиранта типа [θ], если в нем нет ни [t], ни [s]; или в языке нет аффрикаты типа [č], если в нем нет ни [t], ни [š]. Однако в языке кикапу есть [t] и [θ], но нет [s]. Другое обобщение состоит в том, что в языке нет носовых непрерывных, более контрастных по месту артикуляции, чем смычные некоторого способа артикуляции. Можно проанали­зировать некоторые разновидности португальского языка в Брази­лии так, что это обобщение будет нарушено. Третье обобщение состоит в том, что в языке аспирированные и неаспирированные взрывные не противопоставляются, если в нем нет отдельной фо­немы /h/. Пекинский диалект китайского языка представляет со­бой почти исключение, потому что в нем согласным, ближайшим к [h], является дорсовелярный спирант.

Все же представляется, что имеется слишком много разнооб­разных подтверждений этим обобщениям, чтобы их можно было отбросить из-за горсточки исключений. Если факты не соответ­ствуют гипотезе, то, прежде чем отказаться от нее, следует попы­таться ее модифицировать. Все приведенные выше случаи, види­мо, представляют собой указание на историческую тенденцию к некоторой симметрии в системе. Эта тенденция может быть нару­шена, так что не каждая система с синхронной точки зрения бу­дет подчиняться некоторому правилу, но диахронически эта тен­денция существует.

5.5. *В любой фонологической системе, когда бы мы ее ни анализи­ровали, обнаруживаются пробелы, случаи асимметрии, или «конфигу­рационного натяжения».*

Большинство языковых систем в результате полумагической логистики исследователя могут быть приведены к состоянию чет­кости и симметричности. К подобным ухищрениям всегда стоит прибегать, но не для того, чтобы навязать симметрию там, где она отсутствует, а в силу их эвристической ценности. Они помогают вскрыть отношения внутри системы, которые в противном случае были бы не замечены. Однако элементы асимметричности, хотя и теснимые со всех сторон, все-таки остаются в системе.

5.*6. Звуковое изменение универсально. Оно определяется основны­ми признаками устройства языка, в частности— дуальностью.*

Под «звуковым изменением» понимается механизм языкового изменения, не сводимый к другим механизмам <...>. Когда систе­ма характеризуется дуальностью, основной ролью ее кенематической <под>системы является идентификация и разграничение сообщений.

Обычно высказывание, порождаемое при некоторых обстоя­тельствах, далеко не незначительно отличается от любого другого высказывания, которое может быть порождено в том же языке при тех же самых обстоятельствах. Поэтому есть все возможности для появления неразличительной вариативности и в деталях арти­куляции, и, в еще большей степени, в форме речевого сигнала к тому времени, когда он достигнет ушей слушателя. Таким обра­зом возникает звуковое изменение. Роль звуковых изменений в фонологической и грамматической системах языка — это уже дру­гой вопрос <...>.

5.7. *В любой фонологической системе противопоставлены типич­ные смычные согласные фонемы и фонемы, которые никогда не явля­ются смычными.*

Смычные согласные — это звуки, образуемые при полной ртовой смычке и полной гортанной смычке. Под «типичными смыч­ными согласными фонемами» понимаются фонемы, которые яв­ляются смычными в медленной тщательной речи или в сильных позициях (key environments), тогда как в некоторых других пози­циях или в ускоренной речи они могут быть ослаблены или спирантизованы. Противопоставляемые им несмычные широко варь­ируются от языка к языку. В некоторых языках Новой Гвинеи бли­жайшими к несмычным являются носовые непрерывные. Гораздо чаще ими являются спиранты.

*5.8. В любой фонологической системе имеется не меньше двух противопоставляемых позиций артикуляции смычных.*

Засвидетельствованы лишь два случая с двумя позициями — это гавайский язык и несколько архаичный самоа, где лабиальные противопоставлены язычным. (В современном самоа развилось но­вое противопоставление апикальные/дорсальные.)

*5.9. Если в языке есть система гласных, то в этой системе есть противопоставления по высоте подъема языка.*

*5.10. Если, по определению, система гласных включает все слогообра­зующие сегментные фонемы, тогда система гласных есть в любом языке.*

Для того чтобы распространить 5.10 на упоминавшиеся ранее кавказские языки, необходимы некоторые уточнения. Если, по определению, система гласных включает все те сегментные фоне­мы, которые используются *только* как слогообразующие, то по крайней мере один язык — вишрам — имеет одноэлементную во­кальную систему, которая лишь в тривиальном смысле может быть названа «системой». С этой оговоркой 5.9 становится истинной универсалией, применимой ко всем человеческим языкам.

Иная формулировка 5.9 состояла бы в утверждении: если в языке есть противопоставления гласных, не являющиеся противопостав­лениями по высоте подъема, то в нем есть и противопоставления по высоте подъема, но не обязательно наоборот.

По всей видимости, можно было бы сформулировать дальней­шие обобщения, аналогичные последним трем, хотя все они в любой момент могут потребовать модификации с учетом эмпири­ческой информации о каком-нибудь пока еще не исследованном языке. В целом же они указывают на нечто весьма загадочное. Каза­лось бы, достаточно легко придумать систему фонем, в которой не было бы совсем смычных согласных или гласных и тому подобное. Несмотря на большое разнообразие, фонологические системы мира имеют больше общего, чем это строго «необходимо». Иначе гово­ря, степень существующего между ними сходства оказывается бо­лее высокой, чем это требуется лишь определяющими признака­ми языка и известными культурными и биологическими особен­ностями человеческого рода. Даже с учетом того, что на самом деле разнообразие может оказаться несколько значительней, чем мы представляем себе в данный момент, столь высокая степень сходства все-таки остается загадкой. Нет ли здесь ограничений, вызванных пока еще не известными особенностями органов речи и человеческого слуха? Не обусловлено ли сходство общностью происхождения, причем в относительно недавнее время — ска­жем, сорок или пятьдесят тысяч лет назад, — всех человеческих языков, о которых у нас есть или могут быть прямые свидетель­ства? (Последняя из этих гипотез, разумеется, не означает, что возраст языка ограничен этими цифрами; она лишь предполагает, что все другие более древние ветви отмерли.) Эти вопросы оста­ются открытыми; может быть, ответы на них в действительности следует искать совсем в другом направлении. <...>

II Фонология

*Н. С. Трубецкой.* Основы фонологии\*

\* *Трубецкой Н.С.* Основы фонологии/Перевод с нем. М., 1960. С. 7—93.

ВВЕДЕНИЕ

*1. Фонология и фонетика*

Каждый раз, когда один человек говорит что-либо другому, мы имеем дело с **речевым актом,** или **речью.** Речь всегда конкрет­на, она приурочена к определенному месту и к определенному времени. Она предполагает наличие говорящего («отправителя»), слушателя («получателя») и предмета, о котором идет речь. Все эти три элемента — говорящий, слушатель и предмет речи — ме­няются от одного речевого акта к другому. Но речевой акт предпо­лагает наличие еще одного момента: чтобы слушатель понимал собеседника, оба они должны владеть одним и тем же языком; наличие в сознании каждого члена языковой общности единого языка является предпосылкой любого речевого акта. В противопо­ложность однократному характеру речевого акта **язык** представля­ет собой нечто общее и постоянное. Язык существует в сознании всех членов данной языковой общности и лежит в основе беско­нечного числа конкретных речевых актов. С другой стороны, одна­ко, существование языка оправдано лишь постольку, поскольку он способствует осуществлению речевых актов; он существует лишь постольку, поскольку с ним соотносятся конкретные речевые акты, иначе говоря, поскольку он реализуется в этих конкретных рече­вых актах. Без конкретных речевых актов не было бы и языка. Та­ким образом, речь и язык предполагают друг друга. Они неразрыв­но связаны друг с другом и могут рассматриваться как две взаимосвязанные стороны одного и того же явления — «речевой деятель­ности». По своему существу, однако, это совершенно различные вещи, поэтому они и должны рассматриваться независимо друг от друга. <...>

Речевая деятельность (как язык, так и речь) имеет, согласно Соссюру, две стороны: **обозначающее** (le signifiant) и **обозначае­мое** (le signifié). Таким образом, речевая деятельность представляет собой сочетание и взаимосвязь обозначающего и обозначаемого.

Обозначаемым в речи всегда является совершенно конкретное сообщение, которое имеет смысл только как целое. Наоборот, обозначаемым в языке являются абстрактные правила: синтакси­ческие, фразеологические, морфологические и лексические. Ведь даже значения слов, поскольку они даны в языке, являются лишь абстрактными правилами, понятийными схемами, с которыми связаны те конкретные значения, которые всплывают в речи.

Обозначающим в речи является конкретный звуковой поток — физическое явление, воспринимаемое на слух. Но что является обозначающим в языке? Если обозначаемым в языке являются те правила, согласно которым вся область значений членится на со­ставные части, упорядоченные соответствующим образом, то обо­значающим в нем могут быть только такие правила, согласно ко­торым упорядочивается звуковая сторона речевого акта.

Число различных конкретных представлений и мыслей, кото­рые могут быть обозначены в речевых актах, бесконечно. Число же лексических значений, существующих в языке, ограничено; «вла­дение» языком как раз в том и состоит, что с помощью ограни­ченного числа семантических и грамматических средств, предо­ставляемых в наше распоряжение языком, мы выражаем все кон­кретные представления, мысли и их связи. Обозначаемое в языке в противоположность обозначаемому в речи состоит, таким обра­зом, из конечного исчисляемого числа единиц. Но точно такое же отношение между языком и речью имеет место и в сфере обозна­чающего. Артикуляторные движения и соответствующие им звуча­ния, возникающие в речи, до бесконечности многообразны, а зву­ковые нормы, из которых складываются единицы обозначающе­го, конечны, исчисляемы, количественно ограничены.

Так как язык состоит из правил, или норм, то он в противопо­ложность речи является системой, или, лучше сказать, множе­ством частных систем. Грамматические категории образуют грам­матическую систему, семантические категории — различного рода семантические системы. Все системы вполне уравновешены так, что их части поддерживают друг друга, восполняют друг друга, связаны друг с другом. Только поэтому и можно связать бесконечное многообразие представлений и мыслей, всплывающих в речи, с элемента­ми системы языка. Сказанное имеет силу и для обозначающего. Зву­ковой поток речи представляет собою непрерывную, на первый взгляд неупорядоченную последовательность переходящих друг в друга зву­чаний. В противоположность этому единицы обозначающего в языке образуют упорядоченную систему. И лишь благодаря тому, что от­дельные элементы, или моменты, звукового потока, проявляюще­гося в речевом акте, могут быть соотнесены с отдельными членами этой системы, в звуковой поток вносится порядок.

Таким образом, различные аспекты языкового процесса на­столько разнородны, что их исследование должно быть предметом ряда частных наук. Прежде всего совершенно очевидно, что обозна­чаемый и обозначающий аспекты речевой деятельности должны быть подведомственны различным дисциплинам. Действительно, «учение о звуках» <...> уже с давних пор являлось особой частью языкозна­ния, строго отграниченной от «учения о значении». Но, как мы уже видели выше, обозначающее в языке представляет собой нечто со­вершенно иное по сравнению с обозначающим в речи. Целесообраз­но поэтому вместо одной иметь две «науки о звуках», одна из кото­рых ориентировалась бы на речь, а другая — на язык. Соответственно различиям в объекте обе науки должны применять различные мето­ды: учение о звуках речи, имеющее дело с конкретными физически­ми явлениями, должно пользоваться методами естественных наук, а учение о звуках языка в противоположность этому — чисто лин­гвистическими методами (шире — методами общественных или гуманитарных наук). Мы будем называть учение о звуках речи **фо­нетикой,** а учение о звуках языка — **фонологией. <...>**

Однако, определив фонологию как учение о звуках языка и фонетику как учение о звуках речи, мы сказали еще далеко не все. Различие между этими двумя науками следует рассмотреть глубже и основательней.

Так как обозначающим в речи является звуковой поток, физи­ческое явление однократного характера, то наука, которая зани­мается его изучением, должна использовать методы естественных наук. Можно изучать как чисто физический, или акустический, так и чисто физиологический, или артикуляторный, аспект зву­кового потока в зависимости от того, что мы собираемся исследо­вать: его свойства или способ образования; но, собственно гово­ря, нужно одновременно делать и то и другое. <...>

Единственной задачей фонетики является ответ на вопрос: «Как произносится тот или другой звук?» Ответить на этот вопрос мож­но, лишь точно указав, как звучит тот или иной звук и каким образом, то есть благодаря какой работе органов речи, достигает­ся этот акустический эффект. <...> Звук — это воспринимаемое слухом физическое явление, и при исследовании акустической сто­роны речевого акта фонетист соприкасается с психологией вос­приятия. Артикуляция звука представляет собой наполовину авто­матизированную и все же контролируемую волей и управляемую центральной нервной системой деятельность; исследуя артикуляторную сторону речевого акта, фонетист соприкасается с психо­логией автоматизированных действий. Однако, несмотря на то, что область фонетики лежит в сфере психического, методы фонетики являются естественно-научными. Это связано, между прочим, с тем, что смежные области экспериментальной психологии также используют методы естественных наук, поскольку дело идет здесь не о высших, а о рудиментарных психических процессах. Есте­ственно-научная установка является для фонетики безусловно не­обходимой.

Особенно характерно для фонетики полное исключение како­го бы то ни было отношения исследуемых звуковых комплексов к языковому значению. Специальная тренировка, натаскивание слу­ха и осязания, которые должен пройти хороший фонетист, рабо­тающий на слух, как раз и состоит в том, чтобы приучить себя выслушивать предложения и слова, а при произнесении ощущать их, не обращая внимания на их значения, и воспринимать лишь их звуковой и артикуляторный аспекты так, как это делал бы ино­странец, не понимающий данного языка. Тем самым фонетику можно определить как **науку о материальной стороне (звуков) че­ловеческой речи.**

Обозначающее в языке состоит из определенного числа элемен­тов, сущность которых заключается в том, что они отличаются друг от друга. Каждое слово должно чем-то отличаться от всех прочих слов того же языка. Однако язык знает лишь ограниченное число таких различительных средств, а так как это число гораздо меньше числа слов, то слова по необходимости состоят из комбинаций различи­тельных элементов <...>. При этом, однако, допустимы не все мыс­лимые комбинации различительных элементов. Комбинации подчи­няются определенным правилам, которые формулируются по-раз­ному для каждого языка. Фонология должна исследовать, какие звуковые различия в данном языке связаны со смысловыми разли­чиями, каковы соотношения различительных элементов (или «при­мет») и по каким правилам они сочетаются друг с другом в слова (и соответственно в предложения). Ясно, что эти задачи не могут быть разрешены с помощью естественно-научных методов. Фонология должна применять, скорее, те же методы, какие используются при исследовании грамматической системы языка.

Звуки, которые являются предметом исследования фонетиста, обладают большим числом акустических и артикуляторных при­знаков. И все признаки существенны для исследователя, посколь­ку только полный учет их позволит дать правильный ответ на воп­рос о произношении того или иного звука. Но для фонолога боль­шинство признаков совершенно несущественно, так как они не функционируют в качестве различительных признаков слов. Звуки фонетиста не совпадают поэтому с единицами фонолога. Фонолог должен принимать во внимание только то, чтó в **составе звука не­сет определенную функцию в системе языка.**

Эта установка на функцию находится в самом резком противо­речии с точкой зрения фонетики, которая, как говорилось выше, должна старательно исключать всякое отношение к смыслу сказан­ного (то есть к функции обозначающего). Это препятствует подведе­нию фонетики и фонологии под общее понятие, несмотря на то, что обе науки на первый взгляд имеют дело с одним и тем же объек­том. Повторяя удачное сравнение Р. Якобсона, можно сказать, что фонология так относится к фонетике, как политическая экономия к товароведению или наука о финансах к нумизматике. <...>

Строгое разграничение фонетики и фонологии необходимо по существу и осуществимо практически. Такое разграничение — в интересах обеих наук. Оно, разумеется, не препятствует тому, чтобы каждая из указанных наук пользовалась результатами дру­гой. Надо только соблюдать при этом надлежащую меру, что, к сожалению, бывает не всегда.

Звуковой поток, изучаемый фонетистом, является континуумом, который может быть расчленен на любое число частей. Стремление некоторых ученых вычленить в континууме «звуки» основано на фонологических представлениях (опосредованных письменными об­разами). Так как вычленение «звуков» в действительности является весьма нелегкой задачей, некоторые фонетисты предложили разли­чать «опорные звуки» (Stellungslauten) и лежащие между ними «пе­реходные звуки» (Gleitlauten). «Опорные звуки», соответствующие фонологическим элементам, описываются, как правило, подробно, тогда как «переходные звуки» обычно не описываются, поскольку они, очевидно, рассматриваются как малосущественные или даже как совсем несущественные. Подобного рода подразделение элемен­тов звукового потока не может быть оправдано с чисто фонетичес­кой точки зрения; оно покоится на ошибочном перенесении фоно­логических понятий в область фонетики. Для фонолога известные элементы звукового потока действительно несущественны. Однако таковыми оказываются не только «переходные звуки», но и отдель­ные качества и признаки «опорных звуков». Разумеется, фонетист не может принять эту точку зрения. Несущественным для него может быть, скорее, лишь значение, смысл речевого акта, тогда как все элементы или части речевого потока для него равно существенны и важны. Конечно, фонетист всегда будет рассматривать известные типические положения органов речи и соответствующие им акусти­ческие явления как основные элементы фонации и таким образом сохранять основной принцип описания типичных артикуляционных и звуковых образований, извлекаемых из звукового и артикуляторного континуума. Однако такой подход допустим лишь в элементар­ной фонетике, к которой должна присоединяться другая часть, где исследуется структура фонетических целостностей высшего порядка. И совершенно естественно, что при описании фонетического строя языка учение о фонетических элементах в известной мере учитывает фонологическую систему данного языка, а фонологически существен­ные противоположения рассматриваются в нем более тщательно, нежели совершенно несущественные.

Что касается фонологии, то она, само собой разумеется, должна использовать известные фонетические понятия. Утверждение о про­тивоположности между глухими и звонкими шумными в русском языке, служащей для различения слов, принадлежит сфере фоноло­гии. Однако сами понятия «звонкий», «глухой», «шумный» являются фонетическими. Начало любого фонологического описания состоит в выявлении смыслоразличительных звуковых противоположении, которые имеют место в данном языке. Фонетическое описание дан­ного языка должно быть принято в качестве исходного пункта и материальной базы. Что же касается следующих, более высоких, сту­пеней фонологического описания — систематики и комбинатори­ки, — то они уже совершенно не зависят от фонетики.

Таким образом, известный контакт между фонологией и фоне­тикой, несмотря на их принципиальную независимость, неизбежен и безусловно необходим. Однако это взаимодействие должно касать­ся лишь начальных этапов фонологического и фонетического описа­ния (элементарной фонетики и фонологии); но и в этих пределах не следует переходить границ безусловно необходимого. <...>

*2. Фонология и звуковая стилистика*

Так как человеческая речь предполагает наличие говорящего, слушателя (или слушателей) и определенного предмета речи, о котором говорят, то каждое языковое выражение имеет три аспек­та: оно является одновременно **выражением (экспрессией),** или ха­рактеристикой, говорящего, **обращением** (или **апелляцией)** к слушателю (или слушателям) и **сообщением** (или **экспликацией)** о предмете речи. Большая заслуга Карла Бюлера состоит в том, что он в правильном свете представил этот, очевидно, простой и тем не менее столь долго остававшийся незамеченным факт.\*

\* Karl Вühler. Axiomatik der Sprachwissenschaft, «Kant-Studien», XXXVIII; его же, Sprachtheone, Jena, 1934.

Схема К. Бюлера сохраняет свое значение и для звуковой сто­роны языка. Слушая, как кто-нибудь говорит, мы слышим, **кто** говорит, **каким тоном** он говорит и **что** он говорит. Собственно говоря, в наличии имеется только одно акустическое впечатление. Но мы разлагаем его на составные части, причем всегда с точки зрения трех установленных Бюлером функций: одни качества вос­принимаемого звука мы осознаем как выражение, как знак, сви­детельствующий о говорящем (например, тон голоса), другие — как средство вызвать те или иные чувства у слушателя, и наконец, третьи — как признаки, по которым опознаются слова с опреде­ленным значением и состоящие из этих слов предложения. Мы как бы проецируем различные качества воспринимаемого звука на три разные плоскости: плоскость выражения, плоскость обращения и плоскость сообщения.

Спрашивается, должна ли фонология исследовать все три пла­на? Что план сообщения принадлежит фонологии, представляется непосредственно очевидным. Содержание воспринимаемого пред­ложения может быть понято лишь при том условии, если слова, из которых оно состоит, относятся к лексическим или грамматичес­ким элементам языка (langue), а обозначающее этих элементов необходимым образом состоит из фонологических единиц. Менее очевидно отношение к фонологии плана выражения и плана обра­щения. На первый взгляд оба эти плана находятся как будто в сфе­ре речи (parole) и, стало быть, подлежат не фонологическому, а фонетическому исследованию. Но при ближайшем рассмотрении это воззрение оказывается ошибочным. Среди звуковых впечатле­ний, благодаря которым мы опознаем личность говорящего и его намерение воздействовать на чувства слушателя, есть такие, кото­рые для их правильного восприятия должны быть соотнесены с определенными, установленными в данном языке нормами. Такие нормы следует трактовать как языковые ценности, они принадле­жат языку (langue) и должны, таким образом, рассматриваться в фонологии.

В первых работах по фонологии экспрессивная и апеллятивная функции едва принимались во внимание. <...> Поскольку фоноло­гия в противоположность фонетике должна исследовать функции звуков человеческой речи, она не может ограничивать себя одной экспликативной функцией. Наоборот, <...> фонология обязана при­нимать во внимание как экспрессивную, так и апеллятивную функ­ции звуков. Употребление отдельных звучаний в экспрессивной и апеллятивной функциях столь же условно, как их употребление в целях смыслоразличения: экспрессивные и апеллятивные средства, выполняющие в каком-либо языке указанные функции, не могут быть безоговорочно перенесены в другой язык. <...>

При нынешнем состоянии исследований не представляется воз­можным сказать что-либо определенное об экспрессивной и апел­лятивной фонологии; на этот счет могут быть высказаны лишь са­мые общие соображения.

Экспрессивная функция речи состоит в характеристике гово­рящего. Все, что служит в речи для характеристики говорящего, выполняет экспрессивную функцию. Элементы, выполняющие эту функцию, могут быть весьма многообразными: принадлежность говорящего к определенному человеческому типу, его физические и духовные особенности и т.д.— обо всем этом можно судить по его голосу, по его произношению, по общему стилю его речи, включая сюда выбор слов и построение предложения. Нас интере­суют, однако, только фонологически **экспрессивные средства,** то есть такие экспрессивные средства, которые содержатся в звуко­вой стороне языка как условной системе знаков.

Тем самым тотчас же из поля нашего зрения выпадает боль­шая часть характерных элементов человеческой речи. Прежде всего должно быть исключено все данное от природы, все обусловлен­ное чисто психологическими факторами. Ведь по голосу можно узнать не только пол и возраст говорящего, но иной раз и его самочувствие; даже не видя говорящего, можно по одному только его голосу определить, толстый он или худой. Все это, однако, не имеет никакого отношения к фонологии. Хотя мы и упоминаем здесь об акустически воспринимаемых симптомах, но эти симп­томы не принадлежат к условно установленной системе знаков данного языка; они сохраняют свой симптоматический характер даже при неязыковом функционировании речевого аппарата. То же можно сказать и о многих признаках речи, на основании кото­рых можно сделать заключения характерологического свойства. К экспрессивной фонологии принадлежат лишь условно установ­ленные средства звуковой характеристики говорящего. А так как язык является прежде всего общественным установлением, то ус­ловными в нем являются только средства, характеризующие при­надлежность говорящего к определенному, существенному для данной языковой общности, человеческому типу или группе. С помощью этих средств можно выразить, например, принадлежность к определенной возрастной группе, к тому или иному об­щественному классу, далее пол, степень образования, наконец, происхождение говорящего — и это именно потому, что все пе­речисленные признаки существенны для внутреннего членения языковой общности, для содержания и формы речи. Напротив, деление людей на толстых и тонких, простуженных и здоровых, флегматиков и сангвиников и т.д. было бы несущественным для жизни языковой общности, находящей свое выражение в различ­ных типах речи; поэтому такое деление не нуждается ни в каком условном языковом <...> обозначении; если подобного рода свойства говорящего и можно угадать по звуковой стороне его речи, то такая догадка является внеязыковым психологическим процессом. <...>

Само собой разумеется, что частности зависят от обществен­ной структуры данного народа и соответственно — данной языко­вой общности. В языковых общностях, слабо или вовсе не диффе­ренцированных в социальном отношении, исключительное зна­чение приобретают различия по полу и возрасту. В дархатском говоре монгольского языка все гласные среднего и заднего рядов в произ­ношении женщин слегка продвинуты вперед, так что мужскому *и, о, а* соответствует женское *и˙,* *о˙,* *а˙,* а мужскому *и˙,* *о˙,* *а˙,* *—* женское *ü, ö, ä,* помимо того, фрикативному *х* в мужском произношении соответствует взрывный *k* в женском произношении.\*

\* Г.Д. Санжеев, Дархатский говор и фольклор, Л., 1931. С. 17.

Богораз сообщает, что один из звуков языка чукчей (луоравет­ланов) на Камчатке произносится мужчинами как č' (палатализо­ванное č), а женщинами и детьми как *с* (= *ts).\** По свидетельству В. Иохельсона, в языке юкагиров (одулов) на северо-востоке Си­бири есть звуки, которые произносятся мужчинами как палаталь­ные взрывные *tj, dj,* детьми и женщинами как аффрикаты *с*, , a стариками как палатализованные č', ˇ'.\*\* Во всех этих случаях мы имеем дело с кочевниками, кочующими охотниками (или рыбо­ловами), у которых каждый пол (или половозрастной класс) об­разует замкнутую в себе общность, а какое-либо другое членение общества едва ли существует. Однако различия в произношении половозрастных групп обнаруживаются также и у народов с раз­витой общественной дифференциацией. Конечно, у таких наро­дов они, как правило, менее заметны. Так, например, в русском языке имеется общая тенденция усиливать лабиализацию ударного *о* в его начальной части и ослаблять ее к концу артикуляции; гласный *о*, таким образом, всегда звучит как своего рода дифтонг с убывающей лабиализацией. Но, тогда как различие между нача­лом и концом артикуляции *о* в нормальном мужском произноше­нии весьма ничтожно и даже едва заметно, в произношении жен­щин оно более значительно; некоторые женщины вместо *о* про­износят даже дифтонг  (что, конечно, расценивается уже как нечто вульгарное). Различие между мужским и женским произно­шением заключается здесь лишь в степени дифтонгизации; одна­ко если мужчина произнесет *о* с лабиализацией, характерной для нормального женского произношения, такое произношение сра­зу бросается в глаза как женственное и аффектированное. <...> При внимательном наблюдении подобного рода тонкие условные различия между мужским и женским произношением можно, пожалуй, обнаружить в любом языке; обстоятельное описание фонологической системы какого-либо языка должно постоянно с этим считаться. Что же касается условных различий в произноше­нии разных возрастных групп, то они также наблюдаются во мно­гих языках, их определенно отмечают многие исследователи. Нужно только быть осторожным и не смешивать условные различия с различиями, данными от природы. Когда дети заменяют тот или иной звук другим, поскольку правильное произношение его ус­ваивается лишь со временем, в этом нет еще ничего экспрессив­но-фонологического (как и во всех случаях патологических оши­бок речи). Но экспрессивно-фонологический факт налицо, когда ребенок, будучи в состоянии вполне точно воспроизвести про­изношение взрослых, намеренно не делает этого или когда молодой человек преднамеренно остерегается воспроизводить произношение пожилых людей <...>, с тем чтобы только не показаться старомодным или смешным. Иной раз речь идет об исключительно тонких оттенках, таких, например, как нюансы интонации и т.п.

\* Сборник «Языки и письменность народов Севера», III, Л., 1934. С. 13.

\*\* Там же, с. 158.

В социально дифференцированных обществах особенно замет­ны различия в произношении, основывающиеся на сословном, профессиональном или культурном членении общества. Такие раз­личия наблюдаются не только в языках Индии, где они закрепле­ны кастовым делением (в тамильском, например, один и тот же звук в зависимости от кастовой принадлежности говорящего про­износится то как č, то как *s),* но и в других частях света. Венский разговорный язык в устах министерского чиновника звучит иначе, чем в устах какого-нибудь продавца. В дореволюционной России представители духовенства, например, отличались спирантным произношением *g* (как γ), хотя все остальные звуки они произносили согласно правилам литературного языка; в литературном рус­ском языке существовало особое «дворянское» и «купеческое» про­изношение. Расхождения в произношении горожан и крестьян, образованных и необразованных встречаются, пожалуй, в любом языке. Часто встречается особое «светское» произношение: харак­теризуясь небрежной артикуляцией, оно свойственно всякого рода щеголям и пшютам.

В любом языке можно обнаружить также **локальные** различия в произношении. Иной раз по этим различиям люди на сельском рынке узнают, из какой деревни их собеседник. Что касается об­разованных людей, говорящих на нормализованном литературном языке, то столь точные сведения о месте их происхождения на основе одного их произношения вряд ли возможны, однако и тут в основном можно догадаться, из какой языковой области такой человек происходит.

Условные звуковые экспрессивные средства часто свидетель­ствуют не о том, кем является на самом деле говорящий, а только о том, кем он хочет казаться в данный момент. У многих народов произношение, которое они употребляют в публичных выступле­ниях, отличается от произношения, которое имеет место в их обычном разговоре. Существуют особые признаки, отличающие слащаво-ханжеское и заискивающее произношение. Точно так же рядом звуковых условностей характеризуется и аффектированно-наивный щебет известного рода дам и т.п. Все фонологически-экспрессивные средства, которые служат для характеристики оп­ределенной языковой группы внутри какой-либо языковой общ­ности, образуют систему; совокупность этих средств может быть определена как экспрессивный стиль данной языковой группы. Говорящий не обязан употреблять всегда один и тот же экспрес­сивный стиль; он может пользоваться то одним, то другим стилем в зависимости от содержания беседы или характера собеседника; короче говоря, он сообразуется с обычаями, господствующими в той языковой общности, к которой он принадлежит.

Особым видом фонологических экспрессивных средств явля­ются «допускаемые звуковые суррогаты». В любом языке наряду с обычными звуками, употребляемыми всеми, то есть «средними говорящими», имеются единичные звуки, употребляемые лишь небольшим числом говорящих в качестве заменителей тех нор­мальных звуков, к которым они не чувствуют расположения. «Не­расположение» это основано либо на весьма распространенных ошибках произношения, либо на своего рода моде и т.п. «Звук-суррогат» может отличаться от «нормального звука» в разной сте­пени: иногда (например, в случае употребления различных сурро­гатов звука *r* во многих европейских языках) он сразу улавливает­ся любым наблюдателем, иной раз, однако, для восприятия этого различия нужно иметь хорошо натренированное ухо. Существен­но, что суррогаты **допускаются** языковой общностью и не подвер­гаются вытеснению, продолжая существовать наряду с нормаль­ными звуками. Поскольку отдельные лица усваивают такие сурро­гаты и употребляют их постоянно или почти постоянно в своем разговоре, суррогаты становятся средствами экспрессивной харак­теристики этих лиц.

Помимо чисто экспрессивных средств, есть еще и такие, кото­рые выполняют одновременно и специальную экспликативную функцию. Довольно часто произношение какой-либо группы гово­рящих отличается от обычного либо тем, что пренебрегает смыс-лоразличительными (а стало быть, существенными в экспликативном плане) противоположениями звуков, либо тем, что обна­руживает эти противоположения там, где они не известны произношению других групп. Вспомним, например, неразличение глухих и звонких, характерное для некоторых частей немецкой языковой области и проникающее даже в литературный язык; вспомним также столь типичное для марсельского произношения совпадение š и *s,* ž и *z* или различение безударных *а* и *о*, столь характерное для старшего поколения духовенства в дореволюци­онной России (такое произношение особенно резало ухо в цент­ральных и южных областях Великороссии, где безударные а и о уже не различались у представителей других слоев населения) и т.д. С точки зрения экспликативной функции мы имеем тут различные диалектные фонологические (или фонетические) системы, а с точки зрения экспрессивной функции — различные экспрессив­ные формы одной и той же системы. Случаи этого рода необходи­мо строго отличать от других, где характеристика отдельных соци­альных или локальных групп проявляется в произношении одной и той же фонемы, а не в числе различаемых фонем.

От фонологически-экспрессивных средств необходимо отли­чать фонологически-**апеллятивные**, или **воздействующие,** средства. Апеллятивные средства служат для того, чтобы вызвать, «возбу­дить» в собеседнике известные чувства. Часто, однако, самим го­ворящим эти чувства по-настоящему не переживаются, он стре­мится лишь к тому, чтобы ими был заражен собеседник. Пережи­вает ли сам говорящий эти чувства или только симулирует переживание, не имеет в данном случае никакого значения. Наме­рение говорящего состоит не в том, чтобы выразить свои собствен­ные чувства, а в том, чтобы возбудить какие-то чувства у собесед­ника.

Фонологически-апеллятивные средства в свою очередь необхо­димо строго отличать от естественных выражений чувства, даже если эти последние воспроизводятся искусственно. Если говорящий заи­кается от (мнимого или действительного) страха или волнения или если его речь прерывается рыданиями, то это не имеет никакого отношения к фонологии, ибо дело здесь идет о симптомах, которые обнаруживаются даже при внеязыковом выражении. Наоборот, та­кие явления, как сверхдолготы согласного и гласного в восторжен­но произносимом немецком *schschöön!,* представляют собой факт языка: во-первых, они обнаруживаются только в языке, не имея внеязыкового выражения, во-вторых, они наделены определенной функцией, в-третьих, они условны, как и все прочие наделенные функцией языковые средства. Следовательно, они принадлежат апеллятивной фонологии (поскольку дело в этом случае заключается в том, чтобы вызвать определенные чувства у слушателя).

При современном состоянии знаний трудно сказать, какими методами должна руководствоваться «апеллятивная фонология». Те­оретически для каждого языка следовало бы установить полный пе­речень всех фонологически-апеллятивных средств, иными словами, всех условных средств, с помощью которых возбуждаются извест­ные чувства и эмоции. Однако не всегда ясно, что следует рассмат­ривать в качестве отдельного апеллятивного средства и как эти апел-лятивные средства должны быть отграничены друг от друга.

Особенно трудным и тонким оказывается в этом случае раз­граничение языка и речи. Выше мы упомянули о сверхдолготе удар­ного гласного и непосредственно предшествующего ему соглас­ного в немецком языке. Как пример было приведено нем. *schschöön!* в восторженном произношении. Однако то же самое средство может быть с успехом использовано и для выражения других эмоций: *schschöön!* можно произнести не только в востор­женном состоянии, но и иронически; *schschaamlos!* можно про­изнести негодующе, *lliieber Freund!—* восторженно, иронически, с возмущением, убежденно, с грустью, с сожалением и т.д.— каждый раз с иной интонацией. Спрашивается, как же следует понимать эти различные оттенки интонации? Относятся ли все они к апеллятивной фонологии и вообще к языку? Или же они принадлежат только речи? Действительно ли они условны? Эмо­ционально окрашенные интонации встречаются довольно часто и во внеязыковых выражениях (при неопределенных, неартикули­руемых восклицаниях), причем конкретные эмоции, которые они должны вызывать, можно опознать с достаточной точностью. Оче­видно, внеязыковые интонации, вызывающие эмоции, имеют ту же структуру тона и интенсивности, что и слова, окрашенные теми же эмоциями (впрочем, все это еще ни разу не подвергалось обстоятельному исследованию). Можно также твердо установить, что многие из интонаций, вызывающих эмоции, имеют одно и то же значение в самых разных и притом далеко отстоящих друг от друга языках мира.\* Напротив, сверхдолгота ударного глас­ного и предшествующего согласного предполагает наличие глас­ных и согласных, а также ударных и неударных слогов; следова­тельно, по самому своему существу она связана исключительно с языковыми выражениями и действительна лишь для определен­ных языков.

\* Европейцы, например, понимают эмоции, которые хочет выразить хоро­ший японский актер, даже тогда, когда они не понимают ни слова из того, что он говорит; и это не только благодаря мимике, но отчасти также и благодаря интона­ции.

Вероятно, так обстоит дело с большинством фонологических апеллятивных средств: сами по себе эти средства не имеют пря­мого отношения к возбуждению какой-то определенной эмоции; они содействуют появлению множества самых различных эмоций; выбор же эмоций зависит от ситуации, в которой развертывается речь, а само возбуждение эмоций достигается необозримым мно­гообразием звуковых жестов, лишенных условного характера. За­дача апеллятивной фонологии состоит не в собирании, описании и систематизации этих эмоциональных звуковых жестов и не в приурочении их к определенным конкретным эмоциям, а в опре­делении тех условных признаков, которые, за вычетом названных выше звуковых жестов, способствуют различению эмоционально окрашенной речи от эмоционально нейтральной, спокойной речи. Так, например, можно сказать, что сверхдолгота ударного долго­го гласного и предударного согласного в немецком, удлинение согласных в начале слова и гласных в конце предложения в чешс­ком, удлинение краткого гласного (при сохранении специфичес­кого открытого, ненапряженного качества этого гласного) в вен­герском, удлинение первых согласных слова (accent d'insistance) во французском и т.д. являются знаками эмоциональной речи, то есть фонологическими апеллятивными средствами. И действитель­но, все названные особенности появляются в указанных языках лишь в случае необходимости вызвать какую-либо эмоцию и не­допустимы в спокойной, эмоционально нейтральной речи. Кроме того, они явно условны в противоположность, например, инто­нации ужаса, которая является, если можно так выразиться, це­ликом интернациональной, хотя в каждом отдельном языке она может употребляться лишь в таких словах, которые уже наделены условными апеллятивными средствами (например, удлинение предударного согласного в немецком языке). <...>

Отличить апеллятивные средства от экспрессивных не всегда легко. Иной раз экспрессивные стили отличаются усилением апеллятивной функции; иногда они отличаются ослаблением ее: сте­пень апеллятивности сама становится, таким образом, своего рода экспрессивным средством. Сравните, например, преувеличенно эмоционально окрашенную речь жеманницы и торжественно апа­тичную речь пожилого вельможи. Конечно, эти два экспрессивных стиля имеют свои специфические приметы, лежащие целиком в сфере экспрессивной фонологии. К этим приметам присоединяет­ся, однако, и способ использования апеллятивных средств. Задача исследователя в дальнейшем будет состоять, очевидно, в тщатель­ном разграничении экспрессивной и апеллятивной функций в раз­личных речевых стилях. В настоящее время это еще невозможно. Пока что следует собирать материал по возможности из самых раз­личных языков.

Таким образом, мы настаиваем на строгом разграничении экс­прессивных и апеллятивных средств. <...>

Соответственно этому, как уже сказано, следовало бы выде­лить две особые отрасли фонологии, одна из которых имела бы своим предметом экспрессивные, а другая — апеллятивные сред­ства; в качестве третьей сюда присоединилась бы та часть фоноло­гии, которая имеет дело с экспликативными средствами языка. <...> Однако если мы сравним между собою эти три части, то нас прежде всего поразит их несоразмерность. «Экспликативная фоно­логия», очевидно, охватила бы огромную область, тогда как на долю двух других отраслей фонологии достались бы небольшие группы фактов. Кроме того, экспрессивная и апеллятивная фоно­логии должны были бы обладать некоторыми общими чертами, отличающими эти области от «экспликативной фонологии». Про­блема разграничения условного и данного от природы возникает, собственно говоря, лишь в отношении экспрессивной и апелля­тивной фонологий и не имеет никакого значения для эксплика­тивной фонологии. В качестве экспликативных средств, лишенных условного характера, можно было бы рассматривать разве только прямые звукоподражания (ведь они не состоят из нормальных зву­ков). Однако такие звукоподражания (поскольку они действитель­но даны от природы и лишены условного характера) вообще вы­ходят за рамки языка. Когда кто-либо, рассказывая о том, что с ним произошло на охоте, чтобы оживить свой рассказ, подражает крику зверя или иным естественным шумам, то в этом месте он должен **прервать** свою речь: и это потому, что звук, служащий предметом подражания, как раз и является инородным телом, лежащим вне пределов нормальной экспликативной человеческой речи. <...> Совершенно иначе обстоит дело в сфере экспрессивно­го и апеллятивного. Условное и данное от природы переплетены здесь между собой: существенное для апеллятивной функции ус­ловное удлинение согласных или гласных выступает только в свя­зи с определенной эмоциональной интонацией, которая вполне естественна, а не условна; особое произношение известных зву­ков, в отдельных языках условно предписываемое женщинам, вы­ступает, как правило, в связи с женским голосом, который фи­зиологически обусловлен. Можно, пожалуй, сказать, что число условных экспрессивных и апеллятивных средств всегда меньше числа этих же средств, лишенных условного характера. Если, та­ким образом, на долю «экспликативной фонологии» приходится вся совокупность звуковых средств языка, существенных в плане экспликативной функции, то двум другим отраслям фонологии, очевидно, придется иметь дело лишь с немногочисленными экс­прессивными и апеллятивными средствами. В таком случае можно спросить: стоит ли в самом деле рассматривать три вышеупомяну­тые отрасли фонологии как равноправные и равноценные и целе­сообразно ли отрывать условные экспрессивные и апеллятивные средства от тех же средств, имеющих естественный характер, и включать их в сферу фонологии?

Все трудности, видимо, проще всего устранить, предоставив исследование экспрессивных и апеллятивных средств звука особой науке — **звуковой стилистике;** эту науку можно было бы разделить, с одной стороны, на экспрессивную и апеллятивную и, с другой стороны, на фонетическую и фонологическую. При фонологичес­ком описании любого языка следует привлекать и фонологичес­кую стилистику (в двух ее аспектах — экспрессивном и апеллятивном); однако подлинной целью такого описания все же должно быть фонологическое исследование «экспликативного плана» язы­ка. Отсюда вытекает, что фонологию не следует делить на экспрес­сивную, апеллятивную и экспликативную. Термин «фонология» надо сохранять в ограниченном употреблении, применяя его к исследованиям звуковой стороны языка, существенной в плане экспликативном. Что же касается исследования сторон звука, су­щественных в плане экспрессивном и апеллятивном, то оно оста­ется за «фонологической стилистикой», которая является в свою очередь лишь частью «звуковой стилистики».

ФОНОЛОГИЯ

*Предварительные замечания*

Выше мы говорили, что при восприятии речи отдельные при­знаки воспринимаемых звуков как бы проецируются на три раз­ные плоскости: плоскость выражения, плоскость обращения и плос­кость сообщения, при этом слушатель может концентрировать свое внимание на любой из этих плоскостей, отвлекаясь одновременно от двух остальных. Следовательно, качества звука, воспринимае­мые в плане экспликативном, могут восприниматься и рассматри­ваться совершенно независимо от тех качеств, которые лежат в плане экспрессивном и в плане апеллятивном. Не следует, одна­ко, полагать, что все признаки звука, лежащие в плане эксплика­тивном, выполняют одну и ту же функцию. Все они, конечно, служат для выражения интеллектуального смысла, заключенного в том или ином предложении (иными словами, все они причастны к языковым ценностям, наделенным определенным значени­ем). Тем не менее в этой области явно обнаруживаются три различ­ные функции. Одни признаки звука выполняют **вершинообразующую,** или **кульминативную,** функцию: они указывают, какое количество «единиц» (= слов, словосочетаний) содержится в дан­ном предложении, сюда относится, например, главное ударение в словах немецкого языка. Другие признаки звука выполняют **раз­граничительную,** или **делимитативную,** функцию: они указывают границу между двумя единицами (устойчивыми словосочетания­ми, словами, морфемами); сюда относится, например, сильный приступ в начальном гласном в немецком языке. Наконец, третьи признаки звука выполняют **смыслоразличительную,** или **дистинктивную,** функцию, способствуя различению значащих единиц, ср., например, нем. *List* «хитрость» — *Mist* «навоз» — *Mast* «мачта» — *Macht* «сила» и т.д. Любая единица языка должна содержать звуко­вые признаки со смыслоразличительной функцией, иначе ее нельзя будет отличить от других единиц языка. Различение языковых еди­ниц осуществляется исключительно с помощью таких звуковых признаков, наделенных смыслоразличительной (дистинктивной) функцией. Напротив, признаки звука, наделенные кульминативной и делимитативной функциями, не являются абсолютно необ­ходимыми для языковых единиц Существуют предложения, в ко­торых разграничение отдельных слов вообще не обозначено ника­кими особыми признаками звука и многие слова употребляются в составе целого, не имея специальных кульминативных образова­ний. В любом предложении всегда возможна пауза между словами, так что признаки звука с делимитативной и кульминативной функ­циями служат своего рода суррогатом, заменителями этих пауз. Следовательно, обе эти функции во всех случаях остаются всего лишь удобным вспомогательным средством, тогда как смыслораз-личительная функция не просто удобна, но абсолютно необходи­ма и неизбежна для понимания. Таким образом, среди трех функ­ций, которые можно выделить внутри экспликативного аспекта языка, смыслоразличительная функция является самой важной. <. >

Учение о смыслоразличении

**(Дистинктивная, или смыслоразличительная, функция звука)**

I. Основные понятия

*1. Фонологическая (смыслоразличительная) оппозиция*

Понятие различия предполагает понятие **противоположения,** или **оппозиции.** Две вещи могут отличаться друг от друга лишь постоль­ку, поскольку они противопоставлены друг другу, иными слова­ми, лишь постольку, поскольку межцу ними существует отноше­ние противоположения, или оппозиции. Следовательно, признак звука может приобрести смыслоразличительную функцию, если он противопоставлен другому признаку, иными словами, если он является членом звуковой оппозиции (звукового противоположе­ния). Звуковые противоположения, которые могут дифференци­ровать значения двух слов данного языка, мы называем **фонологи­ческими** (или **фонологически-дистинктивными,** или **смыслоразличительными) оппозициями.** <...> Наоборот, такие звуковые противоположения, которые не обладают этой способностью, мы определяем как **фонологически несущественные,** или **несмыслоразличительные.** Противоположение *o—i* в немецком языке является смыслоразличительным (фонологическим); ср. *so* «так» — *sie* «они», *Rose* «роза» — *Riese* «великан»; но противоположение переднея­зычного *r* увулярному *r* не является смыслоразличительным, по­скольку в немецком нет ни одной пары слов, которая различалась бы этими звуками.

Звуки могут быть **взаимозаменимыми** и **взаимоисключающими.** Взаимозаменимыми называются такие звуки, которые в данном языке могут находиться в одинаковом звуковом окружении (на­пример, *о* и *i* в приведенных выше немецких примерах); наоборот, взаимоисключающие в данном языке звуки никогда не встречают­ся в одном и том же звуковом окружении; в немецком это будут так называемые «*ich*-Laut» и «*ach*-Laut»: последний встречается толь­ко после *и, о, а, аи,* тогда как первый — во всех прочих положе­ниях, но только не после *и, о, а, аи.* Из сказанного следует, что взаимоисключающие звуки, как правило, не могут образовывать каких бы то ни было фонологических (смыслоразличительных) оппозиций: никогда не встречаясь в одном и том же звуковом ок­ружении, они не могут выступать в качестве единственного разли­чительного элемента двух слов. Немецкие слова *dich* «тебя» и *doch* «однако» отличаются друг от друга не только двумя разными *ch,* но и гласными; но, тогда как различие между *i* и *о* выступает в качестве самостоятельного и единственного дифференцирующего фактора во многих других парах слов немецкого языка (например, *stillen* «останавливать, унимать» — *Stollen* «штольня»; *riβ* «порвал» — *Roβ* «конь»; *Mitte* «середина» — *Motte* «моль»; *bin* «есмь» — *Bonn* «Бонн»; *Hirt* «пастух» — *Hort* «клад, сокровище» и т.д.), противо­положение «*ich*-Laut» — «*ach*-Laut» всегда сопровождается проти­воположением предшествующих гласных и, таким образом, не может различать два слова в качестве **единственного** дифференци­рующего средства. Так обстоит дело со всеми оппозициями взаи­моисключающих звуков. <...>

Что касается взаимозаменимых звуков, то они могут образовы­вать как смыслоразличительные, так и несмыслоразличительные оппозиции. Все зависит исключительно от функции, которую та­кие звуки выполняют в данном языке. Например, в немецком язы­ке относительная высота тона гласных в слове несущественна для его значения (то есть для его экспликативной функции). Различия между гласными по высоте тона в лучшем случае могут быть ис­пользованы как апеллятивное средство. Значение двусложного слова остается при всех обстоятельствах неизменным независимо от того, будет ли гласный второго слога выше или ниже гласного первого слога, будут ли оба слога произноситься с одинаковой высотой тона или нет. Если рассматривать низкое и высокое *и* как два раз­ных звука, то можно обнаружить, что в немецком языке эти два звука взаимозаменимы, но смыслоразличительной оппозиции не образуют. С другой стороны, звуки *r* и *l* в немецком тоже взаимо­заменимы, но они являются вместе с тем и членами смыслоразли­чительной оппозиции; ср., например, такие пары слов, как *Rand* «край» — *Land* «страна»; *führen* «вести» *—fühlen* «щупать»; *scharren* «копать, рыть» — *schallen* «звучать»; *wirst* «становишься» — *willst* «хочешь» и т.д., значения которых различаются лишь благодаря противоположению *r*—*l*. В противоположность этому *r* и *l* в японс­ком языке взаимозаменимы, но неспособны быть членами смыс­лоразличительной оппозиции: в любом слове звук *r* можно заме­нить звуком *l*, и наоборот; значение слова от этого никак не изме­нится. Однако относительная высота тона в слоге фонологически существенна для японского языка. Высокое и низкое *и* здесь не только взаимозаменимы, но и являются членами смыслоразличи­тельной оппозиции, благодаря чему, например, *цуру* может иметь три разных значения в зависимости от относительной высоты тона обоих *и: цуру* означает «тетива», если первое *и* выше второго; оно означает «журавль», если первое *и* ниже второго; оно означает, наконец, «удить», если оба *и* одинаковы по высоте тона. Таким образом, можно различать два рода взаимозаменимых звуков: зву­ки, которые в данном языке образуют смыслоразличительные оп­позиции, и звуки, которые образуют лишь несмыслоразличитель­ные оппозиции. <...>

2. *Фонологическая (смыслоразличителъная) единица.*

*Фонема. Вариант*

Итак, под фонологической оппозицией (прямой или косвен­ной) мы понимаем такое противоположение звуков, которое в данном языке может дифференцировать интеллектуальные значе­ния. Каждый член такой оппозиции мы называем **фонологической** (или **смыслоразличительной) единицей.** Из этого определения сле­дует, что фонологические единицы могут быть весьма различны­ми по объему. Такие слова, как *bahne* «прокладываю (путь)» и *bаппе* «изгоняю», отличаются друг от друга только типом усечения слога (а в связи с этим также количеством гласного и согласного); в такой паре, как *tausend* «тысяча» — *Tischler* «столяр», различие в звуках распространяется на все слово, за исключением анлаута; наконец, в такой паре слов, как *Мапп* «мужчина» — *Weib* «жен­щина», оба слова от начала до конца различны в звуковом отно­шении. Таким образом, фонологические единицы могут быть бо­лее крупными и менее крупными, и их можно классифицировать по их относительной величине.

Существуют фонологические единицы, которые можно разло­жить на ряд следующих друг за другом во времени более мелких фонологических единиц. К такому типу единиц принадлежат [mε:] и [by:] в немецких словах *Mähne* «грива» — *Bühne* «сцена». Из противоположений *Mähne* «грива» — *gähne* «зеваю» и *Mähne* «грива» — *mahne* «увещеваю, предупреждаю» следует, что [mε:] распадается на [m] и [ε:], а из противоположения *Bühne* «сцена» — *Sühne* «по­каяние» и *Bühne* «сцена» — *Bohne* «боб» вытекает, что [bу:] распа­дается на [b] и [у:]. Но такие фонологические единицы, как *т, b, ε:*, *у:,* уже нельзя себе представить в виде ряда следующих друг за другом еще более кратких фонологических единиц. С фонетической точки зрения каждое *b,* конечно, состоит из целого ряда движе­ний органов речи: сперва сближаются губы, затем они смыкаются друг с другом настолько, что полость рта полностью изолируется от внешней среды; одновременно поднимается нёбная занавеска и упирается в заднюю стенку зева, закрывая таким образом ход из глотки в полость носа; вместе с этим начинают колебаться голосо­вые связки; поступающий из легких воздух проникает в полость рта и скопляется за сомкнутыми губами; наконец, под напором воздуха губы размыкаются. Каждому из этих следующих друг за другом движений соответствует определенный акустический эф­фект. Но ни один из этих «акустических атомов» нельзя рассматри­вать в качестве фонологической единицы, поскольку такие «атомы» всегда выступают вместе, а не раздельно: за губной «имплози­ей» всегда следует «эксплозия», которая в свою очередь начинается «имплозией»; *Blählaut* («звонкий пазвук, гул») с лабиальной ок­раской, который звучит между имплозией и эксплозией, не мо­жет появиться без лабиальной имплозии и эксплозии. Следова­тельно, *b* в целом является фонологической, неразложимой во времени единицей. То же самое можно сказать и о других упомяну­тых выше единицах Долгое [у:] нельзя представлять себе как ряд кратких [у]. Конечно, с фонетической точки зрения это [у:] пред­ставляет собой некоторый промежуток времени, заполненный ар­тикуляцией [у]. Однако если попытаться заполнить часть этого от­резка времени другой вокалической артикуляцией, то мы не полу­чим другого немецкого слова *(Baüne, Büane, Biüne, Buüne* и др. в немецком языке невозможны). Именно с точки зрения немецкой фонологической системы долгое [у:] неразложимо во времени.

Фонологические единицы, которые с точки зрения данного языка невозможно разложить на более краткие следующие друг за другом фонологические единицы, мы называем **фонемами.** <...> Следовательно, фонема является кратчайшей фонологической еди­ницей языка. Каждое слово языка в плане обозначающего можно разложить на фонемы, представить как определенный ряд фонем.

Само собой разумеется, что не следует слишком упрощать факты. Не будем представлять себе фонемы теми кирпичиками, из кото­рых складываются отдельные слова. Дело обстоит как раз наобо­рот: любое слово представляет собой целостность, **структуру;** оно и воспринимается слушателями как структура, подобно тому как мы узнаем, например, на улице знакомых по их общему облику. Опознавание структур предполагает, однако, их различие, а это возможно лишь в том случае, если отдельные структуры отлича­ются друг от друга известными признаками. Фонемы как раз и являются **различительными признаками** словесных структур. Каж­дое слово должно содержать столько фонем и в такой последова­тельности, чтобы можно было отличить его от других слов. Ряд фонем, составляющий целое, присущ лишь данному единичному слову, но каждая отдельная фонема этого ряда встречается в каче­стве различительного признака также и в других словах. Ведь в любом языке число фонем, употребляемых в качестве различительных признаков, гораздо меньше числа слов, так что отдельные слова представляют собой лишь комбинацию фонем, которые встреча­ются и в других словах. Это нисколько не противоречит структур­ному характеру слова. Каждое слово как структура всегда представ­ляет собой нечто большее, нежели только сумму его членов (= фонем), а именно такую целостность (Ganzheitsgrundsatz), ко­торая спаивает фонемный ряд и дает слову индивидуальность. Но в противоположность отдельным фонемам эта целостность не мо­жет быть локализована в звуковой оболочке слова. Поэтому можно сказать, что каждое слово **без остатка разлагается** на фонемы, что оно **состоит** из фонем точно так же, как мы, например, говорим, что мелодия, написанная в мажорной тональности, состоит из тонов этой гаммы (хотя любая мелодия, кроме тонов, явно содер­жит еще нечто такое, что делает ее определенной индивидуальной музыкальной структурой). <...>

Одно и то же звуковое образование (Lautgebilde) может быть одновременно членом как фонологических (смыслоразличитель-ных), так и несмыслоразличительных оппозиций. Так, например, оппозиция «*асh*-Laut» — «*ich*-Laut» является несмыслоразличитель-ной, а оппозиция каждого из этих звуков по отношению к звуку *k —* смыслоразличительной (ср. *stechen* «колоть, резать» — *stecken* «совать»; *roch* «нюхал» — *Rock* «пиджак»). Это возможно лишь по­тому, что каждый звук содержит ряд акустико-артикуляторных признаков, отличаясь от любого другого звука не всеми этими признаками, а лишь некоторыми из них. Так, например, *k* отлича­ется от *ch* тем, что при произнесении первого образуется полная смычка, а при произнесении второго — лишь сужение между спин­кой языка и нёбом; наоборот, различие между «*ich*-Laut» и *«ach-*Laut» состоит в том, что в первом случае щель образуется в области твердого нёба, а во втором — в области мягкого нёба. Если оппозиция *ch—k* имеет смыслоразличительный характер, а оппо­зиция *«ich-Laut» —* «*ach*-Laut» — несмыслоразличительный, то это доказывает, что в данном случае образование щели между спинкой языка и нёбом **фонологически существенно,** а локализация этой щели в той или иной части нёба **фонологически несуществен­на.** Звуки участвуют в фонологических (смыслоразличительных) оппозициях лишь благодаря своим фонологически существенным признакам. И так как каждая фонема обязательно является чле­ном фонологической оппозиции, то она совпадает не с конкрет­ным звуком, а только с его фонологически существенными при­знаками.

Можно сказать, что **фонема — это совокупность фонологически существенных признаков, свойственных данному звуковому образо­ванию. <...>**

Любой произносимый и воспринимаемый в акте речи звук со­держит, помимо фонологически существенных, еще и много дру­гих фонологически несущественных признаков. Следовательно, ни один звук не может рассматриваться просто как фонема. Посколь­ку каждый такой звук содержит, кроме прочих признаков, также и фонологически существенные признаки определенной фонемы, его можно рассматривать как **реализацию** этой фонемы. Фонемы реализуются в звуках речи, из которых состоит любой речевой акт. Звуки никогда не являются самими фонемами, поскольку фонема не может содержать ни одной фонологически несущественной чер­ты, что для звука речи фактически неизбежно. Конкретные звуки, слышимые в речи, являются скорее лишь материальными симво­лами фонем.

Непрерывный звуковой поток в речи реализует или символи­зирует определенный фонемный ряд. В определенных точках тако­го потока можно опознать фонологически существенные призна­ки звука, характерные для отдельных фонем соответствующего фонемного ряда. Каждую такую точку можно рассматривать как реализацию определенной фонемы. Но, помимо фонологически существенных звуковых признаков, в той же самой точке звуко­вого потока обнаруживаются еще многие другие, фонологически несущественные звуковые признаки. Совокупность всех, как фо­нологически существенных, так и несущественных, признаков, которые обнаруживаются в той точке звукового потока, где реа­лизуется фонема, мы называем **звуком языка** (и соответственно **звуком речи).** Каждый звук содержит, таким образом, с одной сто­роны, фонологически существенные признаки, благодаря кото­рым он становится реализацией определенной фонемы, и, с дру­гой стороны, целый ряд фонологически несущественных призна­ков, выбор и появление которых обусловлены рядом причин.

Отсюда явствует, что фонема может реализоваться в ряде раз­личных звуков. Для немецкого *g,* например, фонологически суще­ственны следующие признаки: полная смычка спинки языка с нё­бом при поднятой нёбной занавеске, расслабление мускулатуры языка и размыкание смычки без воздушного потока. Однако место, где должна образовываться смычка языка с нёбом, работа губ и голосо­вых связок во время смычки фонологически несущественны. Таким образом, в немецком языке существует целый ряд звуков, которые считаются реализацией одной фонемы *g:* есть звонкое, полузвонкое и абсолютно глухое *g* (даже в тех говорах, где слабые, как правило, звонки), лабиализованное велярное *g* (например, *gut* «хороший», *Glut* «жар, зной»), узко лабиализованное палатальное *g* (например, *Güte* «качество», *Glück* «счастье»), нелабиализованное веляр­ное *g* (например, *ganz* «целый», *Wage* «весы», *tragen* «носить»), нелабиализованное сильно палатальное *g* (например, *Gift «яд», Gier* «жадность»), умеренно палатальное *g* (например, *gelb* «желтый», *liege* «лежу») и т.д. Все эти различные звуки, в которых реализуется одна и та же фонема, мы называем **вариантами** (или фонетически­ми вариантами) одной фонемы. <...>

II. Правила выделения фонем

*1. Различение фонем и вариантов*

Дав в предыдущем разделе определение фонемы, мы должны теперь указать те практические правила, с помощью которых можно отличить фонему от фонетических вариантов, с одной стороны, и от сочетания фонем — с другой.

При каких условиях два звука следует рассматривать как реали­зацию двух разных фонем, а при каких условиях их нужно рассмат­ривать как два фонетических варианта одной фонемы? Здесь мож­но предложить следующие четыре правила.

***Правило первое.*** Если в том или ином языке два звука встреча­ются в одной и той же позиции и могут замещать друг друга, не меняя при этом значения слова, то такие звуки являются факуль­тативными вариантами одной фонемы.

Здесь могут быть разные случаи. По своему отношению к язы­ковой норме факультативные варианты распадаются на **общезна­чимые и индивидуальные.** К общезначимым относятся варианты, которые не считаются ошибками или отклонениями от нормы и поэтому в равной мере могут быть употреблены. Так, например, удлинение согласного перед ударными гласными в немецком язы­ке не воспринимается как ошибка: любой немец может произнес­ти одно и то же слово то с кратким, то с долгим начальным *s* или *sch;* как правило, такое различие в произношении используется для эмоциональных нюансов речи *(ssoo? schschön!* сев.-нем. *jja!).* Наоборот, индивидуальные варианты распределены между различ­ными членами одной и той же языковой общности, причем лишь некоторая часть этих вариантов квалифицируется как «нормаль­ное», «хорошее», «образцовое» произношение; прочие же счита­ются местными, социальными, патологическими и иного рода отклонениями от нормы. Так обстоит дело с переднеязычным и увулярным *г* в различных европейских языках, причем трактовка этих звуков различается от языка к языку. В славянских языках, а также в итальянском, испанском, венгерском, новогреческом нор­мой является переднеязычное *r*, увулярное же *r* расценивается либо как дефект произношения, либо как признак снобистской манер­ности, реже (например, в словенском, где это *r* является господ­ствующим в некоторых каринтийских говорах) — как диалектная особенность. Наоборот, в немецком и французском увулярное *r* (точнее, разновидности увулярного *r*) считается нормой, а перед­неязычное *r —* либо диалектным отклонением от нормы, либо признаком архаизированной речи (например, *r* французских актеров). Во всех этих далеко не редких случаях само распределение вариантов является «нормой». Довольно часто бывает так, что об­щезначимыми оказываются оба варианта фонемы, но частота их употребления колеблется от индивидуума к индивидууму: фонема *А* реализуется всеми то как α*', то* как α*",* но один предпочитает α', другой — α". Таким образом, между «общезначимыми» и «ин­дивидуальными» вариантами имеется ряд постепенных переходов.

С функциональной точки зрения факультативные варианты распадаются на **стилистически существенные** и **стилистически не­существенные.** Стилистически существенные варианты выражают различия между такими языковыми стилями, как взволнованно-эмоциональный, небрежно-фамильярный и т.п. В такой именно функ­ции немецкий язык использует удлинение предударных согласных, сверхнормальное удлинение долгих гласных, спирантизованное про­изношение интервокального *b* (например, в слове *aber* в небреж­ной, фамильярной, усталой речи). С помощью стилистических вари­антов могут обозначаться не только эмоциональные, но и социальные стили речи; так, например, в одном и том же языке могут сосуще­ствовать вульгарный, благородный и стилистически нейтральный ва­рианты одной и той же фонемы, по которым распознается степень образования или социальная принадлежность говорящего. Таким образом, сами стилистические варианты могут быть подразделены на эмоциональные, или патогномические, и физиогномические. Для стилистически несущественных факультативных вариантов все эти аспекты не имеют никакого значения. Стилистически несуществен­ные факультативные варианты вообще не несут никакой функ­ции, они замещают друг друга совершенно произвольно, не изме­няя при этом экспрессивной или апеллятивной функции речи. Так, например, в кабардинском языке палатальные (среднеязычные) смычные произносятся то как *к*-образные, то как *ч*-образные зву­ки: один и тот же кабардинец произносит *gane* «рубашка» то как *ĝane,* то как ˇ'ane, не замечая этого и не используя указанные варианты для стилистической или эмоциональной нюансировки речи. <...>

Распознание и систематизация стилистических вариантов яв­ляется задачей стилистики звуков. С точки зрения фонологии, в узком смысле этого слова (то есть с точки зрения экспликативной фонологии), все стилистически существенные и стилистически несущественные факультативные варианты можно объединить под общим понятием «факультативных вариантов». При этом не сле­дует забывать, что с точки зрения экспликативной фонологии «вариант» является чисто отрицательным понятием: два звука от­носятся друг к другу как варианты, если они не могут диффе­ренцировать интеллектуальных значений. Судить же о том, вы­полняет ли противоположение таких двух звуков какую-либо иную функцию (экспрессивную или апеллятивную), должна не фонология в строгом смысле этого слова, а стилистика звуков. Все факультативные варианты обязаны своим существованием тому обстоятельству, что только часть артикуляторных признаков лю­бого звука обладает фонологически различительными свойствами. Прочие артикуляторные признаки звука в этом отношении «сво­бодны»: они могут **варьировать** от случая к случаю. А используется ли это варьирование в выразительных целях или нет — для эксп­ликативной фонологии (в частности, для фонологии слова) без­различно.

***Правило второе.*** Если два звука встречаются в одной и той же позиции и не могут при этом заменить друг друга без того, чтобы не изменить значения слова или не исказить его до неузнаваемос­ти, то эти звуки являются фонетическими реализациями двух раз­ных фонем.

Такое отношение наблюдается, например, между немецкими звуками *i* и *а*: замена *i* звуком *а* в слове *Lippe* «губа» влечет за собой изменение смысла *(Lappe* «тряпка»); подобная же замена в слове *Fisch* «рыба» искажает его до неузнаваемости *(Fasch).* В русском языке звуки *ä* и *ö* встречаются только между двумя палатализован­ными согласными. Так как замена одного звука другим либо меня­ет смысл (t'ät' «тятя» — t'öt' «тётя»), либо изменяет слово до неузнаваемости (ĭd'öt'ĭ «идете» — ĭd'ät'ĭ??, p'ät' «пять» — p'öt'??), то эти звуки определяются как реализация разных фонем.

Степень «искажения до неузнаваемости» может быть весьма различной. Так, например, взаимная замена звуков *f* и *рf* в начале немецких слов в большинстве случаев не так искажает слово, как взаимная замена звуков *а* и *i.* На значительной территории Герма­нии говорящие на литературном немецком языке систематически заменяют начальное *pf* звуком *f*; тем не менее немцы без труда понимают слова, в которых имеют место такие замены. Впрочем, наличие таких противопоставленных друг другу слов, как *Pfeil* «стре­ла» — *fiel* «продажный», *Pfand* «залог» — *fand* «нашел», *Pfad* «тропа» — *fad* «безвкусный» *(hüpfte* «прыгал» — *Hüfte* «бедро», *Hopfen* «хмель» — *hoffen* «надеяться»), свидетельствует о том, что в лите­ратурном немецком языке *pf* и *f* в начале слова следует рассматри­вать как разные фонемы и что, следовательно, те образованные немцы, которые заменяют начальное *pf* звуком *f*, говорят, по су­ществу, не на правильном литературном языке, а на языке, пред­ставляющем собой смешение литературного с местными диалек­тами.

***Правило третье.*** Если два акустически (или артикуляторно) родственных звука никогда не встречаются в одной и той же пози­ции, то они являются комбинаторными вариантами одной и той же фонемы. Здесь можно выделить три типичных случая.

*А.* В данном языке Х имеется, с одной стороны, класс звуков (α', α", α'"...), которые встречаются только в определенной пози­ции, и, с другой стороны, только один звук (α), который в этой позиции никогда не встречается. В таком случае звук α может выс­тупать в качестве варианта только по отношению к тому звуку из класса α', α", α'", который ближайшим образом родствен ему аку­стически (или артикуляторно). Так, например, в корейском языке *s* и *r* не могут находиться в исходе слова, тогда как *l* встречается лишь в исходе слова. Поскольку плавный *l*, очевидно, родствен скорее *r*, чем *s,* постольку только *l* и *r* можно рассматривать как комбинаторные варианты одной фонемы.

*Б.* В данном языке имеется один ряд звуков, которые возможны только в определенном положении в слове, и другой ряд звуков, которые в этом положении невозможны. В таком случае каждый звук первого ряда и наиболее родственный ему акустически (или артикуляторно) звук второго ряда относятся друг к другу как ком­бинаторные варианты. Например, русские ö и ä возможны только между двумя палатализованными согласными, тогда как звуки *о* и *а* в этом положении никогда не встречаются; поскольку ö как лабиализованный гласный среднего подъема ближе к *о*, нежели к *а,* и, с другой стороны, ä как очень открытый нелабиализованный гласный ближе к *а,* нежели к *о*, то *о* и ö определяются как комби­наторные варианты одной фонемы («О»), а *а* и ä — как комбинаторные варианты другой фонемы («А»). В японском языке *с* (= ts) и *f* употребляются только в положении перед *и,* тогда как *t* и *h* в таком положении не встречаются; среди этих звуков *t* и *с* (= ts) являются единственными глухими дентальными смычными, а *h* и *f* — единственными глухими спирантами; из этого следует, что *t* и *с* необходимо рассматривать как комбинаторные варианты одной фонемы, а *h* и *f* — как комбинаторные варианты другой.

*В.* В данном языке существует какой-то один звук, употребляе­мый только в определенном положении в слове, и наряду с ним какой-то другой звук, который в таком положении не употребля­ется. Такие два звука можно рассматривать как комбинаторные ва­рианты одной фонемы только в том случае, если они не образуют по отношению друг к другу косвенно-фонологической оппозиции. Так, например, немецкие *h* и являются не комбинаторными вариантами одной фонемы, а представителями двух разных фо­нем, хотя они никогда не встречаются в одном и том же положе­нии. В японском языке, наоборот, звук *g,* возможный только в начале слова, и звук , который в начале слова никогда не встре­чается, определяются нами как комбинаторные варианты одной фонемы: оба звука являются единственными звонкими заднеязыч­ными в этом языке и, таким образом, обладают известными об­щими признаками, благодаря которым они отличаются от всех прочих звуков японского языка. <...>

***Правило четвертое.*** Два звука, во всем удовлетворяющие усло­виям третьего правила, нельзя тем не менее считать вариантами одной фонемы, если они в данном языке могут следовать друг за другом как члены звукосочетания, притом в таком положении, в каком может встречаться один из этих звуков без сопровождения другого. Так, например, в английском языке r может находиться только в положении перед гласными, а — только в положении перед согласными; так как *r* произносится без шума трения (или взрыва), а — с довольно неопределенной степенью раскрытия и довольно неопределенной окраской, то данные два звука можно было бы рассматривать как комбинаторные варианты одной и той же фонемы. Это, однако, невозможно, поскольку в таких словах, как *profession* (произносится [prfešn]), звуки *r* и следуют друг за другом, тогда как в других словах, как, например, в слове *perfection* (произносится [pfekšn]), в том же положении встречается только один из этих звуков, а именно .

Таким образом, фонетические варианты являются либо факуль­тативными, либо постоянными; в последнем случае они, естествен­но, могут быть только комбинаторными. Впрочем, возможны так­же и факультативные комбинаторные варианты. Так, например, в русском языке фонема «j» после гласных реализуется как неслого­вое i , а после согласных — либо как i , либо как спирант *j*; оба варианта являются факультативными. В некоторых немецких диа­лектах *t* и *d* фонологически совпадают; они образуют одну фоне­му, которая в большинстве положений реализуется то как *t,* то как *d,* после носовых — всегда только как *d* (например, *tinde/dinde =* лит. *Tinte* «чернила»).

Мы уже видели, что ряд факультативных вариантов, а именно так называемые стилистические варианты, выполняет известную роль в плане экспрессивной и апеллятивной функций языка. Что касается комбинаторных вариантов, то они функционируют ис­ключительно в экспликативном плане. Комбинаторные варианты являются, если можно так сказать, фонологически вспомогатель­ным средством. Они сигнализируют либо о границе слова (или морфемы), либо о наличии определенного рода соседней фонемы. Что же касается сигнализации о наличии определенного рода со­седней фонемы, то эта выполняемая комбинаторными варианта­ми функция не является лишней (хотя она и не необходима). При быстром и неотчетливом произношении та или иная фонема мо­жет полностью потерять свою индивидуальность, поэтому бывает полезно, когда ее индивидуальность дополнительно подтвержда­ется особым вариантом находящейся рядом с ней фонемы. Однако это может иметь место только в случае, если особый вариант со­седней фонемы проявляется не только при быстром произноше­нии, но и всякий раз, когда две данные фонемы оказываются ря­дом, ибо только тогда особая реализация запечатлевается в созна­нии и действительно становится знаком, сигнализирующим о наличии рядом другой и притом определенной фонемы. Так, на­пример, артикуляция японского *и* сама по себе является малоха­рактерной: губы округляются слабо, а длительность артикуляции столь мала, что в быстрой речи гласный вообще перестает произ­носиться. При таких обстоятельствах весьма благоприятным ока­зывается то, что перед *и* ряд японских фонем имеет особые ком­бинаторные варианты (вариантом *t* является *с*, а вариантом *h —*φ); если бы даже *и* не воспринималось, по реализации предшествую­щей фонемы всегда можно было бы догадаться, что за ней пред­полагается *и. <...>*

*2. Ошибки в суждениях о фонемах чужого языка*

Фонологическая система любого языка является как бы ситом, через которое просеивается все сказанное. Остаются только самые существенные для индивидуальности данной фонемы звуковые признаки. Все прочее отсеивается в другое сито, где остаются при­знаки, существенные для апеллятивной функции языка; еще ниже находится третье сито, в которое отсеиваются черты звука, харак­терные для экспрессивной функции языка. Каждый приучается с детства анализировать речь подобным образом, и этот анализ осу­ществляется автоматически и бессознательно. Однако система «сит», делающая возможным такой анализ, в каждом языке строится по-разному. Мы усваиваем систему родного языка. Слушая чужую речь, мы при анализе слышимого непроизвольно используем привыч­ное нам «фонологическое сито» своего родного языка. А поскольку наше «сито» оказывается неподходящим для чужого языка, по­стольку возникают и многочисленные ошибки, недоразумения. Звуки чужого языка получают у нас неверную фонологическую интерпретацию, так как они пропускаются через «фонологичес­кое сито» нашего родного языка.

Приведем некоторые примеры. Как известно, в русском языке все согласные распадаются на два класса: палатализованные и не­палатализованные (последние при этом веляризованы). Для боль­шинства согласных их принадлежность к одному из этих двух клас­сов является фонологически существенной. Русский сразу узнает на слух, какой согласный в том или другом слове его языка явля­ется мягким, а какой — твердым. Противоположение палатализо­ванных и непалатализованных согласных подчеркивается еще и тем обстоятельством, что все гласные русского языка обладают особы­ми комбинаторными вариантами в зависимости от того, к какому классу принадлежит предшествующий или последующий соглас­ный. Между прочим, фонема «i» реализуется как настоящее *i*, то есть как «напряженный гласный верхнего подъема переднего ряда», только в том случае, если она находится в начале слова или после палатализованного согласного. Эту особенность своего родного язы­ка русские переносят и на другие языки. Так, услышав немецкое слово с долгим *i,* русский полагает, что он «прослушал» палатали­зацию предшествующего согласного: для него *i* является сигналом палатализации предшествующего согласного; такая палатализация, полагает он, должна присутствовать обязательно, и если он ее не услышал, то это результат акустической ошибки. Когда же русско­му самому нужно произнести немецкое слово, в котором имеется долгое *i*, он произнесет его с мягким согласным в положении пе­ред *i*: *l'ige, d'ip, b'ibel, z'iben* и т.д. И делает это он не только по убеждению, но и в силу невозможности произнести закрытое на­пряженное *i* после непалатализованных согласных. Немецкое крат­кое *i* не является напряженным. Такое ненапряженное *i* не имеет точного соответствия среди ударных гласных русского языка. По­этому такой звук может и не ассоциироваться с палатализацией предшествующего согласного. И действительно, русский воспри­нимает начальные согласные немецких слов *Tisch* «стол», *Fisch* «рыба» как непалатализованные. Но непалатализованный соглас­ный в русском языке является веляризованным, а после веляризованных согласных русская фонема *i* реализуется как (нелабиали­зованный напряженный гласный верхнего подъема, среднего или заднего ряда). Отсюда и русское произношение указанных слов: tš, fš. Само собой разумеется, что все сказанное выше касается тех русских, которые только приступили к изучению немецкого языка. С течением времени они преодолевают трудности, усваивая правильное немецкое произношение. Все же кое-что от «русского акцента» у них остается; даже после многолетней практики, усво­ив во всем остальном хорошее немецкое произношение, они про­должают слегка смягчать согласные перед долгим *i* и несколько веляризовать произношение краткого *i*.

Возьмем теперь другой пример. В русском литературном языке имеется гласный , который можно описать как нелабиализован­ный гласный среднего подъема заднего (или смешанного задне-среднего) ряда. Этот гласный возможен только после согласных, причем либо в заударных, либо в предударных слогах, за исключе­нием непосредственно предударного слога: dm «дома», ptamu «потому». Так как гласный а в неударном слоге возможен только либо в начале слова (ad'nki «одинокий»), либо после гласного (varužat' «вооружать»), либо после согласного в непосредственно предударном слоге (dami «домой»), то отсюда следует, что глас­ный и безударное а относятся друг к другу как комбинаторные варианты. В болгарском языке тоже имеется гласный , акустически-артикуляторная характеристика которого почти совпадает с русским . Однако в противоположность русскому болгарский глас­ный встречается не только в безударных, но и в ударных слогах: pt «путь», kšt «дом» и т.д. Русскому, изучающему болгарский язык, чрезвычайно трудно усвоить произношение болгарского удар­ного ; на место ударного он подставляет гласные *а, ,* среднее е и лишь с большим трудом и после долгой практики усваивает бо­лее или менее правильное произношение. Наличие аналогичного в родном языке не облегчает, а, наоборот, затрудняет ему усвое­ние правильного произношения болгарского , так как русск. звучит почти так же, как болг. , но выполняет совершенно иную функцию: оно указывает на относительное место ударного слога. Таким образом, его неударность не является чем-то случайным; она существенна, тогда как болгарское может быть ударным. Поэтому русский может отождествить ударное болг. с любым глас­ным своего языка, но только не с .

Русские гласные под ударением являются не только более силь­ными, но и более длительными, нежели соответствующие безу­дарные гласные. Можно даже сказать, что в русском языке все слоги под ударением являются долгими, а все безударные слоги — краткими. Количество и ударение сопутствуют друг другу и образу­ют неразложимое целое. При этом слог под ударением может нахо­диться и в начале, и в конце, и в середине слова; его положение в слове часто является существенным для значения слова: pàl'it'i «(вы) пáлите» (настоящее время изъявительного наклонения)— pal'it'i «палите» (повелительное наклонение) — pal'it'ì «полети». В чешс­ком языке количество и ударение распределяются иначе. Ударение здесь всегда падает на первый слог и, таким образом, несуще­ственно для дифференциации значений слов: оно лишь сигнали­зирует о начале слова. Напротив, количество не связано с опреде­ленным слогом, оно свободно и очень часто служит для диффе­ренциации значения слов (pìti «пить» — pitì «питье»). Отсюда проистекают большие трудности как для чеха, изучающего рус­ский язык, так и для русского, изучающего чешский язык. Рус­ский будет либо ставить ударение на первом слоге, но тогда он будет и произносить его как долгий, либо он будет переносить ударение на первый долгий слог и, таким образом, произносить вместо kùkātko «бинокль» и kàbāt «пиджак» либо kū́katko, kā́bat, либо kukā́tko, kabā́t. Ему не удается отчленить количество от ударения, поскольку эти явления для него тождественны. Чехи, изучающие русский язык, обычно воспринимают ударение как долготу. Они ставят ударение на первом слоге каждого русского слова, а этимо­логически ударные слоги произносят как долгие. Русское предло­жение pr'ǐn'ǐs'it'ǐ mn'è stăkàn văd «принесите мне стакан воды» в устах чеха превращается в pr'ìňesīti mňe stàkān vódī. Само собой разу­меется, что все это имеет место лишь до тех пор, пока обучаю­щийся еще недостаточно натренирован. Постепенно эти резко бро­сающиеся в глаза особенности исчезают. Но отдельные характерные признаки чужого акцента все же остаются. Русский, даже если он прекрасно говорит по-чешски, будет продолжать слегка удли­нять первый краткий слог в чешских словах и смешивать краткие и долгие слоги; чех со своей стороны при всем своем хорошем зна­нии русского языка будет слегка усиливать первые слоги (особен­но в длинных словах с ударением на одном из последних слогов: *госудáрство, коннозавóдство)* и неправильно расставлять ударение. Различие в интерпретации количества и ударения отличает рус­ских от чехов даже в том случае, когда они прекрасно владеют обоими языками. <...>

Число подобных примеров можно было бы умножить. Они по­казывают, что так называемый «иностранный акцент» зависит со­всем не от того, что тот или иной иностранец не в состоянии произнести тот или иной звук, а скорее от того, что он неверно судит об этом звуке. И такое неверное суждение о звуке иностран­ного языка обусловлено различием между фонологическими струк­турами иностранного и родного языков. <...>

*3. Отдельная фонема и сочетание фонем*

А. Определение однофонемности

Не всегда легко установить разницу между отдельной фонемой и группой фонем. Звуковой поток в живой речи находится в не­прерывном движении; рассматривая его в чисто фонетическом плане (то есть в отвлечении от языковой функции звука), нельзя решить, чем должен быть тот или иной отрезок этого потока: од­ной фонемой (то есть «однофонемным» отрезком) или рядом фо­нем (то есть «многофонемным» отрезком). Однако и здесь существуют определенные фонологические правила, которых необхо­димо придерживаться. <...>

В общем можно сказать, что однофонемную значимость могут иметь только те сочетания звуков, составные части которых не распределяются по двум слогам и которые образуются единой ар­тикуляцией, причем длительность ее не должна превышать нор­мальную длительность одного звука. Сочетание звуков, удовлетво­ряющее этим чисто фонетическим условиям, является только «по­тенциально однофонемным». Его следует признать и фактически однофонемным (то есть как реализацию одной фонемы), если оно в соответствии с правилами данного языка ведет себя как отдель­ная фонема или если общая структура фонологической системы этого языка требует такой оценки. Особенно благоприятны для однофонемной трактовки звукосочетания те случаи, в которых составные части такого сочетания нельзя понимать как реализа­ции каких-либо других фонем того же языка. Таким образом, фо­нетические предпосылки и фонологические условия для однофо­немной трактовки сочетания звуков могут быть сведены к следую­щим шести правилам.

***Правило первое.*** Реализацией одной фонемы можно считать толь­ко сочетание звуков, составные части которого в данном языке не распределяются по двум слогам.

В русском, польском, чешском и других языках группа звуков *ts,* составные части которой входят всегда в состав одного слога, является одной фонемой *с* (ср. русск. ce-li «целый», польск. и чешcк. *со* «что», русск. l'ǐ -со «лицо», польск. pła-ce «плачý», чешcк. vī-ce «больше», русск. ka-n'ec, польск. ko-n'ec, чешек, ko-nec «конец» и т.д.). Иначе обстоит дело в финском, где эта группа возможна только в середине слога, причем *t* завершает предшествующий слог, a *s* начинает следующий слог (it-se «сам», seit-se-män «семь» и т.д.); здесь такая группа звуков является реализацией фонемного ряда *t* + *s.* Когда в русском, польском и чешском группа «гласный + неслоговое i» предшествует гласному, неслоговое i присоединяется к этому гласному, образуя начало слога (русск. zbru-j «сбруя», чешек. ku-pu-je «покупает» и т.д.). Следовательно, в таких языках эта группа является реализацией фонемного ряда «гласный + *j*», притом даже тогда, когда все слово оказывается односложным (русск. dai «дай» = фонологически *daj*). Однако в немецком, где дифтонги на *i-* и на *и-* в положении перед гласным не распределяются по двум слогам *(Ei-er* «яйца», *blau-e* «синие», *mis-trau-isch* «недоверчивый» и т.д.), они, очевидно, обладают однофонемной значимостью. <...>

***Правило второе.*** Группу звуков можно считать реализацией од­ной фонемы только в том случае, если она образуется с помощью единой артикуляции или создается в процессе постепенного убы­вания или сокращения артикуляционного комплекса.

Очень часто дифтонги трактуются как единая фонема. Яснее всего это видно на материале английского языка, где такие соче­тания, как *ei* или *ou*, имеют значимость единых фонем: как извест­но, англичане немецкие долгие *е, о* произносят как *ei, ои,* отожде­ствляя таким образом немецкие монофтонги со своими дифтонги­ческими фонемами. <...> Как в английском, так и в других языках однофонемная значимость присуща только так называемым «сколь­зящим дифтонгам» (Bewegungsdiphthong), то есть дифтонгам, ко­торые возникают в процессе изменения уклада органов речи. Су­щественным при этом является не начальный и не конечный мо­менты изменения уклада, а общая направленность движения. Эта формулировка, однако, необратима, хотя Вахек, на мой взгляд, неправомерно делает ее таковой: не каждый «скользящий дифтонг» **должен** определяться как единая фонема. Но если дифтонг опреде­лен как единая фонема, то он должен быть скользящим дифтонгом. Иными словами, речь в этом случае должна идти о едином артику­ляционном движении. Такое сочетание, как *aia* или *aiu,* ни в одном языке не может быть одной фонемой, поскольку здесь мы имеем дело с двумя разнонаправленными артикуляционными движениями. Так называемые «скользящие звуки» между двумя согласными «при­числяются» то к предшествующему, то к последующему согласно­му, в связи с чем «основной звук» рассматривается как единство вместе с сопровождающим его «скользящим звуком». Но в такой группе, как *«s +* скользящий звук, встречающийся между *s* и *k, + s»,* скользящий звук пришлось бы рассматривать в качестве реали­зации особой фонемы (а именно *k),* даже если бы здесь и не осу­ществилось подлинной артикуляции типа *k,* поскольку артикуля­ционное движение в данном случае не было бы единым.

Рассматривая типические случаи однофонемной трактовки групп согласных, легко заметить, что во всех случаях речь идет о постепенном убывании артикуляторного комплекса. У «аффрикат» «смычка» сперва расширяется до «щели», а затем исчезает совсем. У «придыхательных» вначале происходит размыкание ротовой смычки; гортань между тем некоторое время остается в том поло­жении, какое она занимала во время ротовой смычки; акустичес­ким следствием этого является придыхательный призвук. У «смычно-гортанных» одновременно со смычкой в надгортанной полости образуется гортанная смычка; после уменьшения (то есть размы­кания) ротовой смычки гортанная смычка некоторое время со­храняется, но затем и она размыкается, акустическим результатом чего является резкий гортанный толчок. Палатализованные и ла­биализованные согласные, которые производят акустическое впе­чатление группы из согласного и неполнообразуемого очень крат­кого *i(j)* и *u(w),* обнаруживают тот же процесс не вполне син­хронного сокращения сложного артикуляционного комплекса. Во всех таких случаях мы имеем дело с единым артикуляционным движением, которое происходит в одном направлении (а именно в направлении «убывания» или «сокращения» сложного артикуля­ционного комплекса, то есть в направлении возврата к состоянию покоя). В противоположность этому такая группа звуков, как *st,* ни при каких обстоятельствах не может быть однофонемной, поскольку здесь имеет место постепенное «нарастание» смычки, которая за­тем «убывает» (то есть размыкается). Равным образом не может быть однофонемным и сочетание *ks,* так как оно предполагает два различных артикуляционных движения. <...>

***Правило третье.*** Группу звуков следует считать реализацией одной фонемы, если ее длительность не превышает длительности других фонем данного языка. <...>

Практически это правило является менее важным, чем два пре­дыдущих. Все же надо подчеркнуть, что нормально длительность, например русских аффрикат *ц, ч,* не превышает длительности про­чих «кратких» согласных и, во всяком случае, никогда не достига­ет нормальной длительности таких сочетаний, как ks, kš; дли­тельность же чешского *ои* превышает длительность нормально долгих гласных чешского языка, и это обстоятельство, очевидно, имеет значение для того, чтобы считать данный дифтонг реализа­цией группы фонем.

Следующие ниже правила указывают, когда потенциально од­нофонемные звуковые комплексы нужно рассматривать как фак­тически однофонемные.

***Правило четвертое.*** Потенциально однофонемную группу зву­ков (то есть группу, удовлетворяющую требованиям предыдущих трех правил) следует считать реализацией одной фонемы, если она встречается в таких положениях, где, по правилам данного языка, недопустимы сочетания фонем определенного рода.

Многие языки не терпят скоплений согласных в начале слова. Если в таких языках сочетания звуков типа *ph, th, kh,* или *pf, kx, ts, win tw, kw и* т.д. оказываются в начале слова, то каждое из этих сочетаний следует рассматривать как одну фонему. Сказанное имеет силу для сочетаний *ts, dz, tš, dž* в тлингит <...>, японском, монголь­ских и тюркских языках, для сочетаний *ph, th, kh, tsh, tšh* и т.п. в китайском языке, для сочетаний *ph, th, kh, kx, k, ts, tš, t?, k?* в аварском и для многих других аналогичных случаев. Немецкий язык допускает в начале слова сочетания согласного с *l* (*klar* «светлый», *glatt* «гладкий», *plump* «неловкий», *Blei* «свинец», *fliegen* «летать», *schlau* «лукавый») или с *w* (*Qual* «мучение», *schwimmen* «плыть»); из сочетаний же «два согласных + *l*, *w*» в начале слова допустимы лишь *špl (Splitter* «осколок»), *pfl (Pflaume* «слива», *Pflicht* «долг», *Pflug* «плуг», *Pflanze* «растение») и *tsw* (*zwei* «два», *zwar* «хотя», *Zwerg* «карлик», *Zwinger* «клетка»); так как трехчленные сочетания согласных в нача­ле немецких слов обычно недопустимы (за исключением *štr, špl* и *špr*), то уже по одному этому *pf* и *ts* (по крайней мере в письменном языке) нужно рассматривать как простые фонемы.\*

\* Кроме того, сочетания типа «смычный+щелинный» невозможны в начале исконно немецких слов < >, что также побуждает нас трактовать *pf* и *ts* (z) как простые фонемы

***Правило пяпюе.*** Группу звуков, отвечающую требованиям, сфор­мулированным в правилах 1—3, следует считать простой фонемой, если это вытекает из всей системы данного языка.

В таких языках, как чеченский, грузинский, цимшиан и др., где сочетания согласных возможны во всех положениях, группы согласных *ts, tš* следует тем не менее считать реализацией одной фонемы, а не сочетания фонем: этого требует весь контекст фонологической системы указанных языков. Дело в том, что в этих язы­ках смычные выступают в двух формах: без гортанной смычки и с гортанной смычкой, в то время как щелинным такое противопо­ложение чуждо. Поскольку в данных языках наряду с *ts* и *tš* без гортанной смычки имеются и *ts'* и *tš' с* гортанной смычкой, по­стольку эти звуки оказываются в одном ряду со смычными *(р-р', t-t', k-k'),* и отношение *ts-s* или *tš-š* таким образом полностью параллельно отношению *k-x.*

***Правило шестое.*** Если составная часть потенциально однофо­немной группы звуков не может быть истолкована как комбина­торный вариант какой-либо фонемы того же языка, то вся группа звуков должна рассматриваться как реализация одной фонемы.

Как сербохорватское, так и болгарское *r* нередко выполняет слогообразующую функцию. Обычно в этом случае мы имеем соче­тание *r* с гласным призвуком (Gleitvokal) неопределенного каче­ства; этот призвук в зависимости от звукового окружения выступает то перед *r,* то после *r*. В сербохорватском, где «неопределенный глас­ный» в других положениях не наблюдается, неопределенный при­звук, сопровождающий *r,* не может быть отождествлен ни с одной из фонем данной фонологической системы, и все сочетание *r* с (предшествующим или последующим) «гласным призвуком» надо рассматривать как одну фонему. В противоположность этому в бол­гарском языке «неопределенный гласный» (обычно транскриби­руемый посредством а известен и в других положениях (напри­мер, kasta «дом» = kst, pat «дорога» = pt и т.д.). Гласный при­звук при слогообразующем *r* в данном случае имеет значимость комбинаторного варианта неопределенного гласного, а все соче­тание звуков оказывается многофонемным (ar или ra).

Из этого правила следует, что потенциально однофонемную группу звуков следует считать реализацией одной фонемы, если единственная сопоставимая с данной фонемой группа фонем реа­лизуется в данном языке в другой группе звуков, не отвечающей правилам 1—3. Так, например, польское с, длительность которого не превышает длительности обычных согласных и которое в ин­тервокальном положении целиком относится к следующему сло­гу, нужно считать реализацией одной фонемы, поскольку группа фонем *t+s* (в польской орфографии *dsz, tsz* или *trz)* реализуется в другой группе звуков, длительность которой превышает длитель­ность обычных согласных и которая в интервокальном положении распределяется по двум слогам (например, podszywac произно­сится: pot-syvaĉ).

Точно так же группы фонем *t+s, t+s* в русском языке реализу­ются как сочетания звуков, которые по своей длительности и по своему отношению к слогоделению качественно отличаются от «с», «с», определяемых как простые фонемы. <...> Примеры подобного рода можно было бы легко приумножить.

Б. Определение многофонемности

Многофонемная трактовка отдельного звука прямо противо­положна однофонемной трактовке группы звуков. Почти всегда дело сводится здесь к тому, что группа фонем, состоящая из гласного и предшествующего ему или следующего за ним согласного, реали­зуется либо в виде **одного** согласного, либо в виде **одного** гласного. Первое имеет место там, где «ослабленный» (то есть нереализо­ванный) гласный обнаруживает в других положениях исключи­тельно слабую степень раствора, приближаясь, таким образом, акустически и артикуляторно к согласным. Второе возможно толь­ко тогда, когда «ослабленный» согласный в других положениях является чрезмерно «открытым», реализуясь с возможно наимень­шим участием трения и с возможно большей звучностью (раство­ром) и приближаясь тем самым к гласному. Практически в первом случае речь идет о кратком соответственно безударном узком или неопределенном гласном, а во втором случае — о сонорном (плав­ном, носовом и *w, j).* Таковы **фонетические предпосылки** многофо­немной трактовки отдельного звука. Что же касается **фонологичес­ких условий** этого явления, то все они могут быть сведены к следу­ющему.

***Правило седьмое.*** Если один звук и группа звуков, удовлетворя­ющие указанным выше фонетическим предпосылкам, относятся друг к другу как факультативные или комбинаторные варианты и если при этом группа звуков является реализацией группы фонем, то и один звук должен рассматриваться как реализация той же группы фонем.

Здесь можно выделить три типичных случая:

*а)* Данный единичный звук встречается только в тех положе­ниях, в каких данная группа звуков не может встречаться. Приведем несколько примеров. В немецком языке слоговые *l,* *т, п* встре­чаются только в безударных слогах перед согласными и в исходе слова; в противоположность этому группы звуков *el, em, en* встре­чаются только в безударных слогах перед гласными (причем ука­занные группы звуков не могут рассматриваться как простые фо­немы, так как слогораздел пролегает в данном случае между и следующим за ним сонорным). Следовательно, немецкие слоговые *l, т, п* являются реализацией группы фонем l, m, n (что зача­стую и обнаруживается в медленной и отчетливой речи). Во многих польских диалектах (а именно в тех, где литературному ą в начале слова соответствуют ¸о, ų или оm, иm) назализованные гласные встре­чаются лишь перед щелинными, а сочетания «гласный + носовой» — только перед взрывными, гласными и в исходе слова. Так как соче­тания «гласный + носовой» не удовлетворяют ни одному из трех условий, позволяющих определить сочетание как простую фонему, и так как составные части этих сочетаний в других положениях явля­ются реализацией самостоятельных фонем, то сами сочетания также являются реализацией группы фонем «гласный + носовой». А отсюда и назализованные гласные в упомянутых диалектах тоже должны ин­терпретироваться как реализация этой же группы фонем.

б) Данный звук α встречается только в составе одной опреде­ленной группы звуков αβ или βα, где он является комбинаторным вариантом определенной фонемы; кроме того, этот же звук встре­чается и в другом положении, где сочетание αβ (или βα) невоз­можно: в таком положении звук α должен рассматриваться как за­мена всего сочетания αβ (или βα) и, следовательно, как реализа­ция соответствующей группы фонем. Приведем несколько примеров. В русской группе звуков ọl узкое ọ является комбинаторным вари­антом фонемы *о*. Кроме этой группы звуков (и положения перед безударным *и,* например рọ́-ŭхŭ «по уху»), узкое ọ встречается толь­ко в слове sọ́nc «солнце». Поскольку группа ọl (как и вообще сочетание «гласный + *l*») никогда не встречается перед *«п +* со­гласный», следует считать, что ọ в sọ́nc является заменою группы ọl. Все слово фонологически должно, таким образом, интерпрети­роваться как solncă. Безударное и в русском языке после палатали­зованных согласных и после *j* реализуется как *ü*, а в прочих поло­жениях — как *и* (например, jül'it' «юлить» = фонол, jŭl'it', t'ül'èn' «тюлень» = фонол, t'ŭl'en'). Если безударное ü оказывается в поло­жении после гласного, оно заменяет группу фонем jŭ, которая в данном положении и не может реализоваться иначе (например, znàüt «знают» = фонол. znajŭt). Чешское «i» после *j* (а также после палатальных *t, d,* ň) реализуется как напряженный, а после гуттуральных, дентальных и свистящих — как ненапряженный гласный. В связной речи начальное *j* в группе *ji* после конечного согласного предшествующего слова «ослабляется» (иначе говоря, не реализу­ется). Таким образом, напряженное ĭ оказывается в положении после гуттуральных, дентальных и свистящих; в таком положении его следует рассматривать как реализацию группы фонем *ji,* напри­мер: něсо k jídlu «что-нибудь поесть!» (произносится почти как ňecokídlu), vytah ji ven «тащи вон!» (произносится почти как vitaxíven), už ji mám «у меня уже есть» (произносится почти как ušímām; не путать с uši mám «у меня есть уши», произносимым как ušimām с ненапряженным *i).*

*в)* Во многих языках, где сочетания согласных либо вообще невозможны, либо возможны лишь в определенных положениях (например, в начале или исходе слова), узкие гласные факульта­тивно ослабляются, причем предшествующий согласный рассмат­ривается как реализация группы «согласный + узкий гласный». В узбекском языке, который не терпит скопления согласных в на­чале слова, гласный *i* в первом безударном слоге обычно бывает ослаблен: говорят, например, pširmoq «варить», а считают, что это piširmoq. В японском языке вообще нет скоплений согласных (если не считать сочетания «носовой + согласный»), а в исходе слова согласные вообще невозможны. Но в быстрой речи гласный *и* часто (особенно после глухих согласных) «сходит на нет»; пред­шествующий согласный в этом случае замещает группу «соглас­ный + *и»,* например *desu* (связка), произносимое как *des.*

*4. Ошибки при определении однофонемной и многофонемной значимости звуков чужого языка*

Правила, определяющие однофонемную или многофонемную трактовку звуков, учитывают структуру данной системы и специ­альную роль данного звука в системе. Поэтому звуки и сочетания звуков, рассматриваемые в каком-либо языке как однофонемные или многофонемные, не обязательно трактуются таким же обра­зом в других языках. Однако «неискушенный» наблюдатель при восприятии чужого языка обычно переносит на него звуковые оцен­ки, обусловленные отношениями, сложившимися в его родном языке; естественно, что тем самым он получает совершенно лож­ное представление об этом языке.

Большое число весьма поучительных примеров приводит Е. Д. Поливанов в своей работе «Восприятие звуков иностранного языка». Японец, в языке которого отсутствуют скопления согласных, а узкие гласные бывают очень краткими и склонны факуль­тативно к исчезновению, уверен, что и в чужом языке он слышит те же краткие узкие гласные между согласными и в исходе слова. Поливанов приводит японское произношение русских слов *так, путь, дар, корь:* taku, puč'i, daru, kor'i. <...> Эти вставки гласных *u* и *i* (а после *t* и *d* также *о*) между согласными и после конечного согласного (а равным образом смешение *r* и *l*) приводят к тому, что европеец с трудом может понять японца, который пытается говорить на одном из европейских языков. Лишь после длительной тренировки японцу удается избавиться от подобного рода произно­шения; однако и тут он нередко впадает в противоположную край­ность, не произнося этимологических *и* и *i* в иностранных словах. Согласные с следующими за ними *и* и *i*, а также согласные без сле­дующих за ними гласных японец воспринимает как факультативные варианты группы фонем, и ему чрезвычайно трудно освоиться, при­выкнуть к тому, что эти мнимо факультативные варианты имеют смыслоразличительную функцию, а сверх того еще и к тому, что один из вариантов является реализацией одной фонемы, а не груп­пы фонем. Другой из приведенных Поливановым примеров касается корейской трактовки сочетания *«s +* согласный». В противополож­ность японскому языку корейский язык допускает известные соче­тания согласных, впрочем только в середине слова. Но сочетание *«s* + согласный» чуждо современному корейскому языку. Когда коре­ец слышит такое сочетание в чужом языке, он воспринимает его как недоступный ему особый способ произношения следующего соглас­ного (желая сказать соответствующее слово, он обычно произносит его с пропуском *s: тарик казал—* вместо *старик сказал).* Э.Сепир рассказывает, что американские студенты, познакомившись на фо­нетических занятиях с гортанными взрывными, склонны были слы­шать их после каждого краткого ударного гласного в исходе слов чужого языка. Это «акустическое заблуждение» основывается на том, что в английском языке все ударные гласные в исходе слова являют­ся долгими и что те, у кого родным языком является английский, могут представлять себе краткий гласный лишь перед согласным.

Всюду, где в чужом языке мы слышим звуковое образование, чуждое родному для нас языку, мы склонны расценивать его как сочетание звуков и рассматривать как реализацию группы фонем родного для нас языка. Очень часто воспринимаемый звук действи­тельно дает основания для такой интерпретации, поскольку любой звук представляет собой ряд «звуковых атомов». Придыхательные составлены фактически из смычки, взрыва и придыхания, аффри­ката — из смычки и шума трения. Поэтому нет ничего удивительно­го, если иностранец, в языке которого эти звуки отсутствуют или не имеют однофонемной значимости, воспринимает их как реализа­цию группы фонем. Равным образом естественно и то, что русские и чехи воспринимают долгие гласные английского языка, рассматри­ваемые англичанами в качестве простых фонем, как дифтонги, то есть как сочетание двух гласных фонем: ведь эти гласные факти­чески являются «скользящими дифтонгами». Однако очень часто многофонемная интерпретация чужого звука покоится на заблуж­дении: различные артикуляторные признаки, в действительности сосуществующие одновременно, воспринимаются как следующие друг за другом. Болгары воспринимают немецкие ü как u (*juber* = *über*), потому что переднее положение языка и округление губ, проявляющиеся в немецком языке одновременно, они представ­ляют себе как раздельные моменты. Украинцы, которым чужд звук *f*, передают чужое *f* через *хв (Хвилип = Филипп),* воспринимая та­ким образом синхронные признаки *f* (глухой шум трения и лабио-дентальная локализация) как два следующие друг за другом мо­мента. Чешское ř, которое, безусловно, является одним звуком, воспринимается многими иностранцами как сочетание звуков rž: в действительности ř представляет собой просто-напросто *r* с незначительной амплитудой колебания кончика языка, что на слух создает впечатление *ж*-образного трения между ударами *r*. <...> Подобного рода примеры можно легко умножить. Психологически они объясняются тем, что фонемы символизируются не звуками, а определенными существенными звуковыми признаками, а так­же тем, что сочетание звуковых признаков трактуется как группа фонем; но поскольку две фонемы никогда не могут выступать син­хронно, то их и воспринимают как последовательный ряд фонем.

При изучении чужого языка нужно преодолевать все эти труд­ности. Недостаточно приучить органы речи к новой артикуляции, необходимо, кроме того, приучить фонологическое сознание пра­вильно оценивать эти новые артикуляции как однофонемные или многофонемные.

III. Логическая классификация смыслоразличительных оппозиций

*1. Содержание фонемы и система фонем*

При условии точного применения всех приведенных выше пра­вил можно установить полный состав всех фонем данного языка. Теперь нам необходимо определить **фонологическое содержание** каждой отдельной фонемы. Под фонологическим содержанием фонемы мы понимаем совокупность всех фонологически существен­ных признаков фонемы, то есть признаков, общих для всех вари­антов данной фонемы и отличающих ее от других и прежде всего от близкородственных фонем в данном языке. Немецкое *k* нельзя определять как «велярный», поскольку этот признак присущ толь­ко части его вариантов, например, перед *i* и *ü* немецкое *k* реализу­ется как палатальный согласный. С другой стороны, неточным бу­дет и определение немецкого *k* как «дорсального», поскольку «дор­сальными» являются также *g* и *ch*. Фонологическое содержание немецкого *k* можно сформулировать только так: «напряженный, неназализованный, дорсальный смычный». Иными словами, для немецкого фонологически существенны только следующие при­знаки: 1) образование полной смычки (в отличие от *ch*), 2) вы­ключение полости носа (в отличие от ŋ), 3) напряжение мускула­туры языка при одновременном расслаблении мускулатуры горта­ни (в отличие от *g),* 4) участие спинки языка (в отличие от *t* и *р).* Первый из этих четырех признаков объединяет *k с t, p, tz, pf, d, b, g, m, п,* ŋ, второй — с *g, t, d, p, b,* третий - с *р, t, ss, f,* четвер­тый — с *g, ch,* ŋ, и только совокупность всех четырех признаков присуща одному *k.* Отсюда видно, что определение фонологичес­кого содержания фонемы предполагает включение ее в систему фонологических оппозиций, существующих в данном языке. Оп­ределение содержания фонемы зависит от того, какое место зани­мает та или иная фонема в данной системе фонем, то есть в ко­нечном счете от того, какие другие фонемы ей противопоставле­ны. Из этого следует, что иной раз фонема может получить чисто отрицательное определение. Если мы примем во внимание, на­пример, все факультативные и комбинаторные варианты немец­кого *r,* то должны будем определить эту фонему только как «нела­теральный плавный», что является чисто отрицательным опреде­лением, ибо сам «плавный» является «неносовым сонорным», а «сонорный» — «нешумным».

*2*. *Классификация оппозиций*

*А.* Классификация оппозиций **по их отношению к системе оппозиций в целом: многомерные и одномерные, изоли­рованные и пропорциональные оппозиции; основанная на этом структура системы фонем**

Фонемный состав языка является, по существу, лишь корре­лятом системы фонологических оппозиций. Никогда не следует забывать, что в фонологии основная роль принадлежит не фоне­мам, а смыслоразличительным оппозициям. Любая фонема обла­дает определенным фонологическим содержанием лишь постоль­ку, поскольку система фонологических оппозиций обнаруживает определенный порядок или структуру. Чтобы понять эту структу­ру, необходимо исследовать различные типы фонологических оп­позиций.

Прежде всего необходимо ввести ряд понятий, имеющих ре­шающее значение не только для фонологической, но и для любой другой системы оппозиций.

Противоположение (оппозиция) предполагает не только при­знаки, которыми отличаются друг от друга члены оппозиции, но и признаки, которые являются общими для обоих членов оппози­ции. Такие признаки можно считать «основанием для сравнения». Две вещи, не имеющие основания для сравнения, или, иными словами, не обладающие ни одним общим признаком (например, чернильница и свобода воли), никак не могут быть противопос­тавлены друг другу. В таких системах противоположении, как фо­нологическая система, следует различать два типа оппозиций: **од­номерные и многомерные. В одномерных** оппозициях основание для сравнения, то есть совокупность признаков, которыми обладают в равной мере оба члена оппозиции, присуще только этим двум чле­нам оппозиции и не присуще никакому другому члену той же систе­мы. В противоположность этому в **многомерных** оппозициях совокупность общих признаков (основание для сравнения) не ог­раничивается только членами данной оппозиции, а распространя­ется также и на другие члены той же системы. Различие между одномерными и многомерными оппозициями может быть проил­люстрировано на примере латинского алфавита. Противоположе­ние букв Е и F в нем одномерно, поскольку совокупность черт, общих этим двум буквам (вертикальный стержень и два горизон­тальных направленных вправо штриха, один из которых укреплен на верхнем конце стержня, а другой—посередине его), не повто­ряется ни в одной другой букве латинского алфавита. Напротив, противоположение букв Р и R является многомерным, так как совокупность черт, общих двум буквам (направленная вправо пе­телька в верхнем конце вертикального стержня), помимо этих двух букв имеется еще в букве В.

Различение одномерных и многомерных оппозиций имеет ис­ключительное значение для общей теории оппозиций. Оно может быть обнаружено в любой оппозитивной системе, в том числе, естественно, и в фонологических системах (в составе фонем). Так, например, в немецком языке оппозиция *t*—*d* одномерна, поскольку *t* и *d* являются единственными дентальными смычными в фонологической системе немецкого языка. Наоборот, оппозиция *d—b* в том же немецком языке многомерна, поскольку то общее, что обнаруживается у этих фонем, а именно образование слабой смыч­ки, повторяется и в другой фонеме немецкого языка, а именно в *g.* Таким образом, какую бы фонологическую оппозицию мы ни взя­ли, всегда можно точно и определенно сказать, является ли она одномерной или многомерной. Само собой разумеется, что при этом следует учитывать только фонологически существенные при­знаки. Однако дополнительно могут быть приняты во внимание и отдельные фонологически несущественные признаки, если благо­даря им члены данной оппозиции противопоставлены другим фо­немам той же системы. Так, оппозицию *d—n* (например, во фран­цузском) можно рассматривать как одномерную, поскольку чле­ны ее являются единственными звонкими дентальными смычными (хотя ни звонкость, ни образование смычки не существенны для *п,* поскольку глухое и соответственно фрикативное *п* как особые фонемы в данной системе отсутствуют). <...>

Многомерные оппозиции можно разделить на гомогенные **(од­нородные)** и гетерогенные **(неоднородные).** Однородными называ­ются такие многомерные оппозиции, члены которых могут быть представлены в качестве крайних точек «цепочек» (выражение за­имствовано нами у Н. Дурново) из одномерных оппозиций. Так, например, оппозиция *и—е* в немецком языке многомерна: общим для обеих фонем является лишь то, что они гласные; но этот при­знак не ограничивается только названными двумя фонемами, он присущ еще целому ряду фонем немецкого языка (точнее — всем гласным). Однако члены данной оппозиции *и* и *е* можно предста­вить как крайние точки «цепочки» *и—о,* *о*—*ö*, *ö—е,* которая состо­ит из одномерных оппозиций: в системе гласных немецкого языка *и* и *о* являются единственными лабиализованными гласными зад­него ряда, *о* и *ö* — единственными лабиализованными гласными среднего подъема, ö и *е—* единственными гласными переднего ряда среднего подъема. Следовательно, оппозиция *и—е* является одно­родной. Однородной является также многомерная оппозиция *х—ŋ (ch—ng)* в системе согласных немецкого языка: ее можно вытянуть в цепочку одномерных оппозиций *x—k, k—g, g—ŋ.* В противопо­ложность этому многомерная оппозиция *p*—*t* является неоднород­ной, так как в промежутке между *p* и *t* нельзя представить себе ни одного члена, который составлял бы с этими фонемами одномер­ную оппозицию. Совершенно очевидно, что в совокупной фоно­логической системе любого языка неоднородные многомерные оппозиции должны быть многочисленнее однородных. Однако для определения фонологического содержания фонемы, а следователь­но, и для общей структуры фонологической системы однородные оппозиции очень важны.

Можно выделить далее два типа однородных многомерных оп­позиций: **прямолинейные** и **непрямолинейные,** в зависимости от того, какую цепную связь можно установить между членами оппозиции: с помощью ли одной «цепочки» одномерных оппозиций или с помощью ряда «цепочек». Так, в приведенных выше примерах оп­позиция *x*—*ŋ* прямолинейная, поскольку в рамках немецкой фо­нологической системы мыслима только одна «цепочка» *x—k—g—ŋ.* В отличие от этого оппозиция *и—е* является непрямолинейной, поскольку «путь», ведущий от *и* к *е* в рамках немецкой фонологи­ческой системы можно представить в виде ряда «цепочек» из од­номерных оппозиций (*u—o—ö—e,* или *u*—*ü*—*ö*—*е*, или *u—ü—i—e,* или *и—о—а—ä—е*).

Наряду с различением одномерных и многомерных оппозиций не менее существенно и различение **пропорциональных** и **изолиро­ванных** оппозиций. Оппозиция называется пропорциональной, если отношение между ее членами тождественно отношению между членами какой-либо другой оппозиции (или ряда других оппози­ций) в рамках той же самой фонологической системы. Так, на­пример, оппозиция *р—b* в немецком языке пропорциональна, поскольку отношение между *р* и *b* является тождественным отно­шению между *t* и *d* или между *k* и *g.* Наоборот, оппозиция *p—š* является изолированной, поскольку в немецкой фонологической системе нет другой пары фонем, члены которой находились бы в таких же отношениях, как *р* и *š*. Различие между пропорциональ­ными и изолированными оппозициями может иметь место как в одномерных, так и в многомерных оппозициях: так, например, в немецком языке оппозиция а) *р—b —* одномерная и пропорцио­нальная, б) *r*—*l* — одномерная и изолированная, в) *p—t —* много­мерная и пропорциональная (ср. *b—d, т—п),* г) *p—s —* многомер­ная и изолированная. <...>

Благодаря различным типам оппозиций достигается внутрен­няя упорядоченность или структурность фонемного состава как системы фонологических оппозиций. Все пропорциональные оп­позиции с одинаковыми отношениями между их членами можно объединить в уравнения («пропорции», откуда и само название «пропорциональный»); например, *b—d* = *p—t* == *т—п* или *и—о* = ü—ö = *i—e* и т.д. в немецкой системе согласных и гласных. С другой стороны, мы уже упоминали о таких «цепочках» одномерных оп­позиций, которые можно вставить между членами однородной (в частности, прямолинейной однородной) многомерной оппозиции; например, *ch—k—g—ŋ* или *и—ü—i* и т.д. в немецком языке. Если одна из оппозиций в такой «цепочке» оказывается пропор­циональной, «цепочка» перекрещивается с «пропорцией». Если какая-либо фонема участвует одновременно в ряде пропорциональ­ных оппозиций, то перекрещивается ряд пропорций. В результате фонологическая система может быть представлена в виде пересе­кающих друг друга параллельных рядов. В немецкой системе со­гласных пропорции *b—d* = *p—t* = *m—n, b—p = d—t* и *b—m = d—n* образуют пересечение, которое можно изобразить в виде двух па­раллельных «цепочек» *p—b*—*m* и *t—d—п.* Пропорции *p*— *b = t—d = k—g* и *b—m = d—n* = *g—ŋ* дают начало параллелизму «цепочек» *р—b—m, t—d—n* с *k—g—ŋ.* Последняя «цепочка», однако, может быть дополнена еще одним членом и принимает в этом случае вид *ch—k—g—ŋ.* Далее, отношение *ch—k* (щель — смычка), по суще­ству, тождественно отношениям *f—pf, ss—tz,* которые, со своей стороны, являются лишь частью параллельных цепей *w—f—pf* (фо­нол. *v—f—p)* и *s—ss—tz* (фонол, *z—s—c*)*.* Наконец, *ss* является также членом одномерной изолированной оппозиции *ss— sch* (фонол, *s—š*).В результате мы имеем следующую картину:

v z

x f s š

р t k p с

b d g

m n ŋ

Эта схема охватывает 17 фонем, то есть 85% всех согласных немецкого языка. Вне схемы остаются, с одной стороны, *r* и *l*, составляющие как единственные плавные немецкого языка изо­лированную одномерную оппозицию, и, с другой стороны, фо­нема *h,* образующая по отношению ко всем прочим согласным многомерную изолированную оппозицию. <...>

Порядок, который достигается расчленением фонем на парал­лельные ряды, существует не только на бумаге и не является де­лом одной лишь графики. Напротив, он соответствует фонологи­ческой реальности. Благодаря тому, что определенное отношение между двумя фонемами реализуется в ряде пропорциональных оппозиций, оно приобретает способность мыслиться и квалифи­цироваться фонологически даже независимо от отдельных фонем. Это приводит к тому, что определенные признаки той или иной фонемы распознаются особенно ясно, а фонема легко разлагается на свои фонологические признаки. <...>

*Б.* Классификация оппозиций **по отношению между членами оппозиции: привативные, ступенчатые** (градуальные) **и равнозначные** (эквиполентные) **оппозиции**

Структура системы фонем зависит от распределения одномер­ных, многомерных, пропорциональных и изолированных оппози­ций. Именно поэтому и имеет такое большое значение классифика­ция оппозиций по четырем классам. Принципы классификации при этом связаны с системой фонем в целом: одномерность или многомерность оппозиции зависит от того, свойственно ли то, что являет­ся общим у членов данной оппозиции, лишь этим членам или же оно присуще и другим членам **той же системы;** пропорциональный или изолированный характер оппозиции зависит от того, повторя­ется или нет то же отношение и в других оппозициях той же системы. Но фонологические оппозиции могут быть подразделены на типы и безотносительно к системе фонем в целом; в этом случае в качестве основания для классификации выступают чисто логические отно­шения между членами оппозиции. Такая классификация не имеет значения для чисто внешней структуры фонемного состава; однако она приобретает большое значение, как только мы переходим к рас­смотрению функционирования системы фонем.

Принимая во внимание отношения, существующие между чле­нами оппозиций, последние можно подразделить на три типа:

*a)* **Привативными** называются оппозиции, один член которых характеризуется наличием, а другой — отсутствием признака, на­пример «звонкий — незвонкий», «назализованный — неназализо­ванный», «лабиализованный — нелабиализованный» и т.д. Член оппозиции, который характеризуется наличием признака, назы­вается «маркированным», а член оппозиции, у которого признак отсутствует, — «немаркированным». Этот тип оппозиций исклю­чительно важен для фонологии.

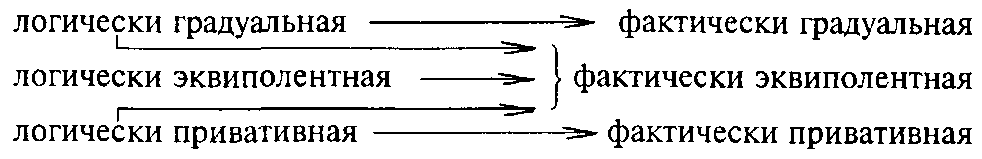
*б)* **Градуальными (ступенчатыми)** называются оппозиции, члены которых характеризуются различной степенью или градацией од­ного и того же признака; например, оппозиция между двумя раз­личными степенями раствора у гласных (ср. нем. *и—о, ü—ö, i—е*)или между различными ступенями высоты тона. Член оппозиции, которому присуще наличие крайней (минимальной или максималь­ной) степени данного признака, называется **крайним** или **внешним;** прочие члены являются **средними.** Градуальные оппозиции срав­нительно редки и не столь важны, как привативные.

*в)* **Эквиполентными (равнозначными)** называются такие оппо­зиции, оба члена которых логически равноправны, то есть не являются ни двумя ступенями какого-либо признака, ни утвержде­нием или отрицанием признака. Таковы, например, немецкие *p—t, f—k* и т.д. Эквиполентные оппозиции — самые частые оппозиции в любом языке.

Любая оппозиция, взятая изолированно, то есть в отрыве от контекста фонологической системы и в отрыве от функциониро­вания этой системы, является одновременно и эквиполентной и градуальной. Рассмотрим, например, противоположение звонких и глухих. Инструментальная фонетика учит, что согласные весьма редко бывают абсолютно звонкими или абсолютно глухими: в боль­шинстве случаев мы имеем дело лишь с различными степенями участия голоса. Звонкость связана с расслаблением мускулатуры в полости рта, глухость, наоборот, сопряжена с напряжением мус­кулатуры. Отношение между *d* и *t* (например, в русском и во фран­цузском) с чисто фонетической точки зрения является, таким образом, многозначным. Чтобы определить такое отношение как привативное, нужно, во-первых, обратить внимание лишь на один-единственный дифференциальный признак (например, на учас­тие голоса или на напряжение мускулатуры языка) и отвлечься от всех остальных и, во-вторых, малые степени данного качества счи­тать «равными нулю». Подобным же образом привативным будет и отношение между *и* и *о,* если рассматривать эти два гласных как две самые крайние степени раствора или сужения, а одну из этих степеней определять как «нулевую»: тогда либо *и* будет «неоткры­тым», а *о* — «открытым», либо, наоборот, *и* будет «закрытым», а *о* — «незакрытым» гласным заднего (лабиализованного) ряда. Но то же отношение превращается в градуальное, если только в сис­теме гласных данного языка есть еще один гласный, более откры­тый, нежели *о*: тогда *и* окажется крайним, а *о* — средним членом градуальной оппозиции.

Следовательно, определение той или иной фонологической оппозиции как эквиполентной, градуальной или привативной за­висит от избранной нами точки зрения. Не следует, однако, ду­мать, что такое определение является чисто субъективным и про­извольным. Сама структура и функционирование фонологической системы определяют в большинстве случаев совершенно однознач­ную и объективную квалификацию любой оппозиции. В том язы­ке, где помимо *и* и *о* имеются еще и другие гласные заднего ряда (или же задние и лабиализованные), степень подъема которых меньше, нежели у *о* (например, или *а*), оппозиция *и—о,* безус­ловно, **должна** быть определена как градуальная. В противополож­ность этому в языках, где *и* и *о* являются единственными гласны­ми заднего ряда, нет никаких оснований определять оппозицию *и—о* как градуальную. Оппозицию *t—d,* приведенную выше в каче­стве одного из примеров, следовало бы определить как градуаль­ную только в том случае, если бы в данной системе фонем был еще третий «дентальный» смычный, глухость которого (и сопро­вождающая ее напряженность мускулов языка) была бы большей и более явственной, нежели у *t* (или, наоборот, меньшей, нежели у *d*)*.* Там, где это условие отсутствует, нет никаких оснований для определения оппозиции *t—d* как градуальной. Если функциониро­вание системы фонем указывает на то, что *t* является немаркиро­ванным членом оппозиции *t—d,* то оппозицию **следует** опреде­лить как привативную; напряжение мускулов языка в этом случае нужно рассматривать как несущественный побочный признак, а степень участия голоса у *t* — как «нулевую»; следовательно, *t* надо считать «глухим», а *d —* «звонким». Но если по условиям функци­онирования системы фонем немаркированным членом окажется *d,* а не *t,* то несущественным будет участие голоса, а напряжение мускулов языка превратится в дифференциальный признак оппо­зиции; следовательно, *t* надо будет считать «напряженным», а *d —* «ненапряженным». Если, наконец, по условиям функционирова­ния системы фонем понятие беспризначности окажется неприме­нимым ни к *t*, ни к *d,* то оппозицию *d—t* надо будет считать экви­полентной.

Следовательно, включение той или иной конкретной оппози­ции в разряд градуальных или привативных зависит отчасти от структуры, отчасти от функционирования системы фонем. Одна­ко, помимо этого, в самой оппозиции должно содержаться нечто такое, что способствует ее определению как градуальной или при­вативной. Такая оппозиция, как *k—l,* ни при каких обстоятель­ствах не может быть ни привативной, ни градуальной, поскольку ее члены нельзя себе представить ни как утверждение или отри­цание, ни как две различные ступени одного и того же признака. Но оппозиция *и—о* **может** мыслиться и как привативная («закры­тый» — «незакрытый» или «открытый» — «неоткрытый») и как градуальная. Что же касается того, как ее **следует определить** фак­тически (как привативную, градуальную или эквиполентную), то это зависит уже от структуры и функционирования данной фоно­логической системы. Таким образом, наряду с **фактически** привативными или градуальными оппозициями можно еще различать **потенциально** или **логически** привативные и градуальные оппози­ции; равным образом наряду с фактически эквиполентными можно различать **логически** эквиполентные оппозиции. При этом логи­чески эквиполентные оппозиции являются всегда и фактически эквиполентными, но фактически эквиполентные оппозиции не всегда логически эквиполентны, иногда они логически привативны или логически градуальны. Схематически это можно предста­вить в следующем виде:



*В.* Классификация оппозиций **по объему их смыслоразличительнои силы или действенности в различных позициях: постоянные и нейтрализуемые оппозиции**

Под функционированием фонологической системы мы пони­маем допустимую для данного языка сочетаемость фонем, а также условия фонологической действенности отдельных оппозиций.

До сих пор мы говорили о фонемах, фонологических оппози­циях, системах оппозиций, отвлекаясь от фактического распреде­ления фонологических единиц при образовании слов и их форм. Между тем роль отдельных оппозиций в любом языке весьма раз­лична и зависит от объема различительной силы, которой они обладают во всех положениях. В датском языке æ и *е* возможны во всех мыслимых положениях: они образуют **постоянную** фонологи­ческую оппозицию, члены которой являются самостоятельными фонемами. В русском языке *е* возможно лишь перед *j* и перед мяг­кими согласными, в противоположность этому е встречается во всех других положениях; здесь, таким образом, *е* и *ε* являются взаимодополняющими звуками, и их следует рассматривать не как две самостоятельные фонемы, а как комбинаторные варианты од­ной фонемы. Но во французском языке *е* и *ε* как члены фонологической оппозиции возможны лишь в открытом исходе слова *(les— lait, allez— allait);* во всех прочих положениях наличие *е* или *ε* механически регулируется правилом: в закрытом слоге — *ε*, в открытом — *е;* следовательно, данные гласные надо определять как две фонемы лишь в открытом исходе слова, во всех остальных положениях их следует рассматривать как комбинаторные вариан­ты одной фонемы. Это значит, что во французском языке фоноло­гическое противоположение в известных положениях **нейтрализу­ется.** Такие оппозиции мы называем **нейтрализуемыми,** а положе­ния, при которых возникает нейтрализация, мы называем **положениями** или **позициями нейтрализации;** положения же, при которых оппозиция сохраняет свою значимость, — **положениями** или **позициями релевантности. <...>**

Прежде всего необходимо четко ограничить рассматриваемое понятие. «Нейтрализоваться» могут не все виды фонологических оппозиций. В тех положениях, где способное к нейтрализации про­тивоположение действительно нейтрализуется, специфические при­знаки членов такого противоположения теряют свою фонологичес­кую значимость; в качестве действительных (релевантных) остаются только признаки, являющиеся общими для обоих членов оппози­ции (иными словами, основание для сравнения в данной оппозиции). В позиции нейтрализации один из членов оппозиции становит­ся, таким образом, представителем **«архифонемы»** этой оппозиции (под архифонемой мы понимаем совокупность смыслоразличительных признаков, общих для двух фонем). Из этого следует, что нейт­рализоваться могут только одномерные оппозиции. В самом деле, ведь только оппозиции такого рода имеют архифонемы, которые могут быть противопоставлены всем прочим фонологическим еди­ницам данной системы, а такое противопоставление вообще являет­ся основным условием фонологического бытия. Когда одномерная оппозиция *d—t* нейтрализуется в исходе слов немецкого языка, то член оппозиции, выступающий в позиции нейтрализации, пред­ставлен не звонким и не глухим, а «неносовым дентальным смыч­ным вообще» и как таковой противостоит, с одной стороны, носо­вому дентальному *n*, а с другой стороны, неносовым лабиальным и гуттуральным смычным. В противоположность этому то обстоятель­ство, что *t* и *d* невозможны в начале слова перед *l*, а *b* и *р* в таком положении возможны, не ведет к нейтрализации оппозиций *d—b* и *p—t:* в таком слове, как *Blatt* «лист», начальное *b* сохраняет все свои признаки: оно остается лабиальным звонким и не может рассматриваться как представитель архифонемы в оппозиции *d—b,* ибо фонологическим содержанием такой архифонемы мог бы быть только «звонкий вообще», а *b* в слове *Blatt* не воспринимается как таковой, поскольку *g* в слове *glatt* «гладкий» тоже является звонким. Следовательно, подлинная нейтрализация, благодаря которой один из членов оппозиции становится представителем архифонемы, воз­можна лишь при одномерных фонологических оппозициях. Но из этого отнюдь не следует, что все одномерные оппозиции способны нейтрализоваться наделе: почти в каждом языке имеются постоян­ные одномерные оппозиции. Если, однако, в языке есть нейтрали­зуемая оппозиция, она всегда одномерна.

Что выступает в качестве архифонемы в нейтрализуемой оппо­зиции? Здесь возможны четыре случая.

***Первый случай.*** Представитель архифонемы не совпадает ни с одним из членов нейтрализуемой оппозиции.

*а*) Он реализуется в таком звуке, который, будучи фонетичес­ки родственным обоим членам оппозиции, тем не менее не совпа­дает ни с одним из них. В русском языке противоположение пала­тализованных лабиальных и непалатализованных нейтрализуется перед палатализованными дентальными, в позиции нейтрализа­ции в этом случае выступает особый «полупалатализованный» ла­биальный. В английском, где противоположение звонких слабых *b, d, g* и глухих сильных *р, t, k* нейтрализуется в положении после *s,* в этой позиции выступает особый глухой слабый. В некоторых баварско-австрийских диалектах, где противоположение сильных и слабых нейтрализуется в начале слова, в этой позиции выступает особый «полусильный» или «полуслабый». Число примеров подоб­ного рода не трудно умножить. Во всех этих случаях архифонема представлена звуком, промежуточным между обоими членами оп­позиции.

*б*) Несколько иначе обстоит дело там, где представитель архи­фонемы, помимо черт, общих с членами оппозиции, обнаружи­вает дополнительно специфические, ему одному свойственные черты. Последние являются результатом сближения с фонемой, рядом с которой имела место нейтрализация. Так, например, в пекинском диалекте китайского языка оппозиция *k—c* нейтрали­зуется перед *i* и перед *ü*, причем в качестве представителя архифо­немы выступает палатальное č', в языке ями (на острове Тобаго) мягкое *lj* перед *i* заменяет архифонему в оппозиции «дентальное *l* — какуминальное *l* » <...>

Во всех этих случаях (то есть и в случаях типа *а* и в случаях типа *б*) звук, который появляется в позиции нейтрализации, представ­ляет собой своего рода комбинаторный вариант как первого, так и второго члена оппозиции. Хотя такие случаи замещения архифо­немы звуком, который не совпадает полностью ни с одним из членов оппозиции, весьма часты, они встречаются все же реже, чем те случаи, когда звук, выступающий в позиции нейтрализа­ции, оказывается более или менее сходным с определенным чле­ном оппозиции в релевантной позиции.

***Второй случай.*** Представитель архифонемы совпадает с одним из членов оппозиции, причем выбор представителя архифонемы обусловлен *извне.* Это возможно лишь в тех случаях, когда нейтра­лизация оппозиции зависит от соседства с какой-либо фонемой; член оппозиции, «сходный», «родственный» или полностью со­впадающий с соседней фонемой, становится представителем ар­хифонемы. Во многих языках, где противоположение *звонких* и *глухих* (или напряженных и ненапряженных) шумных нейтрализуется перед шумными того же способа образования, перед звонкими (или ненапряженными) могут быть только звонкие шумные, а перед глухими (или напряженными) — только глухие. В русском языке, где противоположение палатализованных и непалатализо­ванных согласных нейтрализуется перед непалатализованными ден­тальными, в этом положении могут быть только непалатализован­ные согласные. В таких случаях (а они относительно редки) выбор члена оппозиции в качестве представителя архифонемы обуслов­лен *чисто внешними обстоятельствами* (свойством позиции ней­трализации).

***Третий случай.*** Выбор члена оппозиции в качестве представи­теля архифонемы обусловлен *изнутри.*

*а)* В этом случае в позиции нейтрализации появляется один из членов оппозиции, выбор которого не стоит в связи со свойствами позиции нейтрализации. Однако, поскольку один из членов оппози­ции выступает в этом положении в качестве представителя соответ­ствующей архифонемы, его специфические черты становятся несу­щественными, тогда как специфические черты его партнера по оп­позиции полностью сохраняют свою фонологическую релевантность. Таким образом, первый член оппозиции оказывается «архифоне­мой + нуль», а второй, в противоположность первому,— «архифо­немой + определенный признак». Иными словами, тот член оппози­ции, который оказывается возможным в позиции нейтрализации, с точки зрения соответствующей фонологической системы явля­ется **немаркированным,** тогда как другой, противоположный ему член является **маркированным.** Само собой разумеется, что это мо­жет иметь место только в том случае, если нейтрализуемое проти­воположение логически привативно. Однако большинство нейтра­лизуемых оппозиций принадлежат к этому классу, являясь противоположениями немаркированного и маркированного членов, причем тот член оппозиции, который выступает в позиции ней­трализации, оказывается немаркированным.

*б*) Если, однако, нейтрализуемая оппозиция является не при-вативной, а градуальной (например, противоположение различ­ных степеней подъема у гласных или различных степеней высоты тона), то в позиции нейтрализации всегда выступает **«внешний»,** или **«крайний»,** член оппозиции. В болгарском языке и в новогре­ческих диалектах, где противоположения *и—о* и *i—e* нейтрализу­ются в безударных слогах, максимально узкие (собственно, мини­мально широкие) *и* и *i* служат представителями соответствующей архифонемы. В русском языке, где противоположение *о—а* нейтра­лизуется в безударных слогах, максимально широкое (собственно, минимально узкое) *а* представляет соответствующую архифонему в непосредственно предударном слоге. В ламба (один из языков банту в Северной Родезии), где противоположение низкого и сред­него тона нейтрализуется в исходе слова, в позиции нейтрализа­ции (то есть в последнем слоге) допускается лишь низкий тон. Можно привести немало примеров этого рода. Причина данного явления предельно ясна. Мы уже отмечали, что оппозиция может рассматриваться как градуальная только в том случае, когда в дан­ной фонологической системе есть дополнительный элемент, ко­торый представляет собой еще одну ступень того же признака. При этом такая ступень всегда должна быть выше, чем ступень «сред­него» члена оппозиции: *i* и *е* образуют градуальную оппозицию, поскольку в данной системе гласных есть еще один гласный, сте­пень раствора которого больше, чем у *е.* Следовательно, «край­ний» член градуальной оппозиции, как правило, имеет **минималь­ную** ступень соответствующего признака, тогда как «средний» член той же оппозиции превышает данный минимум и, таким образом, может быть представлен как «минимум + нечто еще от того же само­го признака». А так как архифонема должна содержать только общее для обоих членов оппозиции, то она может быть представлена лишь «крайним» членом такой оппозиции. <...> Если нейтрализуемая оп­позиция логически эквиполентна, то обусловленный внутренними причинами выбор представителя архифонемы оказывается невоз­можным. Однако следует заметить, что нейтрализация логически эквиполентных оппозиций вообще редкий случай.

***Четвертый случай.*** Оба члена оппозиции замещают архифоне­му: один член — в одних позициях нейтрализации, другой — в других. Этот четвертый случай логически противоположен пер­вому (где ни один из членов не является представителем архифо­немы). В чистом виде рассматриваемый случай наблюдается очень редко. Тогда он представляет собой простую комбинацию второго и третьего. Так, например, в японском языке противоположение смяг­ченных (с окраской *i* или *j*) и несмягченных согласных нейтрализу­ется перед *е* и *i,* причем смягченные согласные замещают соответ­ствующую архифонему перед *i*, а несмягченные— перед *е:* ясно, что здесь выбор представителя архифонемы обусловлен в одном случае (перед *i*) внешними обстоятельствами, в другом случае (перед *е) —* внутренними. Имеются, однако, случаи, где такая интерпретация оказывается невозможной. В немецком языке оппозиция *ss—sch* ней­трализуется перед согласными, причем *sch* является представителем архифонемы в начале корня, a *ss —* в середине и исходе его. О том, что выбор представителя архифонемы обусловлен извне, не может быть и речи; тем более не может быть речи о внутренней обуслов­ленности, поскольку оппозиция здесь эквиполентна. В других случа­ях различные позиции нейтрализации с фонологической точки зре­ния не являются вполне равнозначными, почему и оба представите­ля архифонемы не могут рассматриваться как равнозначные. Так, например, в немецком языке противоположение «глухого *ss*» и «звон­кого *s*» нейтрализуется как в начале корня, так и в исходе морфемы, причем в качестве представителя архифонемы выступают в начале корня «звонкое *s»,* в исходе — «глухое *ss*»*.* Но исход слова в немец­ком представляет собой позицию минимального различения фонем: в этом положении нейтрализуются оппозиции *p*— *b, k—g, t—d, ss—s, f—w,* а равным образом и количественные противоположения глас­ных. Из 39 фонем немецкого языка здесь возможно всего лишь 18, тогда как в начале слова их 36 (*a*, *ah, äh, au, b, ch, d, е, eh, ei, eu, f, g, h, i (j), ih, k, l, m, n, о, ö, öh, oh, p, pf, r, s, sch, t, u, ü, üh, uh, w,* z). Ясно, что при таких обстоятельствах представитель архифонемы в начале слова должен рассматриваться как «более подлинный». И поскольку в случае с «глухим *ss»* и «звонким *s»* речь идет о логически привативной оп­позиции, то ее можно было бы рассматривать как фактически при-вативную, а «звонкое *s» —* как ее немаркированный член.

Следовательно, встречаются случаи, когда нейтрализация при­вативной оппозиции ясно и объективно показывает, какой член этой оппозиции является немаркированным, а какой — маркиро­ванным: в «третьем случае» немаркированный член нейтрализуе­мой оппозиции служит единственным представителем архифоне­мы, а в «четвертом случае» — представителем архифонемы в поло­жении максимального фонеморазличения.

Иногда нейтрализация оппозиции дает указания на маркиро­ванный характер члена другой оппозиции. В самом деле, часто оппозиция нейтрализуется в соседстве с маркированным членом родственной оппозиции. Например, в арчинском языке противо­положение лабиализованных и нелабиализованных согласных ней­трализуется перед *о* и *u;* это указывает, что *о* и *u* являются марки­рованными членами оппозиций *о—е, u—i.*

Благодаря нейтрализации логически привативные оппозиции становятся фактически привативными, а различие между немар­кированными и маркированными членами оппозиции получает объективную основу.

*Г. Глисон* Введение в дескриптивную лингвистику\*

Глава XII **Фонема**

**1.** <...> Мы рассмотрели согласные английского языка и уста­новили, что число их равно 24. Среди них был согласный, кото­рый мы решили обозначить условным знаком /k/. Этот звук слы­шится, например, в таких английских словах, как *key* «ключ», *sky* «небо» и *caw* «карканье».\*\* К установлению данного звука мы при­шли двумя путями: один из них был освещен нами весьма подроб­но, а другой лишь подразумевался. Первый путь заключался в отыс­кании примеров, в которых звук /k/ в одном из его проявлений был бы четко противопоставлен разным другим звукам. Была при­ведена пара *key* и *tea* «чай», которая позволила нам установить, что /k/ и /t/ — это различные фонемы. Для подтверждения того, что /k/ так же четко отличается и от каждой из остальных двадцати трех согласных английского языка, можно найти другие пары. <...>

\* *Глисон Г.* Введение в дескриптивную лингвистику/Перевод с англ. М., 1959. С. 224-237.

\*\* Переводы добавлены составителями.

При этом молчаливо подразумевалось, что звук, обозначен­ный нами как /k/ в *key* /kíy/, в каком-то смысле «тот же», что и звуки, которые мы обозначили как /k/ в *ski* /skíy/ «лыжа» и *caw* /эн/. Американцу это кажется само собой разумеющимся, но для говорящего на другом языке это далеко не столь очевидно. Так, например, для араба звуки /k/ в *key* и *ski* были бы, вероятно, одинаковыми, но соответствующие звуки в *key* и *caw* показались бы совершенно разными. Говорящему на хинди, напротив, звуки /k/ в *key* и *caw* казались бы, по-видимому, одинаковыми, но отож­дествление звуков в *ski* и *key* вызывало бы у него возражение. Оче­видно, на данной ступени анализа исследователь во многом зави­сит от своих языковых навыков. Если же лингвист хочет дать объек­тивный анализ фонем какого-либо языка, приемы его исследования должны быть свободными от влияния моделей его родного языка.

Метод, примененный нами <...>, базировался на таком опре­делении фонемы, какое <... > вполне нас удовлетворяло. Однако это определение считалось пригодным для установления фонемы лишь тогда, когда два звука были различными, но оно оказыва­лось абсолютно неприменимым в тех случаях, когда два звука были сходными. Следует поэтому прежде всего пересмотреть определе­ние фонемы с более широкой точки зрения. <...>

**2. Фонема** — это класс звуков. Легко продемонстрировать, что, например, /k/ в *key* отличается от /k/ в *ski* и *caw* и что /k/ в этих последних словах также различны. Но возможность вариаций в пре­делах одной фонемы этим далеко не исчерпывается. Некоторые другие фонемы варьируют настолько широко, что никакое фоне­тическое описание их невозможно без указания на это качество. В английском языке нет ни одной фонемы, которая была бы оди­наковой во всех окружениях, хотя можно и не заметить вариантов многих фонем (особенно легко ускользают они из поля зрения у говорящего на своем родном языке). С другой стороны, поскольку фонематические модели разных языков неодинаковы, иностранца часто поражают те различия, которых не слышит говорящий на данном языке.

**3.** Легче всего понять эту особенность фонемы, кратко описав, как приобретает способность слышать и воспроизводить фонемы своего родного языка ребенок. Речевой аппарат человека способен производить огромное количество разнообразных звуков, отлича­ющихся друг от друга многими признаками. Вначале ребенок не придает им никакого значения и просто лепечет, произнося все возможные звуки, которые он только способен выговорить. По­степенно он начинает различать некоторые звуки из своего запаса и понимать полезность ряда звуковых последовательностей. Ни одна из них не произносится с большой точностью или последователь­ностью, тем не менее некоторые различия им все же устанавлива­ются. Так ребенок начинает говорить. Этот процесс заключается не в приобретении способности произносить звуки, но в приобрете­нии умения их различать.

Моя дочь довольно рано научилась различать лабиальные и не­лабиальные взрывные. Позже она стала различать глухие и звонкие взрывные. Различие же между /k/ и /t/ пришло, однако, гораздо позднее. Эти звуки не различались ею в течение довольно долгого периода, хотя в то же время она различала уже столько других фонем, что ее речь была понятна по крайней мере ее родителям. Звуки, похожие на [t], встречались несколько чаще, чем звуки, похожие на [k], но встречались и последние, как, впрочем, и раз­личные промежуточные звуки. Так, *cake* «пирожное» звучало обычно как /téyt/, а иногда как /kéyt/, /téyk/ или даже /kéyk/. Эти звуча­ния воспринимались взрослыми как различные, но, по-видимому, для нее они были одинаковыми. Иными словами, с ее точки зрения, во всех этих случаях здесь произносился один глухой нела­биальный взрывной /Т/, который мог звучать как [t] и [k] или как разные другие звуки, и *cake* произносилось как /ТéуТ/. Разумеет­ся, *take* «брать», *Kate* и *Tate* «собственные имена» (все эти слова были в ее словаре) произносились ею одинаково, т.е. с одинако­выми видоизменениями, и поэтому смешивались. Через некоторое время ребенок обнаружил различие между данными звуками и со все возрастающей точностью стал разграничивать эти четыре про­изношения, употребляя их уже правильно. Когда разграничение стало таким же регулярным и последовательным, как в речи взрос­лых (мы все иногда оговариваемся!), ее старая фонема /Т/ уступи­ла место /k/ и /t/. Она совершила еще один шаг по пути к овладе­нию фонематической моделью английского языка взрослых.

Отметим, что процесс заключался в простом делении всех не­лабиальных глухих взрывных на два звука. Каждый их них продол­жал свое существование в виде целого ряда вариантов, то есть как класс звуков. Более крупные классы звуков заменялись меньши­ми, но до отдельных звуков дело не доходило. Уже по одной этой причине фонему следует признать классом звуков, но, как мы уви­дим дальше, для этого есть и другие бесспорные основания.

**4.** Стимулом к усвоению различий между /k/ и /t/ была прежде всего необходимость в различении таких слов, как *cake, take, Kate и Tate,* и многих других минимальных пар или рядов. Если таких различий не проводить, язык оказывается гораздо менее эффек­тивным орудием, чем он есть на самом деле. Достаточно частое повторение «правильного» <...> произношения поможет закре­пить различия между звуками в речи ребенка. Тем не менее звук /k/ будет и в конечном итоге представлен весьма широким рядом звуков, который, однако, уже не будет делиться дальше, поскольку здесь отсутствует стимул, вызвавший дифференциацию /t/ и /k/: в английском языке нет минимальных пар для каких-либо двух [k]-подобных звуков. Процесс деления на этом, таким образом, прекращается; реакция говорящих на весь ряд [k]-подобных зву­ков одинакова, т.е. эти звуки продолжают составлять одну фо­нему.

Если бы ребенок усваивал арабский язык, результат был бы иным. Арабский ребенок мог бы пройти все те же ступени и дойти до фонемы /К/, которая охватывала бы примерно тот же круг зву­ков, что и английское /k/, но процесс бы на этом не закончился. В арабском языке имеется большое количество минимальных пар, в которых противопоставляются две разновидности [k]-подобных звуков. Их можно изобразить как /k/ и /q/. /k/ — звук более перед­ний, /q/ — более задний. Наличие таких пар, как /kalb/ «собака»: /qalb/ «сердце», заставило бы ребенка рано или поздно разделить его младенческую фонему /К/ на два ряда звуков — /k/ и /q/. Хотя вариантность арабских /k/ и /q/ по сравнению с английским /k/ более ограничена, оба эти звука, как и все фонемы, представляют собой классы звуков.

Слушая английскую речь, араб, возможно, отождествит звук /k/ в английском *key,* поскольку он более передний, со своим звуком /k/, а звук /k/ в *caw* со своим /q/, поскольку он более задний. (На самом деле арабские /k/ и /q/ отнюдь не тождественны двум разновидностям английского /k/.) А это приведет к тому, что араб откажется признать тождественными начальные соглас­ные этих слов. Короче говоря, воспринимая английскую речь, он слышит, по крайней мере частично, фонемы арабского, а не анг­лийского языка.

Говорящий на хинди вряд ли услышит какое-либо различие между согласными в *key* и *caw,* поскольку модели его языка не вынуждают его проводить такое различие. В хинди, однако, существует противо­поставление между аспирированными взрывными, например /kh/, и неаспирированными — /k/. Это можно видеть из таких пар, как /khiil/ «пересохшее зерно»: /kiil/ «ноготь», и многих других. Поскольку начальное /k/ в *key* произносится обычно с придыханием, говоря­щий на хинди приравняет его к своему kh/, в то время как в *ski* он услышит звук, похожий на его /k/. Он может, следовательно, не согласиться с тем, что эти два звука одинаковы.

**5.** В процессе изучения второго языка необходимо, с одной сто­роны, научиться проводить различия (как в речевой деятельнос­ти, так и в восприятии речи), которые являются фонематически­ми в новом языке, а с другой стороны — не обращать внимания на те различия, которые в новом языке несущественны, даже если они были фонематическими в родном языке. Часто в двух языках используются звуки, весьма близкие, но организованные в две совершенно разные фонетические системы. Научиться по-новому использовать старые звуки гораздо труднее и важнее, чем усвоить совершенно новые звуки. К сожалению, эта часть работы зачастую недооценивается, и лишь немногие изучающие иностранные язы­ки отдают себе отчет в ее значении и важности. Слишком часто учебники усложняют дело, приводя такие описания звуков, кото­рые только сбивают с толку. Так, нередко утверждается, что франц. /i/ произносится как *i* в *machine,* в то время как для большинства американцев оно звучит как /iy/. В действительности оно никогда не произносится так во французском языке, хотя для большин­ства американцев франц. /i/ очень похоже на их собственное /iy/.

В лучшем случае такое произношение сразу выдает иностранца, плохо владеющего французским языком, в худшем — оно совер­шенно непонятно. Как правило, фонематические системы разных языков несопоставимы и несоизмеримы. Иными словами, фоне­матическую систему одного языка нельзя точно описать с помо­щью фонем другого языка, нельзя дать даже первого чернового ее описания.

**6.** <...> Необходимо внести какой-то объективный критерий для установления ряда звуков, которые можно объединить в одну фонему. Существует два таких критерия, и оба они обязательны: 1) звуки должны быть фонетически сходными <...>; 2) звуки дол­жны характеризоваться определенными моделями дистрибуции в изучаемом языке или диалекте. Две такие модели будут указаны ниже. В сущности, они представляют собой такие типы дистрибу­ции, при которых существование минимальных пар невозможно. Наличие минимальных пар показало бы, что данные два звука являются представителями разных фонем. Если два звука встреча­ются в такой дистрибуции, которая вообще допускает минималь­ные пары (независимо от того, существуют ли они на самом деле или нет), уже это придает различению данных звуков функцио­нальный характер и служит достаточным основанием для того, чтобы считать это противопоставление фонематическим.

**7. Фонема** — это класс звуков, которые: 1) фонетически сход­ны и 2) характеризуются определенными моделями дистрибуции в изучаемом языке или диалекте. Отметим, что данное определе­ние применимо только к одному языке или диалекту. Так, фонемы /р/ *вообще* не существует. Существует, однако, фонема /р/ в анг­лийском языке. Точно так же существует фонема /р/ в хинди и т.п. Эти фонемы ни в коей мере не идентичны. Каждая из них — эле­мент определенного языка и не имеет никакого отношения к лю­бому другому языку.

**8.** Простейшей моделью дистрибуции является **свободное варь­ирование.** Работа органов речи человека отличается поразительной точностью, но все же она далеко не совершенна. Например, если один и тот же говорящий произносит слово *key* раз сто, то при сравнении звуков /k/ окажется, что среди них нет даже двух оди­наковых. Однако все они будут тяготеть к каким-то определенным общим признакам. Иными словами, всем им будет присуща какая-то средняя продолжительность затвора. В большинстве случаев про­должительность затвора будет приближаться к этой средней вели­чине, но иногда и отклоняться от нее. Звуки будут различаться также и по степени аспирации: чаще всего преобладает средняя степень аспирации, хотя некоторые из звуков могут быть более, а другие менее аспирированными, чем основная масса звуков, и т.д. Каждый из таких признаков можно изобразить в виде обычной конусообразной кривой. Кривые показывают границы и природу видоизменений произношения /k/ в *key* у одного говорящего.

Границы отклонений чаще всего незначительны, собственно говоря, они в действительности настолько малы, что их может установить лишь специальный прибор или опытный фонетист, работающий в идеальных акустических условиях. Но иногда сте­пень отклонения настолько велика, что она легко воспринимается на слух и ее необходимо учитывать при фонематическом анализе.

Совершенно очевидно, что те фонетические различия, которые не проводятся последовательно, не являются лингвистически зна­чимыми. Какие-либо два звука, находящиеся всегда в отношении свободного варьирования, не могут быть двумя фонемами, но лишь двумя разными звуками в ряду звуков, образующих одну фонему.

**9.** Рассматривая свободное варьирование, мы сознательно выб­рали в качестве примера многочисленные повторения одного и того же слова. Изучив сто случаев /k/ в *key,* мы можем проделать такой же опыт с /k/ в слове *ski,* повторив его сто раз. При этом мы обнаружим, что каждый из акустических признаков, присущих /k/, также варьируется. Но границы отклонений, устанавливаемые этими двумя опытами, не одинаковы. Некоторые из признаков /k/ будут различаться не только средними величинами, но и степенью от­клонения от этих средних величин.

Более того, некоторые из этих различий без труда будут обна­ружены лингвистом или <...> даже простым говорящим на хинди. Наиболее заметное различие — различие в аспирации. При всем различии в степени аспирации в *key* она всегда колеблется здесь от средней до сильной; в *ski* она колеблется от слабой до полного ее отсутствия. Есть все основания считать эти два случая разными рядами вариантов. Почему же тогда мы не встречаем минимальных пар с этими звуками?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно хотя бы приблизи­тельно измерить аспирацию в большом числе фонем /k/ в самых различных словах. Ограничившись для простоты начальным поло­жением /k/, мы обнаружим, что /k/, следующее за /s/, бывает всегда либо лишенным аспирации, либо слабо аспирированным. В то же время /k/, не следующее за /s/, аспирировано всегда уме­ренно или сильно. Если это так, то совершенно очевидно, что минимальные пары невозможны. Два [k], следовательно, квали­фицируются как представители одной фонемы.

Дистрибуция, которую мы только что кратко охарактеризова­ли, известна как дополнительная дистрибуция. Это самый важный, по крайней мере практически, тип дистрибуции, который служит вторым критерием для определения фонемы (см. определе­ние, приведенное в данной главе). Мы говорим, что звуки нахо­дятся в отношении **дополнительной дистрибуции,** когда каждый из них встречается в определенных, закрепленных за ним окружени­ях, в которых другие звуки не встречаются. В фонологии следует учитывать только фонологические, но не морфологические окру­жения. Так, англ. [k=] (неаспирированное) и [kh] (с аспирацией) стоят в отношении дополнительной дистрибуции, поскольку [k=] встречается в группах согласных с /s/, таких, как в *ski* [sk=iy], в группе согласных перед другим взрывным в середине и в конце слова, как в *act* [æk=th] «действие», а также не в начальном поло­жении перед гласным со слабым ударением, как в *hiccup* [hík=р] «икание». <...> [kh] встречается в большинстве других окружений, но никогда не появляется в окружениях, установленных для [k=]. Этим, разумеется, не исчерпываются все возможные вариации /k/: для полноты освещения, кроме аспирации, нам следовало бы учесть и другие типы различий.

**10.** Любой звук или подкласс звуков, который находится в от­ношении дополнительной дистрибуции с другим звуком или под­классом звуков так, что вместе они составляют одну фонему, называется **аллофоном** этой фонемы. Фонема, следовательно, — это класс аллофонов. Ряды звуков со свободным варьированием представляют собой аллофоны.

**11.** Говорящие на одном и том же диалекте проводят обычно одни и те же фонематические различия и одинаково распределяют аллофоны в пределах каждой фонемы. В § 3 наст. гл. мы показали, как ребенок учится различать необходимые фонематические при­знаки и только их. Но это еще не объясняет, почему два говорящих имеют одинаковую дистрибуцию аллофонов, и не объясняет даже того, почему, собственно, один говорящий последователен в ис­пользовании тех или иных аллофонов. Без этой последовательнос­ти дополнительная дистрибуция была бы просто фикцией. <...>

Прежде всего в ряде случаев дистрибуция аллофонов обуслов­лена отчасти физиологическими факторами или, по крайней мере, в значительной степени зависит от них. Так, например, в англий­ском языке передние аллофоны /k/ используются по соседству с гласными переднего ряда, как в слове *key,* а задние аллофоны /k/ — по соседству с гласными заднего ряда, как в слове *caw.* Вполне логично предположить, что это диктуется экономией дви­жений. Вероятно, стремление к экономии может отчасти служить объяснением, но, разумеется, не полностью. В языке лома, на­пример после /k g ŋ/, которые сами, видимо, редко бывают на­столько передними, как /k/ в англ. *key,* встречаются средние или более задние аллофоны гласных переднего ряда. Так, например, в языке лома /е/, которое обычно произносится почти как англ. /i/, в сочетании /ke/ очень похоже на англ. /i-/. <...> Два других глас­ных переднего ряда — /i/ (более закрытое, чем /е/) и /е/ (очень похожее на английское /е/) — в языке лома также имеют аллофо­ны среднего ряда. Таким образом, в английском языке, вероятно, наблюдается аккомодация положения языка при произнесении /k g ŋ/ в зависимости от гласных, в языке лома — наоборот: поло­жение языка при произнесении гласных обусловливается соглас­ными /k g ŋ/.

Однако экономией движений нельзя объяснить всех случаев появления аллофонов. Этим нельзя объяснить, например, почему неаспирированные аллофоны /р t k/ встречаются после /s/. По всей вероятности, это связано в основном просто с традиционны­ми языковыми навыками англичан. Подобному произношению один говорящий учится у другого, и оно, по-видимому, передавалось от поколения к поколению на протяжении всей истории. <...> Все дело в единых для общества традициях. Если произношение одно­го человека отличается от произношения его соотечественников, его поймут, но его общественная репутация пострадает. Человек, который произносит *key* как [k=iy] или *ski* как [skhiy], покажется «смешным». По крайней мере так обстоит дело с произношением [skhiy]. [k=iy] же может даже оказаться трудным для понимания, поскольку его легко спутать с /giy/.

Правильное использование аллофонов более важно в социаль­ном плане, чем в языковом. Представляющие несомненный интерес по многим практическим соображениям и для лингвиста аллофоны располагаются где-то на краю области его исследования и в извест­ной мере являются чем-то внешним по отношению к языку.

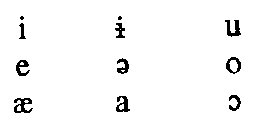
Совершенно очевидно, что правильное использование алло­фонов обязательно для любого, кто изучает иностранный язык с целью говорить на нем. Чтобы быть понятым, он должен научиться произносить все фонемы и использовать такие аллофоны, кото­рые достаточно близки к общепринятым в этом языке и не вызо­вут недоразумений. Если он стремится к тому, чтобы быть поня­тым и только, ему больше нечего беспокоиться об аллофонах. Но если он хочет произносить так, как произносят сами говорящие на этом языке, он должен научиться употреблять аллофоны так, как это принято в изучаемом им языке. Без сознательного подхода к проблемам, связанным с фонемой, такого умения может до­биться лишь человек, обладающий исключительными способнос­тями подражания. <...>

**12.** Из двух критериев подведения аллофонов под одну фонему первый, т.е. фонетическое сходство, может быть применен <...> безотносительно к реальному использованию определенных зву­ков в любом конкретном языке. Так, можно утверждать, что звон­кие и соответствующие им глухие звуки — фонетически сходны, независимо от языка, в котором они встречаются. Это еще не дела­ет их одной фонемой, так как необходимо учитывать оба критерия. Однако сходство — понятие относительное. Нельзя сказать, что звуки одинаковы или неодинаковы, — они могут быть лишь более или менее сходными. Какая степень близости двух звуков требуется для отнесения их к одной фонеме, можно установить только исхо­дя из фонологической системы языка в целом. Если в каком-либо языке фонемы имеют и глухие и звонкие аллофоны, тогда и лю­бую другую пару звонких и глухих звуков можно считать одной фонемой. И наоборот, если в том или ином языке глухие и звон­кие обычно противопоставляются, есть все основания считать, что и другие пары звонких и глухих также воспринимаются в этом языке как различные фонемы. Подобная относительность вносит в анализ звуков известную долю субъективизма. <...>

**13.** Второй критерий подведения аллофонов под одну фоне­му — невзаимоисключающая дистрибуция — имеет значение только применительно к определенному языку или диалекту. Этот крите­рий гораздо более объективен, чем критерий фонетического сход­ства. Однако и тут существуют свои трудности. Так, исчерпываю­щую картину дистрибуции любого данного звука можно получить только в результате исследования языка в целом. Совершенно оче­видно, что это невозможно. Практически мы определяем дистри­буцию в пределах какого-нибудь отрезка речи. <...>

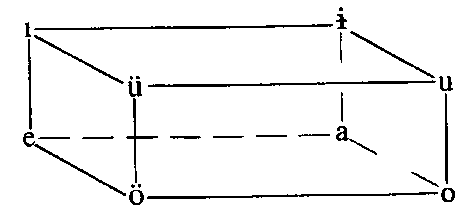
Чем шире используемый материал, тем менее вероятно, что новый материал опровергнет наши прежние выводы. Вот почему необходимо работать с материалом достаточно обширным, чтобы сделать вероятность ошибки возможно меньшей. При наличии ши­рокого языкового материала можно прийти к таким заключениям, которые и после привлечения дополнительных фактов сохранят свою силу. Необходимо также, чтобы используемый материал был пока­зателен для исследуемой языковой формы. Наконец, последнее — после того как материал собран, его нужно надлежащим образом использовать: ничто в нем не должно быть оставлено без внимания, каким бы заманчивым это ни казалось. <...>

**14.** Описывая систему гласных английского языка с точки зре­ния их артикуляции, мы обнаружили, что девять гласных группи­руются в зависимости от двух основных признаков следующим образом:



Симметрия в их расположении затрагивает не только фонети­ческую сторону данных фонем. Между фонемами существуют и разносторонние функциональные взаимосвязи, отражающие, ви­димо, ту же модель. Вот почему мы можем рассматривать фонемы не только как противостоящие друг другу единицы, но и как эле­менты системы.

В некоторых других языках функциональные связи в фонемати­ческой системе выявляются более наглядно. Так, например, глас­ные в турецком языке различаются по трем признакам: они или относительно передние, или относительно задние; относительно узкие или относительно широкие; относительно лабиализованные или относительно нелабиализованные. Возможны все комбинации этих признаков, так что в общем система состоит из восьми глас­ных, что удобно представить в виде куба с гласной в каждом из его углов.



К такой аранжировке гласных мы можем прийти не только исходя из артикуляции звуков, но и даже, более точно, исходя из морфо-фонематических связей. Так, /i ü u/ сходны не только по­тому, что все они сравнительно узкие, но и потому, что каждый суффикс, содержащий один из этих гласных, имеет алломорфы, содержащие и другие из этих четырех гласных. Такие аффиксы на­зываются поэтому аффиксами с узкими гласными. Алломорфы та­ких суффиксов видоизменяются в зависимости от гласного преды­дущего слога: /i е/ обусловливают /i/; /ü ö/ обусловливают /ü/; / а/ обусловливают //; /u о/ — /u/. В результате выделяются четы­ре группы гласных: передние нелабиализованные, передние лаби­ализованные, задние нелабиализованные и задние лабиализован­ные. Вторая группа суффиксов содержит либо /е/, либо /а/ — ши­рокие нелабиализованные гласные, /е/ встречается после любого из передних гласных / ü е ö/, /а/— после любого гласного заднего ряда /i u а о/. Таким образом, расположение гласных турецкого языка (в диаграмме) в виде куба отражает как структурные связи между гласными, так и их фонетический характер. Диаграмма на­глядно показывает, что турецкие гласные — это такие единицы системы, взаимосвязи которых имеют первостепенное значение в языке.

Фонемы какого-либо языка — это не просто отдельные едини­цы, выявляемые и описываемые каждая отдельно. А если это так, то третье определение фонемы можно сформулировать следующим образом: **фонема** — один из элементов звуковой системы языка, находящийся в определенных взаимосвязях с каждым из других элементов этой системы. Эти взаимосвязи могут быть различными. Они могут отражаться в морфо-фонематических чередованиях, в возможности определенных последовательностей фонем в преде­лах морфемы или в функциях данных единиц в пределах отрезков речи. Сама система может быть весьма четко очерченной или более расплывчатой и неопределенной, но связи подобного рода в изве­стной степени всегда налицо.

**15.** Все три определения фонемы (по признаку противопостав­ления фонем, по отсутствию противопоставлений составляющих их классов звуков и по наличию систематических связей между ними) дополняют друг друга. Ни одно из них не дает полного пред­ставления о сущности или значении фонемы. Вместе взятые, они оказываются вполне пригодными и для элементарного лингвисти­ческого курса и <...> для самых специальных исследований. <...>

III Морфология и синтаксис

Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительное языковедение. Общий курс\*

**ЗАДАЧИ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ И СВЯЗЬ ЕГО С ДРУГИМИ НАУКАМИ**

Задача моего курса — дать общее введение в изучение той науки, которая называется языковедением, сравнительным языковедени­ем, лингвистикой.\*\* Предметом, изучаемым в языковедении, являет­ся не один какой-либо язык и не одна какая-либо группа языков, а вообще человеческий язык в его истории. Следовательно, все от­дельные человеческие языки, будут ли то языки народов цивилизо­ванных или дикарей, все они с одинаковым правом входят в область языковедения, и все они изучаются здесь по отношению к истории языка. Язык состоит из слов, а словами являются звуки речи, как знаки нашего мышления и для выражения наших мыслей и чувство­ваний. Отдельные слова языка в нашей речи вступают в различные сочетания между собою, а с другой стороны, в словах языка могут выделяться для сознания говорящего те или другие части слов; по­этому фактами языка являются не только отдельные слова сами по себе, но также и слова в их сочетаниях между собою и в их делимо­сти на те или другие части. Я сказал, что предметом языковедения является человеческий язык в его истории. Дело в том, что суще­ствование каждого языка во времени состоит в постоянном, хотя и постепенном видоизменении данного языка с течением времени, т.е. каждый живой язык в данную эпоху его существования представ­ляет собою видоизменение языка предшествующей эпохи.

\* *Фортунатов Ф.Ф.* Избранные труды. М., 1956. Т. 1. С. 23-27, 131-139, 153-154, 188.

\*\* В основу издания «Общего курса» положено литографированное издание лекций Ф.Ф. Фортунатова, читанных им в Московском университете в 1901-1902 гг. — *Прим. ред.*

Это постоянное изменение языка состоит, во-первых, в по­стоянном изменении составных элементов языка, т.е. как звуков слов, так и их значений, причем то и другое изменение происхо­дит независимо одно от другого, во-вторых, изменение языка с течением времени состоит в приобретении языком новых фактов, не существовавших в нем прежде, и, в-третьих, изменение языка обнаруживается в утрате языком тех или других фактов, существо­вавших в нем прежде. Изучение каких-либо фактов в преемствен­ности их изменения во времени мы называем историческим изу­чением этих фактов или историей этих фактов, причем то же на­звание «история» мы переносим и на самое изменение этих фактов во времени. Языковедение, имеющее предметом изучения челове­ческий язык в его истории, может быть, следовательно, опреде­ляемо иначе как история человеческого языка или как историчес­кое изучение человеческого языка, т.е. историческое изучение всех доступных для исследования отдельных человеческих языков, а историческое изучение всех доступных для исследования отдель­ных человеческих языков является вместе с тем необходимо срав­нительным изучением отдельных языков. Каждый язык принадле­жит известному обществу, известному общественному союзу, т.е. каждый язык принадлежит людям как членам того или другого общества. Те изменения, которые происходят в составе общества, сопровождаются и в языке соответствующими изменениями: дроб­лению общества на те или другие части соответствует дробление языка на отдельные наречия, а объединению частей общественно­го союза соответствует и в языке объединение его наречий. Понят­но поэтому, что чем более разъединяются части общественного союза, тем большую самостоятельность приобретают отдельные наречия, а как скоро исчезает всякая связь между разъединивши­мися частями общества, бывшие наречия одного и того же языка, продолжая существовать, обращаются в самостоятельные языки. Таким образом, изучая историю известного языка, лингвист пу­тем правильного сравнения этого языка с языками, родственны­ми по происхождению, открывает то прошлое в жизни изучаемого языка, когда он составлял еще одно целое с другими родственны­ми с ним языками. Изучая, например, французский язык в его истории, лингвист сравнивает его с другими так называемыми романскими языками, как-то: итальянским, испанским и некото­рыми другими, и приходит таким путем к родоначальнику этих языков — языку латинскому, из которого образовались эти языки. Подобным же образом изучение русского языка в связи с другими славянскими языками, как-то: старославянским, или древним цер­ковнославянским, сербским, болгарским, польским, чешским и некоторыми другими, — это сравнительное изучение открывает перед нами то прошлое в жизни нашего языка, когда он вместе с другими славянскими языками составлял один общий язык, а именно праславянский, или общеславянский, язык. Этот праславянский язык, открываемый таким путем, находится в свою оче­редь, как показывает наука, в родстве с языками литовским, не­мецким, греческим, латинским, а также и с языками индийски­ми, иранскими и некоторыми другими. Все эти языки вместе образуют так называемую индоевропейскую семью языков, или семью индоевропейских языков. Путем сравнительно-историческо­го изучения всех языков этой семьи лингвист восстановляет тот язык, который был родоначальником этой семьи языков, — язык общий индоевропейский. Таким образом, например, история русского язы­ка может привести исследователя к той отдаленной эпохе, когда предки славян, немцев, греков и т.д. составляли еще один общий народ. Итак, задача языковедения — исследовать человеческий язык в его истории — требует, как вы видите, определения родственных отношений между отдельными языками и сравнительного изучения тех языков, которые имеют в прошлом общую историю, т.е. род­ственны по происхождению. При этом от общей истории данных языков, т.е. от родства данных языков по происхождению, нужно отличать такое родство между собою тех или других фактов в раз­личных языках, которое происходит вследствие приобретения, заимствования этих фактов одним языком из другого языка. Воз­можность такого влияния одного языка на другой является, по­нятно, тогда, когда члены различных общественных союзов, име­ющих различные языки, вступают в сношения между собою.

Не одно только сравнение языков или их отдельных фактов в генеалогическом отношении, т.е. по отношению к их родству по происхождению, требуется в лингвистике: факты различных язы­ков должны быть сравниваемы и по отношению к тем сходствам и различиям, которые зависят от действия сходных и различных ус­ловий. Этого рода сравнение лингвистических фактов нельзя, ко­нечно, смешивать с тем сравнением, о котором я говорил до сих пор и которое основано на генеалогическом отношении отдель­ных языков или отдельных фактов в языках. Когда говорят, что предметом изучения в лингвистике служит человеческий язык в его истории, то единственным числом «язык» вовсе не указывает­ся на то, будто все отдельные языки, существовавшие и существу­ющие в человечестве, сводятся по учению лингвистики к одному общему праязыку. Такого общего праязыка лингвистика не знает, да и не может знать в настоящее время при тех средствах, какими она владеет. Тем не менее, как бы ни было велико число тех прая­зыков, которые не могут быть сведены в генеалогическом отноше­нии, мы имеем право говорить об одном человеческом языке, имея в виду единство человеческой природы, т.е. общие физические и духовные явления. Поэтому мы можем и должны сравнивать языки не только в генеалогическом отношении, но и по отношению к тем сходствам и различиям, которые зависят от сходных и различ­ных физических и духовных условий.

То обширное применение, какое имеет в современной лингвис­тике сравнительный метод, достаточно объясняет, почему эта наука называется, между прочим, **сравнительным языковедением;** но толь­ко в названии «сравнительное языковедение» не следует видеть ука­зания на отличие этой науки от какого-либо другого научного ис­следования языка в его истории: есть только одна наука о языке — та наука, которая имеет предметом изучения человеческий язык. Ис­следование того или другого отдельного языка или той или другой отдельной семьи языков входит в состав языковедения как извест­ная часть этой науки; а успешное занятие одной частью науки воз­можно лишь тогда, когда не теряется связь с другими частями ее и с ее общими основаниями. Понятно поэтому значение языковедения, или лингвистики, для филологии в тесном смысле этого термина: филолог, останавливаясь на известном народе, изучает его в различ­ных проявлениях его духовной стороны, а потому, между прочим, изучает и язык этого народа. В этой области, по отношению к языку изучаемого народа, филолог должен быть лингвистом, и языковеде­ние для него не побочная наука, но та, которая одной своей частью входит в его специальность. Точно так же филолог должен быть исто­риком при изучении других отделов филологии. <...>

Итак, научное исследование какого бы то ни было языка входит в область языковедения; но не всякое изучение языка является науч­ным: языковедение, как науку, задача которой познать язык в его истории, нельзя смешивать, понятно, с изучением какого-либо языка для практической цели, т.е. с целью владеть этим языком как сред­ством для достижения других целей, например для обмена мыслей.

СЛОВА ЯЗЫКА

Я обращаюсь теперь к общему обзору фактов, явлений языка. Язык состоит из слов, которые, за исключением лишь некоторых, вступают между собою в сочетания в суждениях, в предложениях; поэтому в словах языка мы должны различать слова отдельные и слова в их сочетаниях в мышлении, а потому и в речи, в предло­жениях. Сочетание одного слова с другим в предложении образует то, что я называю, в отличие от отдельных слов, словосочетанием. Последнее может быть законченным, представляющим целое, за­конченное предложение, и незаконченным, представляющим часть другого словосочетания, законченного. Например, слова *хорошая погода* являются не отдельными словами, а известным словосоче­танием, как скоро они даются в речи вследствие сочетания в мыш­лении одного из этих слов с другим словом как с частью предло­жения. Взятое нами для примера словосочетание *хорошая погода* само по себе, как законченное словосочетание, есть предложе­ние, но оно же явится словосочетанием незаконченным, т.е. обра­зующим часть другого словосочетания, например в словосочета­нии *настала хорошая погода.*

**Отдельные слова языка**

Мы остановимся сперва на отдельных словах языка, а по отно­шению к ним мы должны прежде всего определить, что такое сло­во, как известная единица в языке, т.е. что представляет отдельно целое слово в отличие от ряда слов, соединенных одно с другим, а также и в отличие от каких-либо частей в слове.

Всякий звук речи, имеющий в языке значение отдельно от других звуков, являющихся словами, есть слово; например, в рус­ском языке звук речи *а* представляет собою отдельное слово, так как этот звук *а* имеет у нас известное значение (союз *а)* отдельно от других звуков, являющихся словами. Обыкновенно, как я ска­зал, слово состоит из нескольких звуков речи, т.е. представляет известный комплекс звуков речи, и в этом случае отдельным сло­вом является такой комплекс звуков речи, который имеет в языке значение отдельно от других звуков и звуковых комплексов, явля­ющихся словами, и который при этом не разлагается на два или несколько отдельных слов без изменения или без утраты значения хотя бы той или другой части этого звукового комплекса. Напри­мер, в русском языке комплекс звуков речи *книга* есть одно слово, так как не разлагается на какие-либо другие слова. Точно так же, например, звуковой комплекс *неправда* (ложь) представляет одно слово, хотя это слово по составу не простое, так как, будучи раз­ложен на отдельные слова *не* и *правда,* теряет данное значение.

Так как словами являются звуки речи в их значениях, то по­этому различия в звуковой стороне образуют различия самих слов, хотя бы значения таких слов и совпадали (как совпадают, напри­мер, значения слов *неправда* и *ложь,* которые тем не менее представляют собою два различные слова), если только при этом раз­личие в звуковой стороне не есть такое частичное (т.е. касающееся части звуковой стороны), которое сознается говорящими как ви­доизменение в части звуков одного и того же слова, не изменяю­щее значения этого слова; таково, например, в русском языке ча­стичное различие в звуковой стороне слова *зимою* и *зимой* или слова *под* и *подо.* Видоизменение в части звуков одного и того же слова может существовать потому, что отдельные слова, вступая в сочетание между собою, подвергаются при этом по отношению к звуковой стороне влиянию одного слова на другое слово; кроме того, могут влиять и различия в темпе речи. С другой стороны, так как словами являются звуки речи не сами по себе, но в их значе­ниях, то поэтому тождество звуковой стороны при различии в зна­чении не образует еще, понятно, тождества самих слов (напри­мер, в таких случаях в русском языке *мой—* местоимение = *meus* и *мой—* повелительное наклонение от глагола *мыть,* или *бес* и *без),* если только при этом различие в значении не есть такое, которое сознается говорящими как видоизменение значения одного и того же слова. Одно и то же слово с видоизменением его значения яв­ляется в языке тогда, когда различные значения, соединяющиеся с одной и той же звуковой стороною слова, связываются между собою в сознании говорящих так, что при этом одно значение сознается или как ограничение, специализированно другого, бо­лее общего, значения, или как распространение, обобщение дру­гого значения, или как перенесение слова как знака с одного пред­мета мысли на другой предмет мысли, как связанный с первым в известном отношении. Например, слово *город* со значением горо­да вообще, а для нас, жителей Москвы, также и со значением *Москва,* представляет собою одно и то же слово с видоизменени­ем значения, поскольку мы сознаем в слове *город* значение *Москва* как ограничение, специализирование другого значения. С другой стороны, например, слово *язык* со значением «совокупность слов» и *язык* со значением «совокупность каких бы то ни было знаков для выражения мысли» является одним и тем же словом с видоиз­менением значения, как скоро последнее значение сознается как распространение, обобщение первого значения. Распространение, обобщение значения слова предполагает предшествующее перене­сение слова как знака с одного предмета мысли на другой, как однородный с первым в известном отношении, и в нашем приме­ре обобщению значения слова *язык* предшествовало перенесение этого слова как знака. Но не всякое перенесение слова как знака (т.е. перенесение значения слова) с одного предмета на другой ведет за собою распространение и обобщение значения слова. На­пример, в слове *подошва* в выражении *подошва горы* мы сознаем перенесение собственного значения слова *подошва,* но это пере­несение слова как знака с одного предмета мысли на другой, одно­родный с ним в известном отношении, не ведет за собою в данном случае обобщения значения слова *подошва.* Одно и то же слово, пред­ставляющее известное видоизменение значения, с течением време­ни в истории языка может обратиться в различные слова, имеющие тождественную звуковую сторону, как скоро различные значения слова в их изменениях настолько удалятся в истории языка одно от другого, что уже не связываются между собою в сознании говоря­щих как видоизменения значения одного слова (например, *город* со значением города вообще, а также того или другого города в частно­сти, и *город* со значением известной части Москвы). В языковеде­нии, которое имеет задачей, как мы знаем, исследование языка в его истории, слово с различными значениями в его отличии от различных слов, имеющих тождественную звуковую сторону, мо­жет быть определяемо и по отношению к истории языка, а имен­но — мы можем определить как одно слово с различными значе­ниями и такой комплекс звуков речи (или такой звук речи), в котором в данном периоде жизни языка уже соединяются значе­ния, не связывающиеся между собою в сознании говорящих, если только эти различные значения в истории языка оказываются ви­доизменениями значения одного и того же слова.

В отдельных словах языка различаются слова **полные,** слова **ча­стичные** и **междометия.** Мы остановимся сперва на полных словах.

**Полные слова**

Полные слова обозначают предметы мысли и по отношению к предложениям образуют или части предложений, или целые пред­ложения. Например, в русском языке слово *дом* является полным словом, обозначающим известный предмет мысли, и образует часть предложения, хотя бы получалось в речи неполное предложение (последнее является, когда, например, при виде известного пред­мета я образую суждение и высказываю его в слове *дом,* причем, следовательно, один член этого суждения дан не в представлении слова). А, например, такие полные слова в русском языке, как *иди, морозит,* образуют целые предложения, так как каждое из них обозначает известные предметы мысли в их сочетании в суждении. Полные слова последнего рода, в их отличии от других, я называю словами-предложениями и буду говорить о них впоследствии, после того как скажу о формах слов, так как для существования таких полных слов требуется присутствие в них известных форм, между тем как полные слова, являющиеся знаками отдельных предметов мысли и образующие части предложений, не предполагают сами по себе присутствия в них каких бы то ни было форм.

Отдельными предметами мысли, обозначаемыми полными сло­вами, являются или признаки, различаемые в других предметах мысли, или вещи, предметы, как вместилища известных призна­ков. Признаки предметов мысли, обозначаемые в словах, могут быть как признаками, существующими независимо от данной речи, данной мысли, так и признаками, являющимися именно при су­ществовании данной речи, данной мысли, т.е. могут быть отноше­ниями предметов мысли к данной речи, мысли (к лицу говоряще­му, думающему, к предмету его речи, мысли). Соответственно с этим в полных словах различаются знаки двоякого рода: **слова-названия и слова местоименные:** последние обозначают или вещи, предметы по их отношениям к данной речи, к данной мысли (на­пример, в русском языке *ты, он, этот),* или самые отношения данных предметов мысли к данной речи, мысли (например, *этот* или *тот* в соединении с названием известного предмета). В тех признаках предметов мысли, которые обозначаются в словах-на­званиях, различаются признаки, представляющиеся без отноше­ния к их изменениям во времени, и признаки в их изменениях во времени; к первым принадлежат: качество, количество, различ­ные отношения предметов мысли; ко вторым: действия и состоя­ния. Те слова-названия, которыми обозначаются или самые при­знаки второго рода (действия и состояния), или вещи, предметы как вместилища таких признаков, могут быть называемы по их значениям, для отличия от других слов-названий, глагольными словами, без отношения к тому, являются ли они по форме глаго­лами или именами (т.е. в русском языке к глагольным словам по значению, без отношения к форме, принадлежат, например, не только *ношу, носить,* но также, например, и *ноша).*

Те слова-названия, которыми обозначаются вещи, предметы, т.е. вместилища признаков, могут быть знаками двоякого рода: или 1) названиями общими, нарицательными именами (неглагольны­ми и глагольными), или 2) названиями собственными, собствен­ными именами. Общие названия обозначают те или другие пред­меты мысли как вместилища признаков и вместе с тем соозначают и самые эти признаки, а собственные названия, собственные имена обозначают индивидуальные вещи, предметы без отношения к их признакам, в самой их индивидуальности, поскольку такое обо­значение предметов представляет интерес для говорящих. Собствен­ные названия или собственные имена не должно смешивать с об­щим названием такой вещи, такого предмета, который известен нам в опыте как единичный; например, слово *солнце,* хотя в непе­реносном значении и представляет предмет единичный, является, однако, не собственным именем, а общим названием, обознача­ющим данный предмет в его признаках и потому то же значение это слово сохраняет и тогда, когда мы представляем себе суще­ствование многих солнц.

Полные слова-названия, обозначающие предметы одушевлен­ные или представляемые одушевленными, могут изменяться в речи, как я говорил, в слова-воззвания и в этом видоизменении не при­надлежат уже к предложениям, существуют вне их, хотя бы пред­мет, обозначенный в воззвании, являлся вместе с тем и предме­том данной мысли (например, *Коля, иди!*)*.*

**Формы отдельных полных слов**

Отдельные полные слова могут иметь формы, а так как учение о всяких формах языка образует тот отдел языковедения, который называется грамматикой, то потому формы языка представляют собой так называемые грамматические факты языка, и различия слов в формах являются поэтому так называемыми грамматичес­кими различиями слов. Формой отдельных слов в собственном зна­чении этого термина называется, как мы видели уже, способность отдельных слов выделять из себя для сознания говорящих фор­мальную и оснóвную принадлежность слова. Формальною принад­лежностью слова является при этом та принадлежность звуковой стороны слова, которая видоизменяет значение другой, оснóвной принадлежности этого слова, как существующей в другом слове или в других словах с другой формальной принадлежностью, т.е. формальная принадлежность слова образует данное слово, как видоизменение другого слова, имеющего ту же оснóвную принад­лежность с другой формальной принадлежностью. Формами пол­ных слов являются, следовательно, различия полных слов, обра­зуемые различиями в их формальных принадлежностях, т.е. в тех принадлежностях, которые видоизменяют значения других, ос­нóвных, принадлежностей тех же слов.

Оснóвная принадлежность слова в форме слова называется ос­новой слова. Понятно, что, для того чтобы выделялась в слове для сознания говорящих известная принадлежность звуковой стороны слова в значении формальной принадлежности этого слова, тре­буется, чтобы та же принадлежность звуковой стороны и с тем же значением была сознаваема говорящими и в других словах, т.е. в соединении с другой основой или с другими основами слов, при­чем, следовательно, различные основы сознаются как однородные в их значениях в известном отношении, именно — по отно­шению к тому, что видоизменяется в этих значениях данной фор­мальной принадлежностью слов.

Таким образом, всякая форма в слове является общею для слов с различными основами и вместе с тем всякая форма в слове соот­носительна с другой, т.е. предполагает существование другой фор­мы, с другой формальной принадлежностью, но с теми же осно­вами слов, т.е. с теми же их основными принадлежностями. Так, например, слово *несу* в русском языке заключает в себе известную форму, общую ему, например, со словами *веду, беру,* поскольку в этом слове выделяется для сознания формальная принадлежность *-у,* общая ему, например, со словами *веду, беру,* а также поскольку выделяется основа *нес-* как данная в другом слове или в других словах с другой или с другими формальными принадлежностями, например, в словах *нес-ешь, нес-ет* (где являются другие формаль­ные принадлежности слов), причем, следовательно, основа *нес-* сознается как однородная по значению с основами *вед-, бер-* и др. Формальные принадлежности слов в их формах могут быть не только положительными, состоящими из известной принадлежности зву­ковой стороны в качестве формальной принадлежности слов, но и отрицательными, причем самое отсутствие в слове какой бы то ни было положительной формальной принадлежности может само сознаваться говорящим как формальная принадлежность этого слова в известной форме (общей ему с другими словами) по отноше­нию к другой форме или другим формам, где являются положи­тельные формальные принадлежности в соединении с теми осно­вами слов, которые в данной форме не имеют при себе никакой положительной формальной принадлежности слов. Например, в русском языке слова *дом, человек* заключают в себе известную форму, называемую именительным падежом, причем формаль­ной их принадлежностью в данной форме является самое отсут­ствие в них какой-либо положительной формальной принадлеж­ности, по отношению этих слов *дом, человек,* например, к словам *дома, человека,* заключающим в себе другую форму, называемую родительным падежом; в последних словах *дом-а, человек-а* являет­ся положительная формальная принадлежность слов *-а* в соедине­нии с теми основами *дом, человек,* которые в форме именительно­го падежа в *дом, человек* оказываются не имеющими при себе ника­кой положительной формальной принадлежности слова.

Слово может заключать в себе более одной формы, так как в основе слова, имеющего форму, могут, в свою очередь, выделять­ся для сознания говорящих формальная принадлежность и основа. Например, в русском языке слова *беленький, красненький,* имеющие известную форму целого слова, общую им со словами *белый, красный,* заключают и в основах *беленьк-, красненьк-* также извест­ную форму, так как в этих основах выделяется для сознания гово­рящих формальная принадлежность *-еньк-* и основы *бел-, красн-*(с *л* и *н* мягкими), а эти основы известны без данной формальной принадлежности в словах *белый, красный.*

Формальные принадлежности полных слов, видоизменяя извес­тным образом значения различных основ, как однородных в извест­ном отношении, вносят, следовательно, в слова известные общие изменения в значениях, т.е. при посредстве различий в формах пол­ных слов обозначаются в данных предметах мысли различия, общие этим предметам мысли, как принадлежащим к одному классу в из­вестном отношении. Вместе с тем и самые слова, имеющие формы, обозначаются при посредстве этих форм по отношению к различиям в известных классах слов как знаков предметов мысли. Надо заме­тить, что термин «форма» в применении к словам употребляется также и в переносном значении, и формами отдельных полных слов называют также отдельные полные слова в их формах; например, самые слова *несу, беру* и др., заключающие в себе форму первого лица единственного числа настоящего времени, могут быть названы просто формами первого лица единственного числа и т.д.

Формы отдельных полных слов не составляют необходимой принадлежности языка, хотя, что касается известных нам языков, существовавших и теперь существующих, в громадном большин­стве их мы находим в отдельных полных словах формы. Есть, одна­ко, и в настоящее время такие языки, в которых отдельные слова не имеют никаких форм; к таким языкам принадлежит, напри­мер, китайский язык. Что же касается тех языков, которые имеют в отдельных полных словах формы, то понятно, конечно, что между этими языками существуют различия по отношению к этим фор­мам отдельных полных слов.

Приступая к изучению какого-либо языка, имеющего формы отдельных полных слов, лингвист должен остерегаться того, что­бы не предполагать без проверки существования в этом языке имен­но таких форм слов, какие известны ему из других языков. Разли­чие между языками в формах отдельных слов может касаться не одних только значений форм, но и самого способа образования форм в словах; например, индоевропейские языки в этом отно­шении резко отличаются от языков семитских или от так называ­емых урало-алтайских языков, точно так же как семитские и ура­ло-алтайские языки, в свою очередь, резко различаются между собою в этом отношении, т.е. по отношению к способу образова­ния форм отдельных слов. <...>

**МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ**

На общих сходствах и различиях, существующих между раз­личными языками по отношению к образованию простых, т.е. не составных форм слов, основывается так называемая морфологи­ческая классификация языков, которую, понятно, не следует сме­шивать с генеалогической классификацией языков, т.е. с той клас­сификацией, которая имеет в виду родственные отношения между языками и о которой я говорил прежде. В значительном большин­стве семейств языков, имеющих формы отдельных слов, эти фор­мы образуются при посредстве такого выделения в словах основы и аффикса, при котором основа или вовсе не представляет так называемой флексии, или если такая флексия и может являться в основах, то она не составляет необходимой принадлежности форм слов и служит для образования форм, отдельных от тех, какие образуются аффиксами. Такие языки в морфологической класси­фикации языков называют принятым, хотя неточным, термином **агглютинирующие** или **агглютинативные** языки (от лат. gluten — «клей», glutinare — «склеивать»), т.е. собственно **склеивающие.** Аг­глютинирующие языки называются так именно потому, что здесь основа и аффикс слов остаются по их значению отдельными час­тями слов в формах слов, как бы склеенными.

К другому классу в морфологической классификации языков принадлежат семитские языки, в этих языках, как я говорил уже, основы слов сами имеют необходимые (именно в словах-названи­ях) формы, образуемые флексией основ, т.е. видоизменением части звуковой стороны, хотя отношение между основой и аффиксом в семитских языках такое же, как и в языках агглютинативных. Обык­новенно семитские языки в морфологической классификации язы­ков называются флективными языками по отношению к тому, что они имеют флексию основ, но так как этот термин употребляется и в другом значении, в применении к языкам, в которых флексия основ служит для форм, образуемых вместе с тем и аффиксами, то потому надо брать этот термин в одном из этих двух значений. Я называю семитские языки **флективно-агглютинативными,** и назы­ваю их так потому, что отношение между основой и аффиксом в этих языках такое же, как и в языках агглютинирующих.

К иному, следовательно, уже третьему классу в морфологи­ческой классификации языков принадлежат языки индоевропейс­кие; здесь, как я уже говорил, существует флексия основ при обра­зовании тех самых форм слов, которые образуются аффиксами, вслед­ствие чего части слов в формах слов, т.е. основа и аффикс, представляют здесь по значению такую связь между собою в формах слов, какой они не имеют ни в языках агглютинативных, ни в язы­ках флективно-агглютинативных. Вот для этих-то языков я и удер­живаю название **флективные** языки, т.е. флективными языками в мор­фологической классификации языков я называю языки, представ­ляющие флексию основ в сочетании основ с аффиксами, т.е. для образования тех самых форм слов, которые образуются аффиксами.

Наконец, есть такие языки, в которых не существует форм слов, образуемых аффиксами, и в которых вообще не существует форм отдельных слов. К таким языкам принадлежат языки китайский, сиамский и некоторые другие. Эти языки в морфологической клас­сификации называются языками **корневыми,** по отношению именно к тому признаку, что в таких языках слова соответствуют корням слов в других языках, имеющих формы слов, образуемые при по­средстве выделения в словах основ и аффиксов. Значит, в корне­вых языках так называемый корень является не частью слова, а самим словом, которое может быть не только простым, но и не­простым (сложным). Корневые языки, не имея форм отдельных слов, могут иметь, однако, другие формы, именно формы сочета­ния слов в словосочетаниях (образуемые видоизменениями в по­рядке расположения слов, сочетающихся в словосочетаниях). <...>

**Грамматические словосочетания с грамматическим сочетанием их частей**

Такие словосочетания существуют, как я говорил, в языках, не имеющих форм отдельных слов. Сочетание частей словосочета­ния является грамматическим тогда, когда оно заключает в себе форму соединения слов в словосочетаниях. В этой форме **формаль­ною принадлежностью** является **самый порядок расположения слов в словосочетании**; например, в первом слове обозначается такою постановкою слова несамостоятельная часть словосочетания, а во втором слове — самостоятельная часть словосочетания, или, на­оборот, в первом слове обозначается самостоятельная часть слово­сочетания, во втором — несамостоятельная, или, наконец, может быть различие в этом отношении между местом несамостоятель­ной части в законченном и незаконченном словосочетаниях. Осо­бенно развиты формы сочетания слов в словосочетаниях в китай­ском языке, где при посредстве их различаются главные и второ­степенные части предложения, причем в самих значениях слов, соединяющихся в словосочетаниях, различаются известные клас­сы значений. <...>

*Г. Глисон* Введение в дескриптивную лингвистику\*

Глава V **Морфема**

**1.** <...> Было показано, что в звуковой системе английского языка имеется 46 основных элементов — 46 фонем. <...> Зафикси­ровав встречающиеся <...> фонемы, любое высказывание в анг­лийском языке можно будет точно опознать на основе одной лишь письменной фиксации.

\* *Глисон Г.* Введение в дескриптивную лингвистику/Перевод с англ. М., 1959. С. 91-105.

Таковы те ценные результаты, которые дает установление фо­нем, составляющее неотъемлемую часть любого полного описания языка. Но для исчерпывающего анализа языка этого совершенно недостаточно. Как бы далеко мы ни вели исследование в этом на­правлении, мы ничего не узнаем о значениях высказываний в языке. Однако социальная функция любого языка заключается именно в передаче сообщений от говорящего к слушающему. Без этого речь была бы бесполезной и ее бы, вероятно, не существовало. Фоноло­гический анализ языка, даже самый детальный, ничего не скажет нам о значении, поскольку сами фонемы не имеют прямой связи с содержанием. Фонемы — это всего лишь такие единицы, при помо­щи которых говорящий и слушающий отождествляют морфемы, не более того. Для любого дальнейшего изучения языка надо рас­смотреть морфемы и их сочетания. При этом анализ системы языка переходит в совершенно иную плоскость.

**2.** Морфемы чаще всего представляют собой краткие последо­вательности фонем. Эти последовательности фонем повторяются, но не все повторяющиеся последовательности являются морфема­ми. Например, последовательность /n/ при чтении предыдущего параграфа встречается 13 раз, последовательность /v/ — 10 раз.\* Последовательности, подобные /in/ и /v/, можно с успехом изу­чать как явления английской фонологии и сделать ряд важных обоб­щений относительно этих и сходных с ними сочетаний. В отноше­нии последовательности /n/ этим исчерпывается все, заслуживающее сколько-нибудь серьезного внимания. Иначе обстоит дело в случае с /v/; /v/, будучи последовательностью фонем, в каждом из этих десяти случаев является еще, кроме того, и морфемой и участвует тем самым в построениях другого, более высокого типа, к которому /n/ не имеет никакого отношения. Тот факт, что /n/ встречается чаще, чем /v/, ничего не меняет.

\* Имеется в виду оригинальный английский текст — *Прим. сост.*

3. Различие между /v / и /n/ заключается в том, что в каждом из упомянутых выше 10 случаев /v/ имеет значение, то есть опре­деленную связь с определенным элементом структуры содержания языка. Напротив, /n/ значения не имеет, за исключением тех слу­чаев, когда оно образует часть некоторых последовательностей, таких, как /kn/ *can.*

Будучи морфемой, /v/ также находится в определенных отно­шениях с другими морфемами языка. Эти отношения бывают двух типов: во фразе *study of language* «изучение языка»\* имеются некото­рые значимые связи между /v/ и морфемами, предшествующими /v/ и следующими за ним в данном отрезке высказывания. Они характеризуют данный отрезок как таковой. Помимо этого, морфе­ме *of* присущи некоторые более общие связи, не ограниченные та­ким образом и составляющие, следовательно, часть системы языка в целом. К таким обобщениям мы приходим, сравнивая *study of language* со многими другими сходными сочетаниями. Так, например, за *of* обычно следует существительное, но не глагол. В известных конст­рукциях *of* можно заменить предлогом *on:* ср. *the hat of the man* «шляпа мужчины» и *the hat on the man* «шляпа на мужчине». В дру­гих случаях *of* можно заменить *'s;* ср. *the hat of the man* и *the man's hat* «шляпа мужчины». Эти более широкие связи являются предме­том изучения особого раздела лингвистики — **грамматики.**

\* Здесь и далее переводы введены составителями

**4.** <...> Лучше всего было бы определить морфему как наимень­шую единицу грамматики. Но тогда грамматику придется опреде­лить как учение о морфемах и их сочетаниях, а такое определе­ние — явная тавтология и, следовательно, уже не определение. Тем не менее оно все-таки помогает выделить нечто существенное. Морфема как основное понятие и не может быть определена иным, не тавтологическим образом. Поэтому вместо определения мы дол­жны просто описать некоторые характерные черты морфем и дать некоторые общие правила для их узнавания. Это и будет сделано здесь и в последующих главах.

**5.** Некоторые морфемы можно охарактеризовать как наимень­шие значимые единицы в структуре языка. Более точным было бы определение морфемы с точки зрения соотношения выражения и содержания, но для настоящей цели удобна менее точная форму­лировка. Под «наименьшей значимой единицей» мы понимаем та­кую единицу, которую нельзя расчленить, не разрушив или не изменив коренным образом ее значение. Например, /streyn/ в *strange* «странный» является морфемой; оно имеет значение только как целое. Если /streyn/ разделить, мы получим либо такие части, как /str/ и /eyn/, которые не имеют никакого значения, либо /strey/, как в *stray* «заблудившийся», или /streyn/, как в *strain* «напряже­ние», которые обладают значениями, логически не связанными со значением /streyn/. Любое членение /streyn/ разрушает или коренным образом изменяет его значение. Следовательно, /streyn/ подходит под наше определение морфемы как наименьшей значи­мой единицы в структуре языка.

Однако /streynns/, как в *strangeness* «странность», хотя и име­ет значение, — это уже не одна морфема. Его можно разделить на /streyn/ и /ns/. Каждая из этих частей значима, и значение всего сочетания связано со значениями этих двух частей. Следовательно, / streynns/ представляет собой соединение двух морфем.

**6.** Морфема не равна слогу. Иногда, как в случае /streyn/ и многих других, морфема является одновременно и слогом. Но, на­пример, /knetkt/, как в *Connecticut* «Коннектикут (штат)», явля­ясь одной морфемой, тем не менее содержит четыре слога. С дру­гой стороны, и /gow/ и /z/ в *goes* «ид=ет» являются морфемами, хотя вместе они составляют всего лишь один слог. Морфемы могут состоять из одного или нескольких полных слогов, из частей слога или даже из любых сочетаний фонем, независимо от того, явля­ются ли они слогами или нет.

**7.** Морфема может состоять и из одной фонемы, как, напри­мер, только что упомянутое /z/ в *goes.* Но фонема /z/ и соответ­ствующая ей морфема /z/ далеко не тождественны. Фонема часто встречается там, где она не имеет никакого отношения к морфеме Примерами служат *zoo* /zúw/ «зоопарк» и *rose* /rówz/ «роза», каж­дое из которых содержит /z/, но не имеет ничего общего по значе­нию с /z/ в *goes.* Большинство морфем английского языка по своей протяженности колеблется от /z/ до /streyn/, т.е. примерно от двух до шести фонем.

**8.** Часто два морфемных элемента бывают сходны по выраже­нию, но различаются содержанием. Такие пары называются **омо­нимичными (омофонами),** что значит (букв.) «звучащие одинако­во». Так, /z/ является морфемой и в *goes* /gówz/ «ид=ет» и в *goers* /gówrz/ «ходок=и», но это не одна и та же морфема, /z/, означа­ющее «3-е лицо единственного числа», и /z/, означающее «мно­жественное число», являются омофонами. Сочетания морфем мо­гут быть, кроме того, омонимичными как другим сочетаниям мор­фем, так и отдельным морфемам. Ср., например, /rowz/ в *Не rows the boat* «Он гребет в лодке»; *They stood in rows* «Они стояли ряда­ми» и *That flower is a rose* «Тот цветок—роза».

**9.** Определяя морфему как наименьшую значимую единицу в структуре языка, нужно попытаться избежать неправильного по­нимания слов *meaningful* «значимый» и *meaning* «значение». *Meaning* «значение» должно обозначать отношения, которые существуют между морфемами как частями системы выражения какого-либо языка и соответствующими единицами в системе содержания того же языка Морфема — это наименьшая единица в системе выраже­ния, которая непосредственно соотносится с той или иной час­тью системы содержания.

Употребление термина *meaning* «значение» в его общеприня­том смысле часто приводит к недоразумениям. Однако, употреб­ленный с осторожностью, он послужит вполне приемлемым ра­бочим термином. Так, например, можно сказать, что *cat* «кошка» имеет значение, поскольку оно относится к определенному виду животных. Но оно также может быть применено и к людям, обла­дающим определенными индивидуальными характерными особен­ностями. В подобном же смысле можно сказать, что и *go* «ходить» обладает каким-то значением, поскольку оно обозначает, в част­ности, движение предмета. Но трудно и даже бесполезно пытаться точно установить, каково это движение. Ср. *Не goes home.* «Он идет домой»; *John goes with Mary.* «Джон сопровождает Мэри.» и *The watch goes.* «Часы идут». *Go* может относиться и к совершенно не­подвижному предмету: например *This road goes to Weston.* «Эта до­рога ведет в Уэстон». Эти различия в соотнесенности с внешним миром можно отчасти объяснить, предположив, что говорящий на английском языке научился так систематизировать содержание, что эти различные элементы опыта объединяются им в единую категорию. Значение *go —* это взаимосвязь между морфемой /gow/ и точкой в системе содержания, где все указанные явления сво­дятся воедино. <...>

**11.** У некоторых морфем значение в смысле соотнесенности с явлениями человеческого опыта за пределами языка полностью или в значительной мере отсутствует. Рассмотрим *to* в *I* *want to go* «я хочу пойти». Элементы *I*, *want* и *go* соотносятся через посредство структуры содержания английского языка с различными сторона­ми человеческого опыта. Но невозможно найти какой-либо опре­деленный фактор в ситуации, который можно было бы рассмат­ривать как «значение» *to.* Вместе с тем *to* все же выполняет какую-то функцию, поскольку без него \**I* *want go* бессмысленно. (Знак \* используется для указания на то, что приведенная форма или не засвидетельствована, или невозможна.) *То* просто отвечает суще­ствующему в структуре английского языка требованию, согласно которому *go* не может следовать за *want* без *to.* Подобную функцию нельзя подвести под традиционное содержание, которое обычно вкладывается в слово «значение», но в том смысле, в каком мы используем его здесь (взаимосвязь между выражением и содержа­нием), «значение», правда с небольшой натяжкой, может вклю­чать и эту функцию.

**12.** Значение *cat* можно разъяснить (разумеется, лишь частич­но) человеку, не говорящему на английском языке, указав на животное, которое *cat* обозначает. Но объяснить таким же спосо­бом значение *to* невозможно. Вместо этого было бы необходимо привести ряд случаев его употребления и тем самым выделить кон­тексты, в которых *to* встречается регулярно, контексты, в которых оно может встречаться, и те контексты, в которых оно встречаться не может (например, \**I* *can to go.).* Иными словами, *to* имеет ха­рактерную для него дистрибуцию (распределение). Для иностран­ца именно дистрибуция является наиболее бросающимся в глаза признаком подобной морфемы и, следовательно, ключом к рас­крытию ее значения.

Дистрибуция характеризует не только морфемы, подобные *to,* но и все другие морфемы. *Cat* может встречаться в *I saw the—,* но не в *I* *will— home. Go,* напротив, может встречаться во втором, но не в первом случае. **Дистрибуция** какой-либо морфемы — это сумма всех контекстов, в которых она может встречаться, в отличие от тех контекстов, в которых она встречаться не может. Полное пони­мание какой-либо морфемы подразумевает понимание как ее ди­стрибуции, так и ее значения в обычном смысле. Отчасти именно по этой причине в хорошем словаре всегда приводятся примеры, иллюстрирующие употребление слов. Словари, лишенные иллюс­тративного материала, имеют весьма ограниченную пригодность, а часто даже вводят в заблуждение.

**13.** Тождество морфем может быть установлено только путем сравнения различных отрезков языка. Если можно найти два или более отрезков, имеющих некоторые общие для всех черты выра­жения и некоторые общие для всех особенности содержания, тог­да одно требование будет выполнено и эти отрезки можно предпо­ложительно считать единой морфемой с определенным значением. Так, *boys* /byz/ «юноши», *girls* /grlz/ «девушки», *roads* /rówdz/ «дороги» и т.д. сходны тем, что содержат *s* /z/ и имеют значение «два и более». Мы, поэтому, определяем *s* /z/ как морфему, имею­щую значение множественного числа. Но для полного доказатель­ства этого еще недостаточно: должно существовать еще какое-то различие между отрезками со сходным значением и содержани­ем — отрезками, содержащими гипотетические морфемы, и дру­гими, не содержащими их. Сравнение *boys* /byz/: *boy* /by/ слу­жит для подтверждения только что рассмотренного примера. Не­обходимость такого условия вытекает из наличия следующих слов: *bug* /bg/ «клоп», *bee* /bíy/ «пчела», *beetle* /bíytl/ «жук», *butterfly* /btrfláy/ «бабочка». Смешно было бы предполагать, что, поскольку все эти слова включают /b/ и все обозначают определенный вид насекомых, /b/ должно быть морфемой. Но это кажется смешным только потому, что английский язык для нас родной и мы знаем, что /g/, /iy/, /iytl/ и /trflay/ не существуют как морфемы, ко­торые можно ассоциировать с данными словами. И наконец, не­обходимо убедиться, что нами вычленена действительно отдель­ная морфема, а не сочетание морфем. <...>

**14.** Когда имеешь дело с родным языком, многое из того, о чем говорилось выше, кажется лишним. Это происходит потому, что подобные сравнения неоднократно производились в прошлом, если не сознательно, то бессознательно. Мы можем устанавливать тож­дество морфем английского языка без детального сравнения пото­му, что большинство из них мы уже отождествили. О том, что это относится даже к маленьким детям, свидетельствуют ошибки, ко­торые обычно встречаются в их речи. Ребенок слышит и учится ассоциировать *show* /šów/ «показывать» с *showed* /šówd/ «показы­вал», *tow* /tów/ «тянуть» с *towed* /tówd/ «тянул» и т.д. и на основа­нии этого предполагает, что *go* /gów/ нужно таким же образом ассоциировать с /gówd/. В данном конкретном случае он, конечно, не прав, но он прав в принципе. Он явно проделал морфемный анализ, и ему остается только узнать границы, в пределах которых установленная им модель имеет силу.

**15.** Некоторые конструкции, составленные из морфем, имеют строго установленный порядок. Например, обычным словом анг­лийского языка является *re-con-vene* «вновь созывать» (дефисы про­ставлены для отделения одной морфемы от другой), но не *\*соп-ге-vene* или *\*re-vene-con.* Последние не только необычны по звучанию и виду, но также и бессмысленны для говорящего на английском языке. Значение слова зависит не только от состава наличных мор­фем, но также и от порядка их следования.

Другие конструкции допускают некоторую, но только частич­ную, свободу расположения. Так, возможны и *Then I went* «Тогда я пошел» и *I* *went then* «Я пошел тогда», и между ними существует лишь небольшое различие в значении. Но *\*Went then I* звучит невразумительно, потому что это сочетание отходит от установлен­ной в английском языке структуры. В целом, в тех построениях, элементы которых связаны более тесно (как, например, в сло­вах), порядок следования закреплен более строго, а конструкции с меньшей спаянностью элементов (как предложения) допуска­ют большую свободу. Но даже более длинные построения имеют некоторые определенные ограничения, причем иногда весьма тон­кие, касающиеся порядка следования элементов. Например, со­четания *John came. He went away* «Джон пришел. Он ушел» могут навести на мысль, что оба эти действия совершил Джон. Но *Не came. John went away* «Он пришел. Джон ушел» не могло бы иметь этого значения. Точная соотнесенность с лицом должна предше­ствовать местоименной соотнесенности с тем же самым лицом, если нет каких-либо особых уточнений. В этом своеобразие струк­туры именно английского языка, но не логики и не общей при­роды языка, поскольку некоторые другие языки имеют совершенно иные правила.

**16.** Языку присущ фиксированный порядок морфем в опреде­ленных конструкциях и в то же время известная степень свободы. В этом находит выражение системный характер структуры языка, составляющий подлинную сущность речи. Дело лингвистической науки описать эти принципы расположения (аранжировки) воз­можно более исчерпывающе и сжато. Такое описание и есть **грам­матика** языка. <...>

В том смысле, в каком данный термин использован в настоя­щей книге, **грамматика** охватывает два удобных, но не вполне чет­ко разграниченных подраздела: **морфологию** — описание более тесно спаянных соединений морфем, то есть, грубо говоря, того, что обычно называется «словами», и **синтаксис** — описание более круп­ных соединений, включающих в качестве основных единиц соеди­нения, охарактеризованные при определении морфологии языка. В понимании некоторых лингвистов термин морфология охваты­вает оба подразделения, и в этом случае он эквивалентен употреб­ляемому здесь термину **грамматика.**

**17.** Грамматику какого-либо языка нельзя сформулировать в виде правил аранжировки отдельных морфем. Это неудобно, поскольку общее число морфем в любом языке для этого слишком велико. Однако всегда оказывается возможным сгруппировать морфемы в определенные классы, каждому из которых присуща характерная для него дистрибуция (распределение). Структуру высказываний в языке можно охарактеризовать тогда при помощи таких классов морфем. Тем самым материал, который надлежит описать, долж­ным образом ограничивается.

Например, *walk* «идти», *talk* «говорить», *follow* «следовать», *call* «звать» и др. образуют обширный класс морфем. Точно так же *s* (обозначающее 3-е лицо единственного числа), *еd* и *ing* (показа­тель прошедшего времени и показатель причастия настоящего вре­мени) составляют менее обширный класс, причем они могут встре­чаться, лишь непосредственно следуя за одной из морфем первой группы (или за какой-либо эквивалентной конструкцией). Морфе­мы первой группы могут непосредственно предшествовать какой-либо из морфем второй группы, но могут встречаться и отдельно. Иначе говоря, формы *walks, walked, walking* и *walk* встречаются. Но в *\*swalk* или *\*ingwalk* порядок нарушен, и формы эти, следователь­но, невозможны. Форма *\*walkeding* непонятна, так как *ing* не мо­жет следовать за *еd.* Не встречается также *shelfed,* поскольку *shelf* «полка» принадлежит к другому классу, морфемы которого ни­когда не предшествуют *еd.* Все эти и многие другие подобные им факты можно подвести под сравнительно небольшое число про­стых формул, относящихся к определенным классам морфем. С другой стороны, составить полный список всех возможных и невозможных последовательностей морфем даже в пределах како­го-либо строго ограниченного отрезка английского языка было бы затруднительно, а при увеличении числа рассматриваемых мор­фем — абсолютно невозможно.

**18.** Наиболее обширными и многочисленными классами мор­фем в английском языке, классами, встречающимися почти во всех языках мира, являются **корни** и **аффиксы.** *Walk, talk, follow* и т.д. — это один из классов корней; *shelf, rug, road* «полка, ковер, дорога» и т.д. — другой. Огромное большинство морфем английского языка составляют корни; число их достигает многих тысяч. Такие морфе­мы, как *-s, -ed, -ing* и т.д., — аффиксы. В дальнейшем аффиксы приводятся с дефисом, указывающим на способ их присоедине­ния.

Определение этих двух классов, применимое для всех языков, было бы чрезвычайно сложным, и здесь в нем, пожалуй, нет осо­бой необходимости. Гораздо легче дать определение корней и аф­фиксов применительно к одному какому-либо языку. Аффиксы, как правило, лишь дополняют корни, которые являются центра­ми таких образований, как слова. Корни часто длиннее аффиксов и превосходят их по численности.

**19.** В данном параграфе будут определены два разных типа аф­фиксов, которые имеются в английском и многих других языках. **Префиксы** — это аффиксы, стоящие перед корнем, с которым они связаны очень тесно. Примеры: англ. /priy-/ в слове *prefix* «при=ставка», /riy-/ в *refill* «пере=наполнить» и */*iŋ-*/* в *incomplete* «не=полный». Префиксы встречаются также и во многих других языках. Ср. древнееврейское /b-/ «в» в слове /bbáyit/ «в доме» и /hab-/ со значением определенного артикля в /habbáyit/ «опреде­ленный дом»; ср. /báyit/ «дом вообще». **Суффиксы** — это аффиксы, следующие за корнем, с которым они весьма тесно связаны. Ср. англ. /-iz/ в слове *suffixes* «суффикс=ы», /iŋ-*/* в *going* «ид=ущий» и /-iš/ в *boyish* «мальчиш=еский». Суффиксы также представляют собой обычное явление во многих других языках. Ср. швед. *-еп* (по­стпозитивный определенный артикль) в *dagen* «определенный день» и швед. *-аr* (суффикс множественного числа) в *dagar* «дни» (ср. *dag* «день»).

Отметим, что в английском языке встречаются и префикс /iŋ-/ и суффикс /iŋ-/, которые могут сочетаться с одной и той же морфе­мой: *incomplete* /iŋkmplíyt/ и *completing* /kmplíytiŋ/ «дополняю­щий». Положение этих аффиксов в слове и обусловливает различие между ними.

**20.** Аффиксы могут присоединяться как непосредственно к кор­ню, так и к сочетанию корня с одной или несколькими морфема­ми. Все это в целом составляет основу слова. **Основа** — это любая морфема или сочетание морфем, к которым можно присоединить аффикс. Английское слово *friends /*fréndz*/* «друзья» содержит осно­ву /frend/, которая является одновременно корнем, и аффикс /-z/; *friendships* /fréndšips/ «дружеские связи» содержит аффикс /-s/ и основу /fréndšip/, которая, однако, не совпадает с корнем, так как состоит из двух морфем. Основы или слова, содержащие два или более корней, называются **сложными.** Так, *blackbird* /blǽkbrd/ «черный дрозд» — сложное слово, состоящее из двух корней — /blæck/ «черный» и /brd/ «птица», a *blackbirds* «черные дрозды» состоит из сложной основы и аффикса.

**21.** В некоторых языках определенные аффиксы служат прежде всего для основообразования и кроме этой функции не имеют как таковые никакого иного назначения в языке. Такие морфемы мож­но назвать **основообразующими.** Греческое /thermos/ «теплый» со­стоит из корня /therm-/, основообразующего /-о-/ и конечного аффикса /-s/. Последний, показывая, в частности, что слово мо­жет выступать в предложении в качестве подлежащего, не может быть присоединен к корню непосредственно. Форма /\*therms/ не­возможна. Подобные основообразующие элементы весьма распро­странены в греческом языке.

Сложные слова в греческом языке образуются обычно путем сложения основ, а не корней. В английских словах, построенных по образцу греческих или образованных от греческих корней, суф­фиксы в конце слова или утрачиваются, или меняют свою форму, но основообразующий элемент первой основы полностью сохра­няется. *Thermometer* составлен из основ *thermo-* и *meter;* первая из них образована от корня *therm-* путем добавления основообразую­щего элемента -*о*-. Отсюда ясно, почему в словах этого типа столь часто встречается -*о*-: *morph-o-logy, ge-o-graphy, phil-o-sophy* и т.д.

Здесь необходимо сделать следующую оговорку: -*о*- является морфемой в английском языке не потому, что оно было морфе­мой в греческом, но потому, что выделение его обусловлено опре­деленными фактами структуры английского языка. Мы не можем согласиться с делением слова *thermometer* на *thermo-meter* или *therm-ometer,* ибо сравнение с *isotherm* показывает, что морфема здесь *therm-,* a *meter* может выступать в качестве отдельного слова. Ни *thermo-,* ни *-ometer* поэтому не представляют собой одну мор­фему. Знание того, что морфема -*о*- ведет свое происхождение из греческого языка, может помочь при знакомстве с историей этой английской морфемы, но и только. Никакого другого значения для структуры английского языка этот факт не имеет.

**22.** Некоторые морфемы имеют одну и ту же форму во всех окружениях, например англ. /iŋ/, как в *coming, walking* и т.д. <...> В других случаях морфема выступает в разных вариантах. Так, окон­чание множественного числа -*s* произносится обычно как /-z/ в *boys /*byz*/,* как /-s/ в *cats* /kǽts/, и как /-z/ в *roses* /rówzz/. Не­смотря на различие в форме, ни один говорящий на английском языке не усомнится в том, что это в известном смысле одно и то же. Такое языковое восприятие подтверждается при изучении упо­требления этих трех морфем. Анализ обширного материала пока­зывает, что встречается только после и что ни /-s/, ни /-z/ в этом окружении не наблюдаются, /-s/ и только /-s/ встре­чается после /р t k f θ/. /-z/ зафиксировано после всех остальных согласных и всех гласных. Выбор правильной морфемы происходит автоматически и для говорящего на английском языке почти безо­шибочно:; более того, нарушение этого правила может быть лишь сознательным, причем не имеет никакого значения, было или нет данное слово известно говорящему раньше: словосочетание *two taxemes* большинство прочитает как /tûw+tǽksiymz/. He все правильно произнесут основу *taxeme,* но все без исключения произнесут здесь *-s* как /-z/.

При описании таких случаев (а они встречаются часто) линг­висты разграничивают два понятия — понятие морфемы и поня­тие алломорфы. **Алломорфа —** это вариант морфемы, встречаю­щийся в определенных окружениях. **Морфема** — это группа из од­ной или нескольких алломорф, объединяемых по признаку общности (обычно легко устанавливаемой) дистрибуции и значения. Так, /-z/, /-s/ и /-z/, о которых говорилось выше, являются тремя алломорфами одной морфемы, потому что они имеют опре­деленную установленную дистрибуцию, указанную выше, и оди­наковое значение.

**23.** Понятие алломорф и морфем, как и других «алло-» и «-ем», является одним из основных понятий дескриптивной лингвистики. Трудно переоценить их значение как средства проникновения в тайны функционирования языка. Эти понятия связаны с двумя основными единицами лингвистического анализа — фонемой и морфемой — и с другими, менее важными понятиями, такими, как графема. Именно благодаря разграничению морфемы и алло­морфы и пр. и стало возможным дальнейшее успешное развитие теории и методов лингвистики. Неприменимость (насколько нам известно) самого принципа разграничения подобных единиц в некоторых связанных с языкознанием дисциплинах составляет ос­новное различие между языкознанием и другими науками, изуча­ющими поведение человека.

**24.** Всякое явление считается **обусловленным,** если оно регу­лярно встречается в определенных устанавливаемых условиях. Это не означает, что оно этими условиями вызывается. Мы хотим лишь сказать, что они так или иначе встречаются одновременно и одно можно предсказать на основании другого. *Where there's smoke there's fire* «Где дым, там и огонь» и *Where there's fire there's smoke* «Где огонь, там и дым» — обе эти фразы выражают причинную связь. Только одна из фраз может быть понята как выражение причины, и нет никакой необходимости предполагать, что каждая из них ее обязательно выражает. Три алломорфы морфемы множественного числа /-z/, /-s/ и /-z/ обусловлены, поскольку каждая из них встре­чается в известных, строго определенных условиях. В данном слу­чае обусловливающим фактором является фонетическая природа предшествующих фонем /-z/ встречается только после звонких звуков, /-s/ — только после глухих, a /-z/ — после круглощелинных фрикативных и аффрикат. Мы можем поэтому сказать, что они **обусловлены фонологически.** Это значит, что если нам извест­ны условия дистрибуции, мы можем точно предсказать, какая из трех алломорф будет использована в том или ином месте. Поскольку английский язык является нашим родным языком, выбор алло­морф производится нами автоматически и подсознательно. Как лингвисты мы можем сформулировать наши языковые привычки в виде дескриптивных правил и на их основе сознательно осуще­ствить выбор той или иной алломорфы. Правила же имеют значе­ние лишь постольку, поскольку они приводят к тем же результа­там, что и подсознательные привычки говорящего.

Этот автоматический выбор — часть структуры английского языка, и им следует овладеть. Он отнюдь не является «естествен­ным», хотя и кажется таковым. Иностранцу он может показаться совершенно неестественным. Более того, указанная дистрибуция не является единообразной для всего английского языка: в Вирги­нии, в районе Голубых гор, /-z/ употребляется не только после /s z š ž č j/, но также после /sp st sk/. Так, *wasps, posts, tasks* «осы, столбы, задачи» произносятся как /wáspz/, /pówstz/, /fǽskz/, a не как /wásps/, /pówsts/, /tǽsks/, что характерно для большинства диалектов И в том и в другом случае форма фонологически обус­ловлена, а выбор ее осуществляется совершенно автоматически и закономерно Речь идет о разных правилах дистрибуции, и каждое из них представляется говорящим вполне естественным.

**25.** Выбор алломорф может быть также обусловлен морфологи­чески В таком случае выбор алломорфы определяется конкретной морфемой или морфемами, образующими контексты, а не каки­ми-либо фонологическими особенностями Так, множественное число от ох «бык» — oxen /áksn/ «быки», где /-n/ — алломорфа морфемы множественного числа, сочетающаяся лишь с одним этим корнем /aks/ Для говорящих на английском языке и знающих это слово <...> /-n/ ставится после /aks/ автоматически, а форма /\*áksz/ отвергается как неправильная. Выбор /-n/ никак фоноло­гически не обусловлен boxes, foxes, axes «ящики, лисы, топоры» фонологически сходны, но в них используется /-z/. Использова­ние /-n/ связано со своеобразием морфемы /aks/ как таковой, т.е. обусловлено морфологически. <...>

Л. *В. Щерба* О частях речи в русском языке\*

В последние десятилетия в русском языкознании по поводу пересмотра содержания элементарного курса русской грамматики всплыл очень старый вопрос о так называемых «частях речи». В грамматиках и словарях большинства старых, установившихся языков существует традиционная, тоже установившаяся номенк­латура, которая в общем удовлетворяет практическим потребнос­тям, и потому мало кому приходит в голову разыскивать основа­ния этой номенклатуры и проверять ее последовательность. В сочи­нениях по общему языкознанию к вопросу обыкновенно подходят с точки зрения происхождения категории «частей речи» вообще и лишь иногда — с точки зрения разных способов их выражения в разных языках, и мало говорится о том, что сами категории могут значительно разниться от языка к языку, если подходить к каждо­му из них как к совершенно автономному явлению, а не рассмат­ривать его сквозь призму других языков.

*\* Щерба Л. В.* Языковая система и речевая деятельность Л., 1974. С. 77-100.

Поэтому, может быть, не бесполезно было предпринять пол­ный пересмотр вопроса применительно к каждому отдельному язы­ку в определенный момент его истории. Не претендуя на абсолют­ную оригинальность, я попробую это сделать по отношению к современному живому русскому языку образованных кругов об­щества. <...>

Прежде чем перейти, однако, к русскому языку, я позволю себе остановиться на некоторых общих соображениях.

1. Хотя, подводя отдельные слова под ту или иную категорию («часть речи»), мы получаем своего рода классификацию слов, однако самое различение «частей речи» едва ли можно считать результатом «научной» классификации слов. Ведь всякая класси­фикация подразумевает некоторый субъективизм классификато­ра, в частности до некоторой степени произвольно выбранный principium divisionis. Таких principia divisionis в данном случае мож­но было бы выбрать очень много, и соответственно этому, если задаться целью «классифицировать» слова, можно бы устроить мно­го классификаций слов, более или менее остроумных, более или менее удачных. Например, можно разделить все слова на слова, вызывающие приятные эмоции, и слова безразличные; или на ос­новные и производные, а первые — на слова одинокие, не имею­щие родственных связей, и на слова, их имеющие, и т.п. <...> Д. Н. Ушаков в своем отличном учебнике по языковедению прямо учит, что возможны две классификации слов — по значению и по формам.

Однако в вопросе о «частях речи» исследователю вовсе не при­ходится классифицировать слова по каким-либо ученым и очень умным, но предвзятым принципам, а он должен разыскивать, какая классификация особенно настойчиво навязывается самой языко­вой системой, или, точнее, — ибо дело вовсе не в «классифика­ции», — под какую **общую категорию** подводится то или иное лек­сическое значение в каждом отдельном случае, или, еще иначе, какие **общие категории** различаются в данной языковой системе.

2. Само собой разумеется, что должны быть какие-либо внеш­ние выразители этих категорий. Если их нет, то нет в данной язы­ковой системе и самих категорий. Или если они и есть благодаря подлинно существующим семантическим ассоциациям, то они являются лишь потенциальными, но не активными, как, напри­мер, категория «цвета» в русском языке.

3. Внешние выразители категорий могут быть самые разнооб­разные: «изменяемость» слов разных типов, префиксы, суффик­сы, окончания, фразовое ударение, интонация, порядок слов, особые вспомогательные слова, синтаксическая связь и т.д., и т.д.

Изменяемость по падежам является признаком существительных и прилагательных в русском языке\*, однако в латинском и глагол может склоняться (ср. gerundium). Изменяемость по лицам в очень многих языках служит признаком глагола; однако есть язы­ки, где и имена могут спрягаться, т.е. изменяться по лицам (см.: *А. Руднев.* Хори-бурятский говор, вып. 1. [СПб.—Пгр., 1913-1914], стр. XXXVIII). Отсюда следует, между прочим, что мнение, будто категория лица является исключительно глагольным признаком, основано на предрассудке.

\* Впрочем, едва ли мы потому считаем *стол, медведь* за существительные, что они склоняются: скорее мы потому их склоняем, что они существительные. Я полагаю, что все же функция слова в предложении является всякий раз наибо­лее решающим моментом для восприятия Иначе обстоит дело, когда вопрос идет о генезисе тон или иной категории, и не только в филогенетическом аспекте, но и в онтогенетическом: тут важна вся совокупность лингвистических данных — морфологических, синтаксических и семантических.

Самая изменяемость глагола по лицам может быть выражена окончаниями, как в латинском: *ат-о, am-as, am-at,* или особыми префиксами, как во французском: *j 'aime, tu aimes, il aime* (ср. местоимения: *moi, toi, lui*), или в русском: я *любил, ты любил, он любил* (полный параллелизм этих форм с формами praesentis: *я* *люблю, ты любишь, он любит,* одинаковость синтаксических связей, отсутствие таких форм, как *любилый,* и т.д. — все это обусловливает восприя­тие всех этих форм как форм одного и того же слова — глагола *любить*).

Член европейских языков — является основным признаком су­ществительного: нем. *handeln —* «действовать», *das Handeln—* «действование».

Во фразе *Когда вы приехали ?* ударение на *когда* определяет его как наречие, а отсутствие ударения во фразе *Когда вы приехали, было еще светло* определяет его как союз.

По интонации отличаем мы «определение» от «сказуемого»: *рана пустяковая* (в ответ на вопрос: *Да что у него?*) [и] *рана — пустяковая.*

Во французском *les savants sourds—* «глухие ученые» *(les sourds savants —* «ученые глухие» пример взят из: Vendryes. Le langage. [Paris, 1921]) существительное от прилагательного отличается лишь порядком слов, как, впрочем, и в русском (только в русском по­рядок иной, чем во французском).

Повелительное наклонение 3-го лица в русском выражается особым словом *пусть: пусть придет* или *придут.*

Если я напишу: *она его... рукой,* то всякий расшифрует точки как глагол.

Признаки, выразители категорий, могут быть положительны­ми и отрицательными: так, «неизменяемость» слова как противо­положение «изменяемости» также может быть выразителем кате­гории, например наречия.

Противополагая форму, знак — содержанию, значению, я по­зволяю себе называть все эти внешние выразители категорий **фор­мальными признаками** этих последних, ибо не вижу никакой пользы в выделении, среди прочих признаков, формальных морфем в осо­бую группу.

4. Существование всякой грамматической категории обуслов­ливается тесной, неразрывной связью ее смысла и всех формаль­ных признаков, так как неизвестно, значат ли они что-либо, а следовательно — существуют ли они как таковые, и существует ли сама категория. <...>

5. Категории могут иметь по нескольку формальных призна­ков, из которых некоторые в отдельных случаях могут и отсутство­вать. Категория существительных выражается своей специфичес­кой изменяемостью и своими синтаксическими связями. *Какаду* не склоняется, но сочетания *мой какаду, какаду моего брата, какаду сидит в клетке* достаточно характеризуют *какаду* как существитель­ное. Больше того, если в языковой системе какая-либо категория нашла себе полное выражение, то уже один смысл заставляет нас подводить то или другое слово под данную категорию: если мы зна­ем, что *какаду —* название птицы, мы не ищем формальных призна­ков для того, чтобы узнать в этом слове существительное.

6. Яркость отдельных категорий не одинакова, что зависит, ко­нечно, в первую голову от яркости и определенности, а отчасти и количества формальных признаков. Яркость же и формальной и смысловой стороны категории зависит от соотносительности как формальных элементов, так и смысла, так как контрасты сосредо­точивают на себе наше внимание: *белый, белизна, бело, белеть* очень хорошо выделяют категории прилагательного, существительного, наречия и глагола.

7. Раз формальные признаки не ограничиваются одними мор­фологическими, то становится ясно, что **материально** одно и то же слово может фигурировать в разных категориях: так, *кругом* может быть или наречием, или предлогом (см. ниже).

8. Если в вопросе о частях речи мы имеем дело не с классифи­кацией слов, то может случиться, что одно и то же слово окажется одновременно подводимым под разные категории. Таковы **причас­тия,** где мы видим сосуществование категорий глагола и прилага­тельного; таковы **знаменательные связки,** где уживаются в одном слове и связка и глагол (о чем см. ниже).

9. Поскольку опять-таки мы имеем дело не с классификацией, нечего опасаться, что некоторые слова никуда не подойдут, — значит, они действительно не подводятся нами ни под какую ка­тегорию. Таковы, например, так называемые **вводные слова,** кото­рые едва ли составляют какую-либо ясную категорию, между про­чим именно из-за отсутствия соотносительности. Разные усили­тельные слова вроде *даже, ведь, и* (= «даже»), слова отчасти союзного характера вроде *итак, значит* и т.п. тоже никуда не подводятся нами и остаются в стороне. Наконец, никуда не подводятся такие сло­вечки, как *да, нет. <...>*

Перехожу теперь собственно к обозрению «частей речи» в рус­ском языке.

I. Прежде всего очень неясная и туманная категория **междоме­тий,** значение которых сводится к «эмоциональности» и «отсут­ствию познавательных элементов», а формальный признак — к полной синтаксической обособленности, отсутствию каких бы то ни было связей с предшествующими и последующими элемента­ми в потоке речи. Примеры: *ай-ай!, ах!, ура!, боже мой!, беда!, черт возьми!, черт побери!.*

Совершенно очевидно, что хотя этимология таких выражений, как *боже мой, черт побери,* и вполне ясна, но это только этимоло­гия; значение же этих выражений исключительно эмоциональное, и понимать *побери* в *черт побери* как глагол значило бы смешивать разные исторические планы, приписывать современному языку то, чего уже в нем нет. Однако во фразе *черт вас всех побери!* мы имеем уже дело не с междометием, так как от *побери* зависит *вас всех* и, таким образом, формальный признак междометия отсутствует. То же и в известной пушкинской фразе *Татьяна— ах!,* если только *ах* не понимать как вносные слова. Для меня *ах* относится к *Татьяне* и является глаголом, а вовсе не междометием (см. ниже, отдел VIII).

Так как довольно многие слова употребляются или могут упот­ребляться синтаксически обособленно, то категория междометий, будучи вполне отчетливой в ярких случаях, является в общем до­вольно расплывчатой. Например, будут ли междометиями *спасибо, наплевать* и т.д.?

Едва ли не следует относить сюда обращения и считать зва­тельный падеж (в русском лишь интонационная форма) междо­метной формой существительных, хотя некоторые основания к тому и имеются. В известной мере родственными являются и фор­мы повелительного наклонения, и особенно такие слова и словеч­ки, как *молчать!, тишина!, цыц!, тcс!* и т.п. Само собой разумеет­ся, что так называемые звукоподражательные *мяу-мяу, вау-вау* и т.п. нет никаких оснований относить к междометиям.

II. Далее следует отметить две соотносительные категории: ка­тегорию слов **знаменательных** и категорию слов **служебных.** Разли­чия между этими категориями сводятся к следующим пунктам: 1) первые имеют самостоятельное значение, вторые лишь выра­жают отношение между предметами мысли; 2) первые сами по себе способны распространять данное слово или сочетание слов: *я хожу — я хожу кругом; я пишу — я пишу книгу — я пишу большую книгу;* вторые сами по себе неспособны распространять слова: *на, при, в, и, чтобы, быть, стать* (в смысле связок), *кругом (я хожу кругом дома);* 3) первые могут носить на себе фразовое ударение; вторые никогда его не имеют, кроме случая выделения слов по контрасту (*он* *не только был вкусный, но и будет вкусный*), что явля­ется особым случаем, так как по контрасту могут выделяться и неударяемые морфемы (части) слов. Второе и третье различия сле­дует считать формальными признаками этих категорий. Отнюдь не следует считать признаком служебных слов их неизменяемость, так как некоторые служебные слова изменяются, как, например, связки (спрягаются), относительные *которые, какой* (склоняются и изме­няются по родам).

С категорией слов знаменательных контаминируются более ча­стные категории: **существительных, прилагательных, наречий, гла­голов и т.д.**

III. Перехожу к **существительным.** Значение этой категории из­вестно — предметность, субстанциальность. При ее посредстве мы можем любые лексические значения, и действия, и состояния, и качества, не говоря уже о предметах, представлять как предметы: *действие, лежание, доброта* и т.д. Формальными признаками этой категории являются: изменяемость по падежам (которая в отдельных случаях может отсутствовать: *какаду, пальто)* и соответственные си­стемы окончаний; ряд словообразовательных суффиксов имен су­ществительных, как то: *-тель, -льщик, -ник, -от-(-а), -изн-(-а), -ость, -(о)к, -(е)к* и т.д.; определение посредством прилагательных; согласо­вание относящегося к данному слову прилагательного (*красивый ка­каду; а меня, бедного, и забыли, нечто серое и туманное скользнуло мимо*);отсутствие согласования с существительным, явным или непосред­ственно подразумеваемым; глагол или связка в личной форме, от­носящиеся к данному слову (*я ехал в лодке; люди были несчастны, кто пришел?*). Из сказанного явствует, что в выражениях *этот нищий, все доброе* и т.п. *нищий* и *доброе* будут существительными. С другой стороны, явствует и то, что целый ряд так называемых «местоиме­ний» приходится считать существительными: *я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, себя, кто? что? некто, нечто, кто-то, что-то, никто, ничто*; кроме того, *это* (редко *то*) и *всё,* употребляющиеся в качестве существи­тельных в форме среднего рода; *всякий* и *каждый,* употребляющиеся в качестве существительных лишь в форме мужского рода; *все,* упот­ребляющееся в качестве существительного во множественном числе. <...> Примеры: *я этого не переношу; это уже надоело; я предлагал ему и то и это; мой брат всегда всем очень доволен; я знаю все; всякий это знает; я берусь каждого провести; все убежали.* Но надо сказать, что последние пять слов имеют скорее прилагательную природу и не терпят никакого прилагательного определения, так что во фразе *я* *люблю все хорошее* слово *все* является уже прилагательным, а *хоро­шее —* существительным. Любопытно отметить, что даже в таких сочетаниях, как *на сцене появилось нечто воздушное, ничем хорошим не могу вас порадовать,* можно спрашивать себя, что к чему отно­сится: *нечто* к *воздушное, хорошим* к *ничем* или наоборот.

Все перечисленные слова составляют, конечно, по содержа­нию обозначаемых ими понятий особую группу местоименных су­ществительных, так как содержание это крайне бедно и состоит в каждом случае из одного очень неопределенного признака. Фор­мально они объединяются невозможностью их определить **пред­шествующим** прилагательным; нельзя сказать: *добрый я, славный некто* и т.п. Что касается форм склонения, то они не являются одинаковыми у всех слов группы и потому невыразительны. Пре­жнее состояние языка с ясным местоименным склонением, выра­жавшим противоположение группы местоимений группе имен (су­ществительных и прилагательных), давно разрушено.

Выделяется в известной мере группа «личных местоимений» сво­ей функцией личных префиксов (правда, не вполне сросшихся) в спряжении глаголов; однако и там местоимение 3-го лица (бывшее указательное) склоняется иначе, чем местоимения 1-го и 2-го лица.

Вообще надо признать, что в этой области в русском языке в настоящее время не наблюдается никакой ясной, отчетливой сис­темы: старая группа местоимений распалась, а новых отчетливых противоположении местоименных прилагательных и существитель­ных, наподобие того, что имеется во французском (*се, cette, ces, celui, celle, ceux, celles*), не выработалось. Это в общем и неудивительно. Словечки местоименного характера немногочисленны, но играют значительную роль в структуре языка, и всякие пережитки сохра­няются здесь чаще всего, успешно сопротивляясь логическим унификационным стремлениям коллективного языкового творчества.

Кроме местоименных существительных, мы имеем в русском целый ряд категорий, обладающих большей или меньшей вырази­тельностью.

1) Имена **собственные** и **нарицательные:** первые, как правило, не употребляются во множественном числе. *Ивановы, Крестовские* и т.д. являются названиями родов и представляют из себя своего рода pluralia tantum.

2) Имена **отвлеченные** и **конкретные:** первые опять-таки нор­мально не употребляются во множественном числе. *Радости жизни* представляются нам чем-то конкретным и не идентичным словам *радость, тоска, грусть, ученье, терпенье* и т.п.

3) Имена **одушевленные** и **неодушевленные:** у первых форма винительного падежа множественного числа сходна с родитель­ным, а у вторых — с именительным.

4) Имена **вещественные** тоже не употребляются во множествен­ном числе: *мед, сахар.* А поскольку употребляются, обозначают тог­да разные сорта: *вúна, маслá* и т.п.

5) Имена **собирательные** (конечно, не *стая, полк, класс,* так как их собирательность никак не выражена). Наше современное пони­мание их исключительно объединяющее и индивидуализирующее. По-видимому, в старом языке было иначе, так как сказуемое при этих словах часто ставилось во множественном числе (см. материал по вопросу из Синод, списка 1-й Новгор. лет. у Е. С. Истриной — «Синтаксические явления...», 1923, стр. 60 и ел.).

Зато в современном русском имеется несомненная возможность образовывать имена собирательные посредством суффиксов *-j-* или *-*(*е*)*ств-* в среднем роде: *солдатьё, мужичьё, тряпьё, офицерьё, профессорьё, офицерство, студенчество.*

6) Далее, в русском имеется категория имен **единичных:** *би­сер / бисерина, жемчуг / жемчужина, солома / соломина,* образуемых посредством суффикса *-ин-,* они составляют своеобразную груп­пу, категорию.

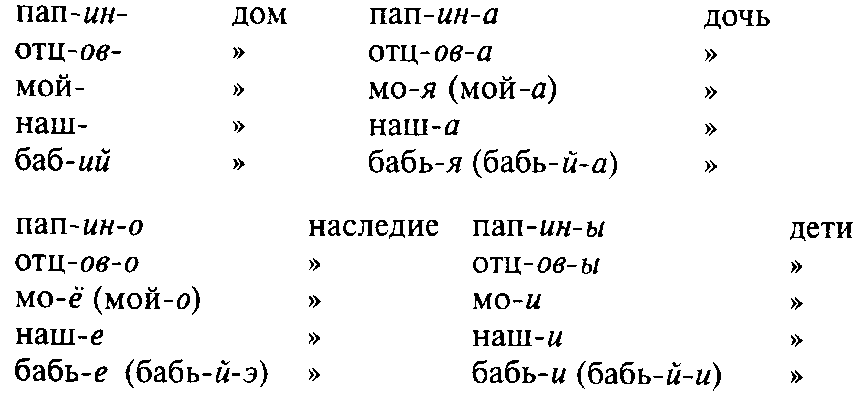
О категории имен существительных см. у [А.А.] Шахматова в его «Очерке современного русского литературного языка» (литогр. курс лекций 1911/12 уч.г., ныне напечатанный — [1-е изд. Л., 1925]).

IV. Значение категории **прилагательных** в русском языке — ко­нечно, **качество,** как это прекрасно показано [А.М.] Пешковским в его «Русском синтаксисе...» [2-е изд. М.], 1920, стр. 54 и ел. Фор­мально она выражается прежде всего своим отношением к суще­ствительному: без существительного, явного или подразумеваемо­го, нет прилагательного. Далее она выражается формами согласо­вания с существительным, хотя это и не абсолютно обязательно; своеобразной изменяемостью, куда, между прочим, входит и из­менение по степени сравнения (тоже необязательное и общее с наречиями), рядом словообразовательных суффиксов, как то: -(*е*)*н-, -ист-, -ан-, -оват-* и т.д.; наконец, она выражается и определяю­щим ее наречием.

Из всего этого вытекает, что под категорию прилагательных мы подводим и такие «местоимения», как *мой, твой, наш, ваш, свой, этот, тот, такой, какой, который, всякий, сам, самый, весь, каждый* и т.п., и все «порядковые числительные» (*первый, второй* и т.д.), и все причастия, и, наконец, формы сравнительной степени при­лагательных в тех случаях, когда они относятся к существитель­ным, например: *ваш рисунок лучше моего; эта местность красивее всего виденного мною; струя светлей лазури* (из лермонтовского «Па­руса»). Относительно первых трех групп слов не может быть сомне­ния, что они подводятся нами под категорию прилагательных. От­носительно же сравнительной степени достаточно указать на то, что от наречия сравнительная степень прилагательных отличается своей относимостью к существительному, а от существительных, которые также могут относиться к существительному, — своей связью с положительной и превосходной степенями.\*

\* Что прилагательные могут быть неизменяемыми и считаться все же прилага­тельными даже в тех языках, где прилагательные изменяются, между прочим, показывает старославянский язык:исплънь, прпрость и др., хотя и не склоняют­ся. однако являются прилагательными.

Среди прилагательных выделяется группа прилагательных **при­тяжательных,** имеющая формальные признаки — именные окон­чания — по крайней мере во всех формах именительного падежа:



Но, по-видимому, эта категория разрушается, так как в детс­ком языке постоянно находим *пап-ин-ая дочка;* вместо *отцов дом* мы чаще скажем *отцовский дом,* а вместо *бабье лето* можно иногда слышать и *бабее лето:* такие же случаи, как с *волчьей шкурой,* при­ходится считать если не нормальными, то очень распространен­ными, особенно среди младшего поколения.

Что касается местоименной группы, то хотя она по значению и представляет из себя некую группу, но она не безусловно замк­нута: считать ли, например, относящимся к ней слово *любой?* Пешковский в часто цитированной уже книге (стр. 406) относит сюда же слова *известный, данный, определенный.* Отсутствие ясного фор­мального критерия не позволяет быть отчетливо осознанной груп­пе местоименных прилагательных, так как то обстоятельство, что в цепи прилагательных определений существительного они нор­мально ставятся на первое место (*любой (всякий) порядочный вдум­чивый доктор*), не чересчур навязывается нашему сознанию.

То же можно сказать и о порядковых числительных, хотя и им присваивается первое место в цепи прилагательных определений (*я* *кончил вторую киевскую мужскую гимназию*). Однако надо при­знать, что крепкая ассоциативная связь по смежности (при счете) энергично поддерживает смысловую связь и понятие «порядковости», «номерности» выступает довольно ярко, так что, пожалуй, все же приходится говорить о **прилагательных порядковых.**

Очень живыми представляются категории прилагательных **ка­чественных,** имеющих степени сравнения, и **относительных,** их не имеющих. Так, *золотой* может принадлежать к тем и другим: *золо­тое кольцо / уж на что у тебя золотые кудри, а вот у нее еще золотее.*

**Причастия,** конечно, составляют резко обособленную группу, будучи подводимы и под категорию глаголов. Теряя глагольность, они становятся простыми прилагательными. *Ученое стихотворение* может быть употреблено в двояком смысле: 1) «содержащее в себе много научного» — прилагательное и 2) «которое уже учили» — причастие.

V. Категория **наречий** является исключительно формальной ка­тегорией, ибо значение ее совпадает со значением категории прила­гательных, как это очевидно из сравнения таких пар, как *легкий / легко, бодрый / бодро* и т.д. Мы бы, вероятно, сознавали подобные наречия формой соответственных прилагательных, если бы в той же функции не употреблялось большого количества неизменяемых слов, не являющихся производными от прилагательных: *очень, слишком, наизусть, сразу, кругом* и т.д. Благодаря этому формальными призна­ками категории являются прежде всего отношение к прилагательно­му, к глаголу или другим наречиям, невозможность определить при­лагательным (если только это не наречное выражение), неизменяе­мость (однако наречия, производные от прилагательных, могут иметь степени сравнения)\* и, наконец, для наречий, произведенных от прилагательных, окончания -о и *-е,* а для глагольных наречий (де­епричастий) особые окончания.

\* Вообще мнение, будто наречия по существу являются неизменяемыми, со­вершенно неосновательно: французское наречие *tout* согласуется в роде с прила­гательным, к которому относится.

Самый деликатный вопрос — отличие наречий от существи­тельных, так как критерий неизменяемости возникает чаще всего на почве разрыва связи данного слова с формами соответственно­го существительного, т.е. в конце концов на почве значения: мыс­лится ли в данном случае предмет (существительное) или нет. Весьма вероятно, что если бы у нас не было прилагательных наре­чий и целого ряда случаев, где связь с существительным абсолют­но порвана, т.е. если бы категория наречий не имела бы своих и по форме несомненных представителей, то установление категории наречия на таких случаях, как *заграницей, заграницу,* представило бы большие затруднения. Впрочем, здесь на помощь может прийти и эксперимент; стоит попробовать придать прилагательное: *за на­шей границей, за южную границу,* чтобы понять, что это невозмож­но без изменения смысла слов и что, следовательно, *заграницей, заграницу* являются наречиями, а не существительными.

Что касается **деепричастий,** то они, конечно, составляют резко обособленную группу. В сущности это настоящие глагольные фор­мы, в своей функции лишь отчасти сближающиеся с наречиями. Формально они объединяются с этими последними относимостью к глаголу и якобы отсутствием согласования с ним (на самом деле они должны в русском языке иметь общее лицо, хотя внешне это ничем не выражается). Что особенно оправдывает это усмотрение в деепричастиях некоторой наречности — это их легкий переход в подлинные наречия: *молча, стоя, лежа* и т.д. могут быть то деепри­частиями, то наречиями.

VI. Особой категорией приходится признать **слова количествен­ные.** Значением является отвлеченная идея числа, а формальным признаком — своеобразный тип сочетания с существительным, к которому относится слово, выражающее количество. Благодаря этим типам сочетаний категория слов количественных изъемлется из ка­тегории прилагательных, куда она естественнее всего могла бы от­носиться, а также из категории существительных, с которыми она сходна формами склонения. Эти типы сочетаний состоят в том, что в именительном и винительном падежах определяемое ставится в родительном падеже множественного числа (при *два, три, четыре—* род. пад. ед.ч.), а в косвенных падежах ожидаемое согласование в падеже восстанавливается: *пять книг — с пятью книгами, двадцать солдат — при двадцати солдатах.*\* Исторические причины таких странных конструкций известны, сейчас эти конструкции бессмыс­ленны и являются пережитками, однако утилизируются языком для обозначения особой категории, которую, конечно, лишь на­силуя непосредственное языковое чутье, можно смешивать с су­ществительными. Различие выступает очень ярко из сравнения: *де­сять яблок, с десятью яблоками / десяток яблок, с десятком яблок; сто солдат, со ста солдатами / сотня солдат, с сотней солдат.*

\* К этой же категории относятся и слова много, немного, мало, сколько, несколько, которые по недоразумению считаются наречиями, я вижу несколько моих учеников / я ехал с несколькими учениками; в классе много детей / трудно заниматься со многими детьми и т д.

Любопытно отметить, что *тысяча* с обывательской точки зре­ния плохо представляется как число, а скорей как некоторое един­ство, как «существительное», что и выражается типом связи: *ты­сяча солдат, с тысячью солдат.* Однако ход культуры и развитие отвлеченного мышления дают себя знать: *тысяча* все больше и больше превращается в количественное слово, и *тысяче солдатам был роздан паек* не звучит чересчур неправильно *(миллиону солда­там* сказать было бы невозможно), а сказать *приехала тысяча сол­дат,* пожалуй, и вовсе смешно. Несомненно, что при пережитом падении денег и *миллион* и *миллиард* стали отвлеченнее, хотя, мо­жет, в языке это и не успело сказаться.

VII. Есть ряд слов, как *нельзя, можно, надо, пора, жаль* и т.п., под­ведение которых под какую-либо категорию затруднительно. Чаще всего их, по формальному признаку неизменяемости, зачисляют в наречия, что в конце концов не вызывает практических неудобств в словарном отношении, если оговорить, что они употребляются со связкой и функционируют как сказуемое безличных предложений. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что указанные слова не подводятся под категорию наречий, так как не относятся ни к глаголу, ни к прилагательному, ни к другому наречию.

Далее, оказывается, что они составляют одну группу с такими формами, как *холодно, светло, весело* и т.д. во фразах: *на дворе ста­новилось холодно; в комнате было светло; нам было очень весело* и т.п. Подобные слова тоже не могут считаться наречиями, так как эти последние относятся к глаголам (или прилагательным), здесь же мы имеем дело со связками (см. ниже). Под форму среднего рода единственного числа прилагательных они тоже не подходят, так как прилагательные относятся к существительным, а здесь этих последних нет, ни явных, ни подразумеваемых.

Может быть, мы имеем здесь дело с особой **категорией состо­яния** (в вышеприведенных примерах никому и ничему не припи­сываемого — безличная форма) в отличие от такого же состоя­ния, но представляемого как действие: *нельзя* (в одном из значе­ний) / *запрещается; можно* (в одном из значений) / *позволяется; становится холодно / холодает; становится темно / темнеет; мо­розно / морозит* и т.д. (таких параллелей, однако, не так много).

Формальными признаками этой категории были бы неизменя­емость, с одной стороны, и употребление со связкой — с другой: первым она отличалась бы от прилагательных и глаголов, а вто­рым — от наречий. Однако мне самому не кажется, чтобы это была яркая и убедительная категория в русском языке.

Впрочем, и при личной конструкции можно указать ряд слов, которые подошли бы сюда же: *я* *готов; я должен; я рад / радуюсь; я способен* («я в состоянии») / *могу; я болен / болею; я намерен / намереваюсь; я дружен / дружу; я знаком / знаю (радый\** не употреб­ляется, а *готовый, должный, способный, больной, намеренный, дружный, знакомый* употребляются в другом смысле).

\* На некоторые слова этой категории указал мне Д. В. Бубрих.

В конце концов правильны будут и следующие противополо­жения:

*я* *весел* (состояние) / *я* *веселюсь* (состояние в виде действия)\* / *я* *веселый* (качество); *он* *шумен* (состояние) / *он шумит* (действие) / *он шумливый* (качество); *он сердит* (состояние) / *он сердится* (со­стояние в виде действия) / *он сердитый* (качество); *он* *грустен* (со­стояние) / *он* *грустит* (состояние в виде действия) / *он* *грустный* (качество);

и без параллельных глаголов: *он* *печален / он— печальный; он дово­лен / он— довольный; он красен как рак. / флаги— красные; палка велика для меня / палка— большая; сапоги малы мне / эти сапоги— слишком маленькие; мой брат очень бодр / мой брат— всегда бодрый* и т.д.

\* Пример: *по лицу его видно, что он веселится, глядя на нас*; но в *он сегодня резвится и веселится, как школьник* оттенок будет другой.

То же по смыслу противоположение можно найти и в следую­щих примерах: *я был солдатом* (состояние: «j'ai été soldat») / *я* *солдатствовал* (состояние в виде действия) / *я был солдат* (суще­ствительное: «j'ai été un soldat»); *я* *был трусом в этой сцене / я трусил / я большой трус; я был зачинщиком в этом деле / я был всегда и везде зачинщик.\**

\* Надо, впрочем, признать, что этот оттенок не всегда бывает вполне отчетлив.

Наконец, под категорию **состояния** следует подвести такие слова и выражения, как *быть навеселе, наготове, настороже, замужем, в состоянии, начеку, без памяти, без чувств, в сюртуке* и т.п., и т.п. Во всех этих случаях *быть* является связкой, а не существительным глаголом; поэтому слова *навеселе, наготове* и т.д. едва ли могут считаться наречиями. Они все тоже выражают состояние, но бла­годаря отсутствию параллельных форм, которые бы выражали **дей­ствие** или **качество** (впрочем, *замужем / замужняя; в состоянии / могу*), эта идея недостаточно подчеркнута.

Хотя все эти параллели едва ли укрепили мою новую катего­рию, так как слишком разнообразны средства ее выражения, од­нако несомненным для меня являются попытки русского языка иметь особую категорию состояния, которая и вырабатывается на разных путях, но не получила еще, а может и никогда не получит, общей марки. Сейчас формально **категорию состояния** пришлось бы определять так: это слова в соединении со связкой, не являю­щиеся, однако, ни полными прилагательными, ни именительным падежом существительного; они выражаются или неизменяемой формой, или формой существительного с предлогом, или форма­ми с родовыми окончаниями — нуль для мужского рода, *-а* дляженского рода, *-о*, *-э* (*искренне*) для среднего рода, или формой творительного падежа существительных (теряющей тогда свое нор­мальное, т.е. инструментальное, значение).

Если не признавать наличия в русском языке **категории состо­яния** (которую за неимением лучшего термина можно называть предикативным наречием, следуя в этом случае за Овсянико-Куликовским), то такие слова, как *пора, холодно, навеселе* и т.п., все же нельзя считать наречиями, и они просто остаются вне катего­рий. <...>

VIII. В категории **глаголов** основным значением, конечно, яв­ляется только **действие,** а вовсе не **состояние,** как говорилось в старых грамматиках. Эта проблема, по-видимому, возникла из по­нимания «частей речи» как рубрик классификации лексических значений. После всего сказанного в начале ясно, что дело идет не о значении слов, входящих в данную категорию, а о значении категории, под которую подводятся те или иные слова. В данном случае очевидно, что, когда мы говорим *больной лежит на крова­ти* или *ягодка краснеется в траве,* мы это «лежание» и «краснение» представляем не как состояния, а как действия.

Формальных признаков много. Во-первых, изменяемость и не только по лицам и числам, но и по временам, наклонениям, ви­дам и другим глагольным категориям.\* Между прочим, попытка некоторых русских грамматистов последнего времени представить инфинитив как особую от глагола «часть речи», конечно, абсо­лютно неудачна, противоречива естественному языковому чутью, для которого *идти* и *иду* являются формами одного и того же слова.\*\* Эта странная аберрация научного мышления произошла из того же понимания «частей речи» как результатов классифика­ции, которое свойственно было старой грамматике, с переменой лишь principium divisionis, и возможна была лишь потому, что люди на минуту забыли, что форма и значение неразрывно связа­ны друг с другом: нельзя говорить о **знаке,** не констатируя, что он что-то значит; нет больше языка, как только мы отрываем форму от ее значения (см. по этому поводу совершенно правиль­ные разъяснения Н. Н. Дурново в его статье «В защиту логичности формальной грамматики» в журнале «Родной язык в школе», книга 2-я, 1923, стр. 38 и сл.). Но нужно признать, что аберрация эта выросла на здоровой почве протеста против бесконечных рубрификаций старой грамматики, не основанных ни на каких объек­тивных данных. В основе ее лежит, таким образом, правильный и здоровый принцип: нет категорий, не имеющих формального выражения. <...>

\* Признание категории лица наиболее характерной для глаголов (отсюда оп­ределение глаголов как «слов спрягаемых») в общем верно и психологически понятно, так как выводится из значения глагольной категории: «действие», по нашим привычным представлениям, должно иметь своего субъекта. Однако факты показывают, что это не всегда бывает так: *моросит, смеркается* и т.п. не имеют формы лица, <...> однако являются глаголами, так как дело решается не одним каким-либо признаком, а всей совокупностью морфологических, синтаксических и **семантических** данных.

\*\* Под «формами» слова в языковедении обыкновенно понимают материально разные слова, обозначающие или разные оттенки одного и того же понятия, или одно и то же понятие в разных его функциях. Поэтому, как известно, даже такие слова, как *fеrо, tuli, latum,* считаются формами одного слова. С другой стороны, такие слова, как *писать* и *писатель,* не являются формами одного слова, так как одно обозначает действие, а другое — человека, обладающего определенными признаками. Даже такие слова, как *худой, худоба,* не считаются нами за одно и то же слово. Зато такие слова, как *худой* и *худо,* мы очень склонны считать формами одного слова, и только одинаковость функций слова типа *худо* со словами вроде *вкось, наизусть* и т.д. и отсутствие параллельных этим последним прилагательных создают особую категорию наречий и до некоторой степени отделяют *худо* от *худой.* Конечно, как и всегда в языке, есть случаи неясные, колеблющиеся. Так, будет ли *столик* формой слова *стол*? Это не так уж ясно, хотя в языковедении обыкновенно говорят об **уменьшительных формах** существительных. *Предобрый,* конечно, будет формой слова *добрый, сделать* будет формой слова *делать,* но *добе­жать* едва ли будет формой слова *бежать,* так как самое действие представляется как будто различным в этих случаях. Ср. Abweichungsnamen и Übereinstimmungsnamen у O.Dittnch [в] «Die Probleme der Sprachpsychologie», [Leipzig,] 1913. В истории языков наблюдаются тоже передвижения в системах форм одного слова. Так, обра­зования на *-л-,* бывшие когда-то именами лица действующего, вошли в систему форм славянского глагола, сделались причастиями, а теперь функционируют как формы прошедшего времени в системе глагола (*захудал*); эти же причастия в пол­ной форме снова оторвались от системы глагола и стали прилагательными (*захуда­лый*). Процесс втягивания отглагольного имени существительного в систему глаго­ла, происходящий на наших глазах, нарисован у меня в книге «Восточнолужицкое наречие», |т. 1. Пгр.], 1915, стр. 137.

Итак, изменяемость по разным глагольным категориям с соот­ветственными окончаниями является первым признаком глагола, точно так же и некоторые суффиксы, например *-ов-* || *-у-, -ну-* и др., в общем, впрочем, невыразительные; далее, именительный падеж, непосредственно относящийся к личной форме, тоже оп­ределяет глагол; далее, невозможность прилагательного и возмож­ность наречного распространения; наконец, характерное управле­ние, например: *любить отца,* но *любовь к отцу.*

Теперь понятно, почему инфинитив, причастие, деепричастие и личные формы признаются нами формами одного слова — гла­гола: потому что *сильно* (не *сильный) любить, любящий, любя, люблю дочку* (не *к дочке)* и потому что хотя каждая из этих форм и имеет свое значение, однако все они имеют общее значение **действия.** Из них *любящий* подводится одновременно и под категорию глаголов, и под категорию прилагательных, имея с последним и общие фор­мы и значение, благодаря которому действие здесь понимается и как качество; такие формы условно называются **причастием.** Потем же причинам *любя* подводится под категорию глаголов и отча­сти под категорию наречий и условно называется **деепричастием.** *Любовь* же, обозначая действие, однако, не подводится нами под категорию глаголов, так как не имеет их признаков (*любовь к доч­ке,* а не *дочку*); поэтому идея **действия** в этом слове заглушена, а рельефно выступает лишь идея **субстанции.**

Ввиду всего этого нет никаких оснований во фразе *а она трах его по физиономии!* отказывать *трах* в глагольности: это не что иное, как особая, очень эмоциональная форма глагола *трахнуть* с отри­цательной (нулевой) суффиксальной морфемой. То же и в выражении *Татьяна—ах!* и других подобных, если только не видеть в *ах* вносных слов.

Наконец, из сказанного выше о глаголах вообще явствует и то, что связка *быть* **не глагол,** хотя и имеет глагольные формы, и это потому, что она не имеет значения **действия.** И действительно, единственная функция связки — выражать логические (в подлин­ном смысле слова) отношения между подлежащим и сказуемым: во фразе *мой отец был солдат* в *был* нельзя открыть никаких эле­ментов действия, никаких элементов воли субъекта. Другое дело, когда *быть* является существительным глаголом: *мой отец был вче­ра в театре.* Тут *был = находился, сидел —* одним словом, *проявлял* как-то свое «я» тем, что *был.* Это следует твердо помнить и не считать связку за глагол и функцию связки за глагольную. В так называемых знаменательных связках мы наблюдаем контаминацию двух функций — связки и большей или меньшей глагольности (на­подобие контаминации двух функций у причастий). Осознание и разграничение этих функций очень важно для понимания синтак­сических отношений.

IX. Нужно отметить еще одну категорию слов знаменательных, хотя она никогда не бывает самостоятельной, — это слова **вопро­сительные:** *кто, что, какой, чей, который, куда, как, где, откуда, когда, зачем, почему, сколько* и т.д. Формальным ее выразителем является специфическая интонация синтагмы (группы слов), в состав ко­торой входит вопросительное слово.

Категория слов вопросительных всегда контаминируется в рус­ском языке либо с существительными, либо с прилагательными, либо со словами количественными, либо с наречиями. <...>

\* \* \*

Переходя к служебным словам, приходится прежде всего от­метить, что общие категории здесь не всегда ясны и во всяком случае зачастую мало содержательны.

X. **Связки.** Строго говоря, существует только одна связка *быть,* выражающая логическое отношение между подлежащим и сказуе­мым. Все остальные связки являются более или менее знамена­тельными, т.е. представляют из себя контаминацию **глагола** и **связки,** где глагольность может быть более или менее ярко выражена (см. выше).

Я ничего не прибавлю к общеизвестному о связках, кроме раз­ве того, что у нас как будто нарождается еще одна форма связи — *это.* Примеры: *наши дети— это наше будущее, наши дети— это будут дельные ребята.* Частица *это* больше всего и выражает отно­шение подлежащего и сказуемого и во всяком случае едва ли по­нимается нами как подлежащее: формы связки *быть* служат в дан­ном случае главным образом для выражения времени.

XI. Далее мы имеем группу частиц, соединяющих два слова или две группы слов в одну **синтагму** (простейшее синтаксическое це­лое) и выражающих отношение «определяющего» к «определяе­мому». Они называются **предлогами,** формальным признаком ко­торых в русском языке является управление падежом. Сюда, ко­нечно, подходят и такие слова, как *согласно (согласно вашему предписанию,* а в канцелярском стиле *вашего предписания), кругом, внутри, наверху, наподобие, во время, в течение, вследствие, тому назад* (с вин. пад.) и т.п. Однако по функциональному признаку сюда подошли бы и такие слова, как *чтобы, с целью, как,* например в следующих фразах: *я* *пришел чтобы поесть* = *с* *целью поесть; меня одевали\* как куколку = наподобие куколки.*

\* [В обоих случаях] читать без запятой.

XII. Далее, можно констатировать группу частиц, соединяю­щих слова или группы слов в одно целое — **синтагму** или **синтакси­ческое целое высшего порядка** — на равных правах, а не на прин­ципе «определяющего» и «определяемого», и называемых обыкно­венно **союзами сочинительными.** В ней можно констатировать две подгруппы.

а) Частицы, соединяющие вполне два слова или две группы слов в одно целое, — **союзы соединительные:** *и, да, или\** (не повто­ряющиеся). Примеры: *брат и сестра пошли гулять; отец и мать остались дома; взять учителя или учительницу к своим детям; Иван да Марья; когда все собрались и хозяева зажгли огонь, стало веселее.\*\**

\* *Или* собственно считается **разделительным** союзом, но это едва ли выражает­ся формально (не смешивать *или =* более или менее *то есть).*

\*\* Почти каждый из примеров может быть прочтен и с запятой перед союзом — тогда они попадут в группу присоединительных (см. ниже, раздел XIII).

В той же функции употребляются иногда и предлоги: *брат с сестрой пошли гулять* (особая функция частицы *с* отмечена здесь формой множественного числа глаголов). <...>

б) Частицы, объединяющие два слова или две группы по кон­трасту, т.е. противопоставляя их, — **союзы противительные:** *а, но, да.* Благодаря этому противопоставлению каждый член такой пары сохраняет свою самостоятельность, и этот случай «б)» не только по смыслу, но и по форме отличается от случаев «а)». Примеры: *я хочу не большой, а маленький платок; она запела маленьким, но чис­тым голоском; мал золотник, да дорог; я вам кричал, а вы не слышали; вы обещали, но это не всегда значит, что вы сделаете.*

XIII. Те же союзы могут употребляться и в другой функции: тогда они не соединяют те или другие элементы в одно целое, а лишь **присоединяют** их к предшествующему. Тогда как в случае раз­дела XII оба члена присутствуют в сознании, хотя бы в смутном виде, уже при самом начале высказывания, в настоящем случае второй элемент появляется в сознании лишь после первого или **во время** его высказывания. Формально выражается указанное раз­личие функций фразовым ударением, иногда паузой и вообще ин­тонацией (точных исследований на этот счет не имеется). Ясными примерами этого различия может послужить разное толкование следующих двух стихов Пушкина и Лермонтова:

1) как надо читать стих 14 стихотворения Пушкина «Воспоми­нание»: *Я трепещу и проклинаю...* или *Я трепещу, и проклинаю...?.* Я стою за первое (см.: Русская речь, I, [Пгр., 1923,] стр. 31);

2) как надо читать стих 6 стихотворения Лермонтова «Парус»: *И мачта гнется и скрипит...* или *И мачта гнется, и скрипит...?.* Я стою за второе.

Прав я или нет в моем понимании, в данном случае безразлич­но, но возможность самого вопроса, а следовательно — и двоякая функция союза *и,* думается, очевидны.\*

\* Такое разное толкование может получить и пример Пешковского (Русский синтаксис... стр. 325): *червонец был запачкан и в пыли* или *червонец был запачкан, и в пыли.*

Союзы в этой функции можно бы назвать **присоединительными.** Другие примеры: я *сел в кибитку с Савельичем, и отправился в доро­гу* (пример заимствован у Грота, но запятая принадлежит мне); *вчера мы собрались большой компанией и отправились в театр, но проскучали весь вечер; На ель ворона взгромоздись, позавтракать было совсем уж собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала; я приду очень скоро, или совсем не приду; дело будет тянуться без конца, или сразу оборвется. <...>*

XIV. Особую группу составляют частицы, «уединяющие» слова или группы слов и образующие из них «бесконечные» ряды одно­родных целых. Формальным выражением этой категории является, во-первых, повторяемость частиц, а во-вторых, специфическая ин­тонация. Они организуют то, что я называю «открытыми сочетаниями» (см.: Русская речь, I, стр. 22). Сюда относятся *и— и..., ни— ни..., да— да..., или— или...* и т.п.Их можно бы для краткости назвать **союзами слитными.** Примеры известны: *И пращ, и стрела, и лукавых кинжал щадят победителя годы; меня ничто не веселило— ни новые игрушки, ни сказки бабушки, ни только что родившиеся ко­тята. <...>*

XV. Совершенно особую группу составляют частицы, выража­ющие отношение «определяющего» к «определяемому»\* между дву­мя **синтагмами** и объединяющие их в одно синтаксическое целое высшего порядка (в разделе XI дело происходило внутри одной синтагмы). Частицы эти удобнее всего назвать **относительными сло­вами.** Сюда подойдет и то, что традиционно называют **союзами подчинительными** *(пока, когда, как, если, лишь, только* и т.п.); но сюда подойдут и так называемые «относительные местоимения и наре­чия» (*который, какой, где, куда, зачем* и т.д.). Говорю «так называе­мые», потому что зачастую действительно нет причин видеть, на­пример, в относительном *который* знаменательное слово, так как оно имеет лишь формы знаменательных слов, но не их значение. Сомневающиеся пусть попробуют определить, чем является *кото­рый—* существительным или прилагательным — во фразе *я* *нашел книгу, которая считаюсь пропавшей.\*\** Точно так же трудно признать наречие *когда* хотя бы и в таком примере, как *в тот день, когда мы переезжали на дачу, шел дождик.* Однако возможность контамина­ции двух функций — служебной (относительной) и знаменатель­ной, особенно существительной, — несомненна. Можно бы даже говорить о «знаменательных относительных словах» (ср. знамена­тельные связки). Например: *гуляю, с кем хочу; отец нахмурил брови, что было признаком надвигавшейся грозы.*

\* Я употребляю здесь эти слова, так же как и выше. < > в самом широком смысле.

\*\* Таким образом, подобно тому как существуют служебные слова спрягающи­еся — связки, — возможны и служебные слова склоняющиеся.

Формальными признаками категории относительных слов яв­ляется общее всем служебным словам отсутствие фразового ударе­ния, а также то, что эти слова входят в состав синтагмы с харак­терной относительной интонацией. То, что делает эту категорию особенно живой и яркой, — это ее соотносительность со словами знаменательными. *Когда вы приéдете, мы будем уже дóма. / Когдá вы приедете? Я знаю, что вы пúшете. / Чтó вы пишете? Год, в котором вы приéхали к нам, для меня особенно памятен. / В котóром году вы приехали к нам?*

Недаром относительность всеми всегда ощущалась как единая категория, хотя и фигурировала зачастую в двух разных местах грам­матики. <...>

Проповедуя необходимость реформы старой школьной грам­матики, я всегда отдавал себе ясный отчет в том, что реформа не поведет к облегчению. Идеалом была для меня всегда замена схо­ластики, механического разбора — живой мыслью, наблюдением над живыми фактами языка, думаньем над ними. Я знаю, что ду­мать трудно, и тем не менее думать надо и надо; и надо бояться схоластики, шаблона, которые подстерегают нас на каждом шагу, всякий раз, как мысль наша слабеет. Поэтому не следует прельщать­ся легким, простым и удобным: оно приятно, так как позволяет нам не думать, но ложно, так как скрывает от нас жизнь, беспо­лезно, так как ничему не учит, и вредно, так как ввергает мысль нашу в дремоту. <...>

*В.В. Виноградов* Основные вопросы синтаксиса предложения (на материале русского языка)\*

Слова и словосочетания — по грамматическим правилам и за­конам, свойственным данному языку, — соединяются в предло­жения. <...>

\* *Виноградов В. В.* Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975. С. 254-294.

Предложение — это грамматически оформленная по законам данного языка целостная (т.е. неделимая далее на речевые едини­цы с теми же основными структурными признаками) единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли. Язык как орудие общения и обмена мыслями между всеми членами общества пользуется предложением как ос­новной формой общения. Правила употребления слов в функции предложений и правила соединения слов и словосочетаний в пред­ложении — ядро синтаксиса того или иного языка. На основе этих правил устанавливаются разные виды или типы предложений, свой­ственные данному конкретному языку. В предложении выражается не только сообщение о действительности, но и отношение к ней говорящего.

Каждое предложение с грамматической точки зрения представ­ляет собой внутреннее единство словесно выраженных его членов, порядка их расположения и интонации. <...>

Анализ основных грамматических категорий, обнаруживающих­ся в строе предложения и определяющих его, например, катего­рий времени, модальности, предикативного сочетания слов и т.д., показывает специфику предложения, его коренные отличия от суждения, несмотря на тесную связь с ним. Суждение не может существовать вне предложения, которое является формой его об­разования и выражения. Но если суждение выражается в предло­жении, то это еще не значит, что назначение всякого предложе­ния — выражать только суждение.

Тип предложения не остается неподвижным. Он может иметь разные варианты, которые возникают на основе видоизменения и последующего абстрагирования тех или иных составных частей предложения, на основе обогащения и совершенствования его структуры. Так, исторически сложившаяся структура именного двусоставного (или двучленного) предложения прежде всего варь­ируется в зависимости от состава сказуемого, которое может быть выражено разными именными категориями (существительным, прилагательным, числительным, местоимением) или наречием именного типа и включать в себя связку, полузнаменательный или полувспомогательный глагол. Например: *Космополитизм — че­пуха, космополит — нуль, хуже нуля* (Тургенев. «Рудин»); *Все это сваливалось в кладовые и все становилось гниль и прореха* (Гоголь. «Мертвые души»); *Богатырь ты будешь с виду И казак душой* (Лер­монтов. «Казачья колыбельная песня»); *Она слыла чудачкой* (Тур­генев. «Дворянское гнездо»). Те разновидности именных предло­жений, которые содержат в своем составе так называемые полу­знаменательные глаголы типа *оставаться — остаться, считаться, казаться, показаться, оказаться, называться* и т.п., приближа­ются к глагольному типу предложения, являются глагольно-именными.

Еще более ярко выражен составной — именной и в то же вре­мя глагольный характер в предложениях со сложным сказуемым, куда входят в сочетании с именем существительным или прилага­тельным глаголы движения или состояния (типа *прийти, вернуться, ходить; работать, жить, сидеть, лежать* и т.п.). Например: *Никто не родится героем, Солдаты мужают в бою* (Л. Ошанин. «Солдаты мужают в бою»). <...>

Разграничение двух основных типов предложения — двусос­тавных и односоставных — прочно вошло в научный синтаксис русского языка. <...>

Вопрос о формах и типах грамматического построения односо­ставных предложений нуждается в дальнейшем углубленном ис­следовании. В высшей степени важно уяснить специфические осо­бенности их структуры соотносительно с основными типами дву­составных предложений. Само собой разумеется, что было бы нецелесообразно стремиться к отысканию «подлежащих» и «ска­зуемых» или каких-нибудь их «эквивалентов» во всех типах одно­составных предложений. Однако в некоторых их формах можно найти морфологические соответствия одному из главных членов двусоставного (двучленного) предложения. Например, предложе­ние *Градом побило рожь* находится в синонимической граммати­ческой связи с двусоставным предложением *Град побил рожь.* По­этому *побило* воспринимается как выраженное безличной формой глагола сказуемое односоставного предложения. Морфологическая категория безличности, свойственная глаголу, как бы санкциони­рует особую синтаксическую форму сказуемого, не соотноситель­ного с подлежащим. Неопределенно-личные предложения *(Говорят, Просят не курить* и т.п.) и предложения обобщенно-личные *(Любишь кататься— люби и саночки возить)* также функционально-синтаксически (при наличии своеобразных семантических и стилис­тических оттенков) мало отличаются от двусоставных конкретно-личных глагольных предложений (ср. *Сижу и думаю — Я сижу и думаю; Ты видишь свои ошибки — Видишь свои ошибки* и т.п.). В неопределенно-личных предложениях форма 3-го лица множе­ственного числа глагола обозначает личное действие, осуществля­емое неопределенным количеством, неопределенным множеством лиц; в обобщенно-личных предложениях форма 2-го лица выра­жает действие, связываемое с собирательным лицом, с любым человеком вообще. <...>

Приходится признать существование таких предложений, на­значением которых является не выражение суждения, а выраже­ние вопроса и побуждения как особых разновидностей мысли. <...>

Изучая правила составления предложений, синтаксис прежде всего должен выяснить, как слова и словосочетания, объединяясь в структуре предложения в качестве его членов, образуют предло­жение — эту основную синтаксическую единицу языкового обще­ния — и в чем заключаются характерные конструктивно-грамма­тические признаки предложения. В нашей отечественной грамма­тической науке выдвинуты два общих характерных признака предложения в русском языке, хотя взаимоотношение и взаимо­действие этих признаков до настоящего времени остаются не вполне определенными. Это — интонация сообщения и предикативность, т.е. отнесенность высказываемого содержания к реальной действи­тельности, проявляющаяся в совокупности таких грамматических категорий, которые определяют и устанавливают природу предло­жения как основной и вместе с тем первичной грамматически организованной единицы речевого общения, выражающей отно­шение говорящего к действительности и воплощающей в себе от­носительно законченную мысль. Наличие обоих этих признаков для предложения обязательно.

<...> Слова и словосочетания, соединенные в предложении большей частью посредством тех же приемов согласования, уп­равления и примыкания, которые характерны для связей слов внут­ри словосочетания, без соответствующей организации их интона­ционными средствами еще не представляют собой сообщения. Интонационными средствами устанавливается, обусловливается коммуникативное значение слов в предложении, определяется членение предложения и осуществляется его внутреннее единство. Благодаря интонации не только соединения слов, но и отдельные слова могут приобрести значение предложений. <...> Можно сомневаться в том, что в каждом предложении, даже в разговорном предложении резко эмоционального, грамматически нерасчленен­ного характера вроде: *Ну и ну! То-то! Ваня! Еще бы! Вот тебе на! Ай, ай, ай!* и т.п., выражается предикативное сочетание субъекта и пре­диката, но нельзя сомневаться в том, что этим выражениям или высказываниям присуща интонация сообщения. Интонация сооб­щения, таким образом, является важным средством оформления предложения и выступает в качестве одного из постоянных харак­терных признаков предложения. Именно в этом признаке заключа­ется одно из коренных отличий предложения от словосочетания.

Различием интонаций в значительной степени определяются основные функциональные и вместе с тем модальные типы пред­ложений — предложения повествовательные, вопросительные и побудительные. <...>

Главными интонационными средствами, выполняющими ос­новные функции в организации предложения, являются ударение и мелодика. <...> Интонация, однако, не исчерпывает и не опре­деляет грамматической сущности предложения и своими вариаци­ями не обусловливает и не создает всего многообразия видов пред­ложений в русском языке. <...>

Интонация сама по себе, т.е. вне словесного содержания, вне отношения речи к действительности, расчлененной, законченной, логически построенной мысли не выражает. Интонация не являет­ся средством формирования и воплощения мысли, без слов она может быть выразительной, но не является содержательной, т.е. не служит материальной оболочкой мысли. Об интонации сообщения можно сказать, что она является лишь формой выражения более или менее замкнутой единицы речи (предложения). Однако интона­ция вовсе не является формой грамматического построения предло­жения. Правда, интонация может служить средством превращения слова и словосочетания в предложение, может выполнять предика­тивную функцию, но интонации не свойственно предметно-смыс­ловое содержание. <...> В таких формах общения, как письменная речь, интонация нередко отступает на второй план. <...>

Со структурой предложения связаны свои особые синтакси­ческие категории, базирующиеся на морфологических категори­ях, но далеко выходящие за их пределы: категории времени и модальности, а также — в широком синтаксическом понимании — и категория лица, т.е. те категории, которые выражают отношение сообщения к действительности и подводятся под общее понятие «предикативности»; эти категории могут быть свойственны пред­ложению в целом — независимо от наличия в его составе глагола. Так, безглагольные односоставные предложения, содержащие лишь одно-единственное понятие или представление, соответствующим образом соотнесенное с действительностью (например: *Мороз. Тише! Внимание!* и т.п.), представляют собой единицы речевого обще­ния, грамматически организованные на основе тех же категорий модальности и времени.

Среди одночленных (или односоставных) предложений в рус­ском языке есть предложения, функция которых сводится к про­стому утверждению или отрицанию, выражению согласия или не­согласия или к общей экспрессивно-модальной оценке предше­ствующего высказывания. Это — предложения, основу которых составляют утвердительные или отрицательные слова *да* и *нет,* модально окрашенные слова и частицы (типа: *разве? едва ли! мо­жет быть! конечно! вероятно!* и т.п.), междометия и слова, близ­кие к междометиям. Внутренняя сущность модальной функции та­ких слов, как *да, нет, несомненно* и т.п., ярко сказывается в том, что иногда в диалогической речи они становятся своеобразными заместителями глагольного сказуемого с присущими ему значени­ями времени, лица и наклонения, например: *А в прошлом году вы имели отпуск?— В прошлом году да; А с мамой ты согласна остать­ся?— С мамой да, а с Петькой нет.* Вместе с тем слово *да* может входить в состав сложного предложения в качестве одной из его основных составных частей: — *Ветерок в аллее?— Да, потому что листья дрожат;— А вы ему должны, что ли?— Вот в том-то и беда моя, что да.*

Предложения типа *да, нет, конечно* и т.п., нередко очень экс­прессивные, выражают модальную квалификацию сообщения и иногда содержат побуждение к какому-нибудь действию, следова­тельно, они также выражают синтаксическую категорию модально­сти. <...> Поэтому модальные слова-предложения всегда рассматри­вались как особый тип предложений, <...> не имеющих и не способ­ных иметь в своем составе никаких членов предложения — главных или второстепенных. И все же они имеют модальные значения. Пред­ложения этого типа употребляются преимущественно в диалогичес­кой речи, в ответных и вопросительных репликах собеседников. Они могут, как отголоски внутреннего диалога, употребляться и в мо­нологической речи, при подтверждении уже высказанного, при возражении самому себе и в других подобных случаях.

Вот несколько иллюстраций: [Подколесин] (с самодовольной улыбкой). *А преконфузно однако же должно быть, если откажут.* [Кочкарев] *Еще бы!* (Гоголь. «Женитьба»); — *Ну, у тебя грехов не­много. — Ах, все-таки, —* сказал Левин, — *все-таки, — «с отвра­щением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалу­юсь...» Да.* (Л. Толстой. «Анна Каренина»).

Таким образом, значение и назначение общей категории пре­дикативности, формирующей предложение, заключается в отне­сении содержания предложения к действительности. В этом и со­стоит различие между словом *зима* со свойственным ему лексичес­ким значением и предложением *Зима* в таком пушкинском стихе: *Зима. Что делать нам в деревне? <...>*

Общее грамматическое значение отнесенности основного со­держания предложения к действительности конкретизируется в синтаксических категориях модальности, а также времени и лица. Именно они придают предложению значение основного средства общения, превращая строительный материал языка в живую, дей­ственную речь. <...>

Отношения сообщения, содержащегося в предложении, к дей­ствительности — это и есть прежде всего модальные отношения. То, что сообщается, может мыслиться говорящим как реальное, налич­ное в прошлом или в настоящем, как реализующееся в будущем, как желательное, требуемое от кого-нибудь, как недействительное и т.п. Формы грамматического выражения разного рода отношений содержания речи к действительности и составляют синтаксическое существо категории модальности. Категорией модальности опреде­ляются различия между разными модальными типами предложения. Кроме форм глагольных наклонений, категория модальности выра­жается модальными частицами и словами, а также интонацией. <...> Модальность инфинитивных предложений определяется самой фор­мой инфинитива и интонацией, а усиливается и дифференцируется частицами. Для модальных значений этих предложений характерно и то обстоятельство, что они обозначают действие, которое совер­шится в будущем или должно совершиться по воле говорящего лица. Например: [София] *Вот вас бы с тетушкою свесть, Чтоб всех знакомых перечесть* (Грибоедов. «Горе от ума»); *Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку* (Лермонтов. «Княжна Мери»); *Не расти траве После осени; Не цвести цветам Зимой во снегу* (Кольцов. «Русская песня»); *Когда же тут хромать? Тут, братец ты мой, уже не до хромоты* (Шолохов. «Тихий Дон»).

В так называемых инфинитивно-назывных предложениях закон­ченность всему предложению сообщает интонация, выражающая субъективно-модальное отношение к действию: *Возможно ли! меня продать! — Меня за поцелуй глупца ...* (Лермонтов. «Маскарад»); [Саша] *Она очень нервна стала.* [Каренин] *Две ночи не спать, не есть.* [Саша] (улыбаясь). *Да вы тоже...* [Каренин] *Я — другое дело* (Л. Толстой. «Живой труп»).

С категорией модальности тесно связана категория времени. Предложение как форма сообщения о действительности включает в себя синтаксическое значение времени. Это значение создается не только формами времен глаголов, кратких прилагательных и категории состояния (с помощью связки), но и глагольными фор­мами наклонения (ср., например, связь форм повелительного на­клонения с глагольными формами будущего времени), а также — при известных интонациях — формой инфинитива; в сообщениях же о настоящем или о прошлом, изображаемом как наличное, значение времени выражается также отсутствием морфологичес­кой формы с грамматическим значением времени. Синтаксичес­кое значение времени, создаваемое ситуацией и контекстом речи, присуще и таким предложениям, как *Огонь!* [в значении: 1) «стре­ляй!», 2) «зажги огонь» или «принеси огня!» и 3) «виден огонь»]; *Брр!* (в значении: «холодно» или «я озяб»); *Пора, пора! Тишина. Минуту внимания!* ит.п. В вопросо-ответных предложениях, состав­ляющих парное единство, значение времени в ответе нередко пред­определено предшествующим вопросительным предложением.

Так как предложение как основная форма речевого общения слу­жит одновременно и средством выражения мысли для говорящего лица, и средством понимания высказанной мысли для лица слуша­ющего, то структура предложения включает в себя и разные спосо­бы выражения синтаксической категории лица. <...> В русском языке грамматическая категория лица, связанная с характеристикой отно­шения речи к говорящему (или говорящим), к собеседнику (или собеседникам) и к тому третьему, о чем может идти речь, выража­ется главным образом формами местоимений и глагола. В строго оп­ределенных типах предложений отношение к лицу может выражать­ся также посредством особых интонаций (требования, побуждения. просьбы, приказа или упрека, желания и т.п.). Например: *Будь граж­данин! Служа искусству, Для блага ближнего живи* (Некрасов. «Поэт и гражданин»); *Прощай, свободная стихия!* (Пушкин. «К морю»); *И, пол­но, что за счеты* (Крылов. «Демьянова уха»); *Полно врать пустяки* (Пушкин. «Капитанская дочка»); *А вам, искателям невест. Не не­житься и не зевать бы* (Грибоедов. «Горе от ума»). Ср. предложения типа: *Спасибо. Вон! Прочь! Долой поджигателей войны! Воды!* и т.п.

По-видимому, наиболее прямым, постоянным и непосредствен­ным выражением категории предикативности является модальность предложения. Если предикативность выражает особую отнесенность речи к действительности или соотнесенность речи с действитель­ностью (ср. слово *война* и предложения: *Война! Война? Война. Опус­тошенные поля. Еще страшнее развалины городов*), то категория модальности расчленяет и дифференцирует эту общую функцию предложения, обозначая специфическое качество отношения к действительности — со стороны говорящего лица.

Что касается синтаксической категории времени, то она, так или иначе, прямо или косвенно, дает себя знать в каждом предло­жении. Но — при отсутствии морфологических способов выраже­ния — она не находит прямого выражения в интонации, как кате­гория модальности; в этом случае она может быть производной от модальности, как бы включенной в нее, подобно тому как это происходит и в формах глагольного наклонения, например пове­лительного, в котором потенциально заложено отношение к объек­тивному будущему времени или желательному настоящему, со­слагательного, в котором содержится отрицание факта в прошлом, иногда с подчеркиванием неосуществленной возможности его про­явления, иногда желательность течения действия в настоящем или выполнения его в будущем, даже инфинитива, в котором синтак­сическое значение времени соответственно вытекает из разных мо­дальных функций этой формы.

В связной речи отношение предложения ко времени может также определяться или выражаться контекстом и ситуацией. Например: *Ка-а-к! Ты подкупать меня!* (Салтыков-Щедрин. «Губернские очер­ки»); *А повсюду на полу — Сколько тут железа!* (Твардовский. «Еще про Данилу»); *Эх, дыму-то! Как из прорвы какой!* (Бубеннов. «Белая береза»); *Как быть и как с соседом сладить, Чтоб от пенья его от­вадить?* (Крылов. «Откупщик и сапожник»). Категория лица как структурный элемент предложения является потенциальной. Она выражается, кроме личных форм глагола, также формами личных местоимений, например дательного падежа в сочетании с инфи­нитивом, а в некоторых конструкциях, например инфинитивных или именных, адвербиальных и междометных с императивным значением, — интонацией. Само собой разумеется, что в так назы­ваемых безличных или бессубъектных предложениях категория лица обнаруживается негативно. <...>

Вот несколько примеров разнообразного синтаксического вы­ражения категории 2-го лица: *Вам теперь, чай, не до нас, Тимофей Васильевич?* (А. Жаров. «Гармонь»); *Вам бы прилечь... Что с вами?* (Крымов. «Танкер "Дербент"»); *Сюда! за мной! скорей! скорей! Све­чей побольше, фонарей* (Грибоедов. «Горе от ума»). <...>

Во всяком предложении категория предикативности находит свое полное или частичное выражение. Способы ее выражения, связан­ные с синтаксическими категориями лица, времени и модальности, бывают морфологическими, конструктивно-синтаксическими и ин­тонационно-синтаксическими. <...> *Ну тебя! Покойной ночи! «Огня! кричат... огня!»* (Крылов. «Волк на псарне»); *Заутра казнь* (Пушкин. «Полтава»); [Агния] *Погода-то! Даже удивительно! А мы сидим* (Ос­тровский. «Не все коту масленица»); [Несчастливцев] *Куда и откуда?* [Счастливцев] *Из Вологды в Керчь-с...* (Островский. «Лес»); [Бакин] *Однако, пора и за дело* (Островский. «Таланты и поклонники»); *На полном бегу На бок салазки— и Саша в снегу!* (Некрасов. «Саша»); *Наконец, карета у крыльца. Тетеньки вылезают из нее и кланяются отцу* (Салтыков-Щедрин. «Пошехонская старина»); *Граждане, за ружья! К оружию, граждане! (*Маяковский. «Революция»); [Юлия] *Куда же это мы идем?* [Федор Иванович] *На плотину... Пойдем погуляем... Лучшего места во всем уезде нет... Красота!* (Чехов. «Ле­ший»); *Какое надо иметь мужество, чтобы, например, делать опера­ции или резать трупы! Ужасно!* (Чехов. «Именины»).

Многообразие форм и способов выражения предикативности, разные виды сочетания и переплетения синтаксических категорий времени и модальности, широкие возможности выражения отно­шения говорящего лица к действительности посредством интона­ций модальной окраски, осуществляемое посредством тех же ин­тонаций эмоционально-волевое воздействие говорящего на слу­шателя и эмоционально-волевая реакция его на те или иные факты, явления действительности — все это обнаруживается в разнообра­зии конкретно-языковых форм (или типов) предложений совре­менного русского языка. <...>

Соотносительные члены предложения, связанные предикатив­ными отношениями, — это подлежащее, выраженное формой именительного падежа существительного или местоимения (а так­же субстантивированным словом), и сказуемое, выраженное лич­ной формой глагола, краткой формой причастия, прилагательно­го или другими морфологическими средствами.

Члены предложения — это синтаксические категории, возни­кающие в предложении на основе форм слов и форм словосочета­ний и отражающие отношения между структурными элементами предложения. Между частями речи и членами предложения есть связь и даже взаимодействие, но нет параллелизма. Синтаксичес­кая сущность слова или неделимого словосочетания как члена пред­ложения определяется той функцией, которую несут они в строе предложения.

В строе предложения одна и та же форма слова, в зависимости от ее отношения к другим словам, может выполнять функции раз­ных членов предложения. Осмыслить целиком эти функции в пла­не разных типов словосочетания не всегда оказывается возмож­ным. Словосочетания, вступая в строй предложения, подвергают­ся здесь преобразованиям. Они группируются около основных конструктивных центров предложения, т.е. вокруг его предикатив­ного ядра. Например, в предложении *Этот человек— с умом* соче­тание *с* *умом* выступает в роли сказуемого. Его синтаксическим эквивалентом является краткая форма прилагательного *умен.* Пре­дикативная функция этого выражения может быть непосредствен­но выведена из атрибутивной: *человек с умом.* Однако в строе пред­ложения *Человек с умом не пропадет* словосочетание *человек с умом* с семантической точки зрения не разложимо и в целом выполняет функцию подлежащего. Одно слово *человек* в роли подлежащего само по себе слишком абстрактно и неопределенно (ср. *Умный че­ловек не пропадет* и *Человек умный не пропадет).* Но ср. индивидуа­лизацию слова *человек* посредством указательного местоимения *этот* и обособления сочетания *с* *умом* в предложении: *Этот чело­век, с умом, с талантом, с большими страстями, прожил яркую, инте­ресную жизнь.* В предложении *С* *умом задумано, а без ума сделано* сочетание *с* *умом* служит для характеристики действия и выступает уже не как определение, а как так называемое обстоятельство об­раза действия при сказуемом. Его синонимическим эквивалентом является наречие *умно.* Наконец, в предложении *Сердце с умом не в ладу* (которое является видоизменением известного грибоедовского афоризма «Ум с сердцем не в ладу») *с* *умом* выступает в роли дополнения, так как оно здесь обозначает соучастника действия, т.е. объект, сопоставляемый с субъектом состояния, с подлежа­щим *сердце.*

С другой стороны, в диалогической речи есть предложения, представляющие собой односложную реплику яркой модальной окраски, экспрессивную оценку сообщения собеседника (напри­мер: *Конечно! Еще бы! Как бы не так! Разве?* и т.п.). Такого рода нерасчлененные экспрессивные однословные предложения, есте­ственно, не обрастают другими словами или членами, так как формы синтаксической связи здесь не имеют для себя даже мор­фологической опоры. По отношению к таким предложениям вооб­ще неприменимо понятие «члены предложения».

Грамматическое членение двусоставного (двучленного) пред­ложения в русском языке определяется (и даже предопределяет­ся) устойчивостью так называемого номинативного строя предло­жения в семье индоевропейских языков. Подлежащее имеет впол­не определенную и строго стабильную форму выражения: оно может быть выражено именительным падежом существительного и пред­метно-личного местоимения (или субстантивированным «эквива­лентом» имени — словом или целым словосочетанием, например, у Гоголя в «Сорочинской ярмарке»: — *Слышал ли ты, что поговари­вают в народе?— продолжал с шишкой на лбу, наводя на него искоса свои угрюмые очи),* количественно-именным сочетанием, инфи­нитивом (*Грачи прилетели; Куда ты идешь? Обидеть, обмануть его было бы и грешно, и жалко*).

<...> Форма сказуемого (там, где это морфологически возмож­но) уподобляется форме подлежащего или координируется с ней. Морфологические способы выражения сказуемого в русском языке очень разнообразны. В роли сказуемого могут выступать не только глаголы в личных формах, а также в форме инфинитива, причас­тия, в единичных случаях — деепричастия, но и прилагательное полное и краткое, местоимение, числительное, существительное в именительном и косвенных падежах с предлогом и без предлога, наречие, междометие. Сказуемое бывает простым и составным или сложным; в роли сказуемого нередко выступают целые фразеоло­гические обороты, устойчивые словосочетания, иногда даже слож­ные предложения, например в приписываемом А. П. Чехову афо­ризме: *«Любовь — это когда кажется то, чего нет»* (ср. в повести Ю. Трифонова «Студенты»: *Где-то у старого писателя: «Любовь— это когда хочется то, чего нет и не бывает». Так было всегда - Монтекки и Капулетти, Мадам Бовари, Анна Каренина. Для них лю­бовь была жизнью, а жизнь— мучительством. И трагизм их страда­ний в том, что, борясь за свою любовь, они боролись за жизнь. Так было прежде, в глухие времена. «Любовь — это когда хочется того, чего нет, но что обязательно будет»*). *<...>*

Языковая форма предложения не определяется всецело его грам­матическим составом — отношением подлежащего и сказуемого. Фактически предложение существует как определенное единство своего состава, интонации и порядка слов. Воспользуемся про­стейшим примером для обоснования и развития этой мысли. Пред­ложение *Поезд пришел* таит в себе возможности разных осмысле­ний, если изменять порядок слов и варьировать так называемое логическое ударение. Так, *Поезд пришéл* (с ударением на грамма­тическом сказуемом) — это сообщение о приходе поезда; *Пóезд пришел* (с ударением на подлежащем) — это сообщение о том, что пришел именно поезд. При перестановке слов выступают но­вые оттенки: *Пришел пóезд* (какой-то поезд, о котором не было речи, которого не ждали); *Пришéл поезд* (тот самый, который ну­жен, которого ждали). <...>

Сущность логического ударения заключается в подчеркивании того или иного слова или словосочетания в данном предложении. <...> Любое слово предложения (или целое словосочетание — при его интонационном подчеркивании), несущее на себе логическое ударение, может стать предикатом, сказуемым. <...> При соответ­ствующем использовании интонационных средств логический (или психологический) предикат может быть выражен любым словом предложения. С этим связывается возможность выражения ряда мыслей, иногда совершенно различных, при посредстве одного и того же лексико-синтаксического состава предложения. При пере­мещении логического ударения одно и то же «формально-грамма­тическое предложение» по-разному членится на части, различаю­щиеся между собой по степени важности, «новизны» сообщения: одна из таких частей выражает данное, уже известное содержание мысли, другая — высказывает новое, открываемое и сообщаемое в речи. Выделяемая ударением часть предложения становится важ­нейшим в данной связи и в данной ситуации его членом, словес­ным выражением логического или психологического предиката («психологическим сказуемым»), а все остальные члены предло­жения должны выражать по отношению к этому предикату субъект (или подлежащее). С этой точки зрения грамматическое учение о главных и второстепенных членах предложения устанавливает лишь внешнюю, формальную схему строения предложения, так как в одном и том же предложении находят разное выражение субъекты и предикаты разных суждений. Так, например, указывается, что благодаря ударению выражением предиката может стать дополне­ние с его атрибутами. <...>

Есть заслуживающие внимания попытки освободить изучение соответствующего круга явлений от голой формально-логической интерпретации. Так, чешский лингвист В. Матезиус предлагал раз­личать общее формально-грамматическое, структурное членение предложения и его «актуальное членение», выражающее непо­средственный, конкретный смысл данного предложения в соот­ветствующем контексте или ситуации. <...> При актуальном чле­нении следует прежде всего выделять «исходный пункт» или «ос­нову» высказывания, т.е. то, что в данной ситуации, в данных условиях общения, речи известно или, по крайней мере, очевид­но и из чего говорящий исходит, и «ядро высказывания», т.е. то, что говорящий высказывает в связи с «исходным пунктом» или по отношению к нему. Связи одного и того же по своему формально­му строению предложения с конкретной ситуацией и контекстом могут быть очень различными. Следовательно, в зависимости от различия возможных ситуаций и контекста актуальное членение предложения может быть весьма разнообразным. Очень часто эти различия в осмыслении одного и того же предложения выражают­ся в вариациях порядка слов, а соответственно с этим и порядка, в котором следуют друг за другом основа и ядро высказывания. В повествовательном предложении обычен порядок слов, начина­ющийся с изложения основы (т.е. того, что известно) и направля­ющийся к ядру высказывания; этот порядок можно назвать объек­тивным. Но когда — вследствие специфической эмоциональной мотивировки (обусловленной взволнованностью, внутренней заинтересованностью говорящего, его желанием подчеркнуть что-нибудь и т.п.) — возникает необходимость грамматически выра­зить эмоцию, отношение говорящего к предмету сообщения, тог­да образуется субъективный порядок слов. В этом случае говоря­щий начинает с ядра высказывания и только потом добавляет его основу, раскрывая лишь в самом конце речи связь с ситуацией или контекстом. Такой субъективный порядок словорасположения, размещения ядра высказывания и его основы является нормаль­ным в предложениях вопросительных, побудительных и воскли­цательных. Актуальное членение является основным фактором, оп­ределяющим порядок слов в предложении, а также его членение на интонационно-смысловые группы. <...>

Согласно этому взгляду, различная смысловая нагрузка членов предложения, выражаемая порядком слов, логическим ударением и т.п., заключается в том, что они обозначают либо нечто данное, известное для слушающего, служа исходным пунктом высказыва­ния, либо же нечто, сообщаемое как новое, основное в высказы­вании; новое — это то, ради чего и делается сообщение, — его смысл, цель. <...>

Основным принципом обычного словорасположения в спокой­ной деловой речи является постановка на первое место члена пред­ложения (или группы их), выражающего данное, а за ним того, что сообщается как новое. Однако в языке сплошь и рядом имеют место отклонения от такого словорасположения, суть которых со­стоит в том, что новое предшествует данному. Этим достигается более сильное выделение нового, следовательно, большая выра­зительность речи. Такой порядок слов особенно характерен для эмо­ционально окрашенной речи, а также применяется как эмфати­ческий прием в стилистических целях. Таким эмфатическим по­рядком слов может быть не только обратный, но и прямой, если подлежащее выражает не данное, а новое. Ср. *Несчастье случилось у них* и *У них случилось несчастье* и т.п. <...>

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения про­тивопоставляются второстепенным: определению, дополнению и обстоятельству. <...>

Во второстепенных членах предложения как бы синтезируют­ся, обобщаются по функции те разнообразные грамматические отношения, которые обнаруживаются между словами в строе сло­восочетаний. В структуре предложения словосочетания соединяют­ся и выстраиваются в строго определенной иерархической пер­спективе. Служа для пояснения главных членов предложения — подлежащего и сказуемого, второстепенные члены могут в свою очередь определяться и дополняться поясняющими их самих вто­ростепенными членами. Например: *Сквозь волнистые туманы Про­бирается луна, На печальные поляны Льет печально свет она* (Пуш­кин. «Зимняя дорога»); *В томленьях грусти безнадежной, В трево­гах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный, И снились милые черты* (Пушкин. «К А. П. Керн»); *Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал Жужжанью дальнему упреков и похвал* (Пушкин. «Желание славы»). <...>

Синтаксические признаки второстепенных членов предложе­ния складываются и развиваются на базе твердо установившихся морфологических категорий и их функционально-синтаксическо­го усложнения в системе разных типов словосочетаний. Именно так установилась категория определения, морфологическим ядром которой явились качественные и относительные прилагательные. Не менее определенны морфологические основы категории до­полнения: формы и функции косвенных падежей имен существи­тельных и местоимений в тех случаях, когда предметное значение имени не поглощается оттенками определительного и обстоятель­ственного характера и не растворяется в них. Морфологическую базу синтаксической категории обстоятельства составляют наре­чие и функционально близкие к ним формы косвенных падежей существительных (обычно с предлогом), когда в них закрепляются значения обстоятельственных отношений. <...>

В речевой общественной практике разговорного обмена мыс­лями, в связи с конкретной ситуацией, при наличии мимики и жестов как вспомогательных выразительных средств, при большой экспрессивной силе интонаций формируются такие структурные типы предложений, в которых отсутствует словесное выражение каких-нибудь отдельных членов, ясных из контекста и ситуации. Например: *Нет ни одной души в прихожей. Он в залу; дальше: никого* (Пушкин. «Евгений Онегин»); [Осип] *Куда тут?* [Мишка] *Сюда, дядюшка, сюда* (Гоголь. «Ревизор»); [Хлестаков] *Как, только два блюда?* [Слуга] *Только-с* (там же); *—А вы на каком факультете?— спросила она у студента.— На медицинском* (Чехов. «Именины»); — *Горячей воды! — говорит он ей на ходу. — И чистый халат, а этот сегодня же выстираете* (Панова. «Спутники»).

Такие предложения, в словесной ткани которых «не хватает» одного или нескольких членов, обычно называются неполными. Однако чаще всего такие предложения не могут быть граммати­чески пополнены без нарушения синтаксических норм современ­ного русского языка. <...> При учете всех средств выражения, си­туации и контекста, при учете структурно-грамматических осо­бенностей так называемых неполных предложений почти каждое из них окажется «полным», т.е. адекватным своему назначению и соответствующим образом выполняющим свою коммуникативную функцию. <...>

В синтаксисе русского языка обычно различаются простое пред­ложение и сложное предложение. На самом деле то, что называет­ся простым предложением, иногда представляет собою очень слож­ную структуру. Простое предложение имеет не только разнообраз­ные формы своего построения, разные типы, но оно может быть осложнено наличием обособленных и однородных членов.

Однородными называются такие выраженные отдельными сло­вами или целыми словосочетаниями члены предложения, кото­рые не только выполняют в составе данного предложения одну и ту же синтаксическую функцию, но и объединяются одинаковым отношением или одинаковой принадлежностью к одному и тому же члену предложения.

Например, в предложении *Днем на мерзлую землю выпал сухой, мелкий снег...* (Горький. «Мать») прилагательные *сухой* и *мелкий,* каждое из которых непосредственно относится к слову *снег* в каче­стве его определения, являются однородными определениями. В предложении *Крупный, мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким, мягким пластом ложится на кры­ши, лошадиные спины, плечи, шапки* (Чехов. «Тоска») стоящие в вини­тельном падеже существительные (*на*) *крыши,* (*лошадиные*) *спины, плечи, шапки* образуют группу однородных дополнений, находя­щихся в одном синтаксическом отношении к сказуемому *ложится* (на что-нибудь).

Однородные члены предложения могут и не сочетаться в еди­ную последовательную цепь перечисления, а располагаться груп­пами, объединенными посредством союзов.

Главными способами выражения однородности членов пред­ложения являются сочинительная связь (посредством соединитель­ных, разделительных, противительных и сопоставительных союзов), интонация перечисления и соединительные паузы.

Например: *Перед глазами ходил океан и колыхался, и гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил куда-то в бесконечность* (Коро­ленко. «Без языка»); *Лес зазвенел, застонал, затрещал* (Некрасов. «Саша»).

Простое предложение, независимо от наличия в нем однород­ных членов, объединено общностью, единством своего предика­тивного ядра. Ведь даже в предложении с несколькими однород­ными сказуемыми сказуемые эти относятся к единому, общему для всех них подлежащему. Различие между простым и сложным предложениями — структурное. Простое предложение организует­ся посредством единой концентрации форм выражения категорий времени, модальности и лица; в сложном предложении может быть несколько органически связанных друг с другом конструктивных центров этого рода.

Внутреннее единство мысли, выражаемой сложным предложе­нием с помощью интонации, а также средств синтаксической свя­зи, спаивает эти части в одно синтаксическое целое, в единство предложения. Сложное предложение в целом имеет значение, ко­торое не выводится из простой суммы значений входящих в него частей, по своему построению близких к простым предложениям.

Строительным материалом для сложного предложения являет­ся не слово и не словосочетание, а простое предложение. Слож­ным называется предложение, представляющее единое интона­ционное и смысловое целое, но состоящее из таких частей (двух или больше), которые по своей внешней, формальной граммати­ческой структуре более или менее однотипны с простыми предло­жениями. Хотя части сложного предложения по внешнему строе­нию однородны с простыми предложениями, но в составе целого они не имеют смысловой и интонационной законченности, ха­рактерной для категории предложения, и, следовательно, не об­разуют отдельных предложений.

Например, рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда» начинается таким сложным предложением, которое составлено из четырех ча­стей, связанных союзами и союзными словами, и которое образу­ет единое смысловое и интонационное целое: *Городок был маленький, хуже деревни, | и жили в нем почти одни только старики, | кото­рые умирали так редко, | что даже досадно. <-..>*

В качестве способа первоначальной ориентировки можно пользоваться традиционным делением сложных предложений на сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные. <...>

Сложносочиненными предложениями называются сложные предложения, части которых объединены при помощи союзов от­ношениями соединительными, сопоставительными, разделитель­ными или противительными. Несмотря на кажущееся равноправие частей, они образуют структурно-синтаксическое и смысловое единство, в котором отдельные части взаимозависимы. Средством связи и вместе с тем взаимообусловленности отдельных частей сложносочиненного предложения служат сочинительные союзы, интонация, а также структурное соотношение этих частей. <...>

Не только содержание, но и структурные своеобразия каждого из предложений в составе сложного предложения взаимообуслов­лены и взаимосвязаны. Вот примеры соотносительности и взаимо­связанности, взаимообусловленности основных частей сложносо­чиненного предложения и отдельных членов внутри этих частей:

1) *Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и все еще она похожа на маленького человечка, размахивающего руками* (Чехов. «Степь»).

Кроме общности форм времени в обоих предложениях, связь частей устанавливается также употреблением местоимения *она* во втором предложении и соотносительным параллелизмом слов и сло­восочетаний: *по-прежнему машет крыльями— все еще ...похожа на... человечка, размахивающего руками.* Ср. *Дни проходили за днями, и каж­дый день был похож на предыдущий* (Достоевский. «Бедные люди»).

2) *Ты всегда был строг ко мне, и ты был справедлив...* (Тургенев. «Рудин»).

3) При наличии оттенка причинно-следственного соотноше­ния: *Я понял, что я дитя в ее глазах — и мне стало очень тяжело!* (Тургенев. «Первая любовь»). Ср. иное соотношение основных час­тей: *Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться* (Лермон­тов. «Бэла»).

В сложном предложении *Я понял, что я дитя в ее глазах— и мне стало очень тяжело!* безличное предложение выражает состояние как следствие того, о чем сообщается в первой части сложного предложения. Формы прошедшего времени совершенного вида, находящиеся в обеих частях сложного предложения, выражают по­следовательность событий.

В сложном предложении *Душно стало в сакле, и я вышел на воз­дух освежиться* безличное предложение выдвинуто на первый план. В нем сообщается о наступившем состоянии духоты, вследствие чего герой вышел из сакли.

Таким образом, в структурном отношении части этих сложных предложений однотипны, но их положение, их порядок в составе целого могут меняться.

Характерен параллелизм структуры обеих частей сложного пред­ложения, связанных союзом *а,* при наличии лексически совпада­ющих элементов, но с отсутствием во второй части сложного пред­ложения какого-нибудь члена предложения, уже названного в пер­вой. Например:

*Три девушки вбежала в одну дверь, а камердинер в другую* (Пуш­кин. «Пиковая дама»); *Катерина Ивановна с ворчливым супругом от­правилась в свою комнату, а дочка— в свою* (Лермонтов. «Княгиня Лиговская»); [Мыкин] *Холостой человек думает о службе, а жена­тый о жене* (А. Островский. «Доходное место»); *Егорушка долго ог­лядывал его, а он Егорушку* (Чехов. «Степь»). <...>

В сложноподчиненных предложениях части объединяются под­чинительными союзами, относительными местоимениями и мес­тоименными наречиями, интонацией последовательного повыше­ния и понижения, а также соотношением форм времени, реже — наклонения или соотносительностью других членов.

<...> Возьмем в качестве простейшего примера сложные пред­ложения с относительным подчинением определительного значе­ния. Разнообразие их видов обусловлено не только различиями значений определительных частей, связанных с разными относи­тельными словами — *который, какой, что, чей* и т.п. и с соотноси­тельными указательными — *такой, тот* и т.п. Оно обусловлено также разными видами соотносительности форм времени в частях сложного предложения. Например: *Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день* (Горький. «Челкаш»). (Ср. *Море спало здоровым сном работника, который сильно устает за день.*); *Это был типичный донецкий город, жизнь которого без завода бессмысленна и невозможна* (В. Попов. «Сталь и шлак»). (Ср. *Это был типичный донецкий город, жизнь которого без завода была бессмыс­ленна и невозможна.*)

Кроме того, от сложных предложений этого типа с чисто оп­ределительными частями следует решительно отделять такие, в ко­торых часть, вводимая относительным местоимением, выполняет не определительную, а распространительно-повествовательную функ­цию. Тут обычно обнаруживаются и несколько иные принципы со­отношения форм времени, и некоторые своеобразия в структуре вто­рой части. Показательна в этом случае и невозможность употребле­ния в первой части указательного местоимения. Например: *...Я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей...* (Пушкин. «Капитанская дочка»). Если бы было сказано: на т у *тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей,* то смысл был бы дру­гой, определительный: тут было бы указание на уже известную, ранее упомянутую клячу, с которой были связаны какие-то эпи­зоды в предшествующем повествовании; форма прошедшего вре­мени *отдал* получила бы значение преждепрошедшего («некогда, когда-то отдал»). Местоимение *тот* служит для указания на конк­ретный, единичный, выделяемый из ряда других предмет.

Ср. другие виды относительных подчинительных конструкций со значением распространительно-повествовательным: *Я отнесся к ее вопросу серьезно и рассказал ей порядок действий, в конце кото­рого передо мною должны открыться двери храма науки* (Горький. «Мои университеты»); *Я познакомился сегодня с замечательным ар­тистом, который говорит глазами, ртом, кончиком носа и пальцев, едва заметными движениями, поворотами* (Станиславский. «Работа актера над собой»). Ср. *Я познакомился сегодня с замечательным ар­тистом: он говорит глазами, ртом, ушами...*

Любопытно, что для того и другого типа этих сложных пред­ложений с относительным подчинением возможны синоними­ческие конструкции простых предложений с причастными обо­ротами. <...>

Наряду с этим в системе сложноподчиненных предложений встречаются такие предложения, в которых обе части не только взаимоподчинены, но как бы связаны фразеологически. Предло­жения этого типа включают в свой состав союзные фразеологи­ческие сочетания, создающие костяк предложения, определяю­щие схему его синтаксического построения. Фразеологические един­ства, лежащие в основе таких структур, разъединены («дистантны»): одна часть их помещается в первой части сложного предложения, обычно в начале его, другая начинает вторую часть. Например: *Он подозвал командира и не успел выговорить и двух слов, как что-то палящее ошпарило его плечо* (Вс. Иванов. «Пархоменко»). Ср. также сложные предложения, в основе которых лежат фразеологические сочетания: *не прошло... как...*; *стоило... как...* и др.

Таким образом, структурные типы сложноподчиненных пред­ложений очень многообразны. <...>

*Г. Глисон* Введение в дескриптивную лингвистику\*

Глава Х

**Синтаксис**

**1.** Грамматика в целях удобства подразделяется на две час­ти — морфологию и синтаксис. **Синтаксис** можно в общем оп­ределить как принципы аранжировки сочетаний, образованных в процессе словообразования и словоизменения (слов), в более крупные сочетания различного рода. Граница между морфоло­гией и синтаксисом не всегда отчетлива. Для некоторых языков приведенное определение синтаксиса весьма удачно, для дру­гих — оно вызывает серьезные затруднения. Но другого, более удовлетворительного определения, которое было бы примени­мо ко всем языкам, нет. Тем не менее, несмотря на расплывча­тость границ синтаксиса, его принципы <...> приложимы к са­мым различным языкам, и знание их полезно даже тогда, когда синтаксис менее четко отграничивается от остальной части грам­матики.

\* *Глисон Г.* Введение в дескриптивную лингвистику/Перевод с англ. М., 1959. С. 185-203.

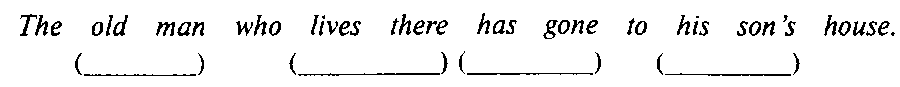
**2.** Как сущность проблемы, так и общий подход к ее решению лучше всего продемонстрировать на каком-либо примере. Мы нач­нем с примера, взятого из письменного английского языка. <...> При предварительном обсуждении мы условимся не обращать вни­мания на те языковые признаки, которые не отражены в написа­нии: ударение, тон, переходы, но мы используем принятое на письме разграничение слов и обойдем, таким образом, вопрос о том, что такое слово. В нашем конкретном примере при этом ниче­го не искажается, но в других случаях орфографические границы слов могут вводить в заблуждение.

**3.** *The old man who lives there has gone to his son's house.*

«Старик, который живет там, пошел к дому своего сына». В этом английском высказывании двенадцать слов. Прежде все­го мы можем предположить, что кажцое из слов находится в опре­деленных отношениях с каждым другим словом в отдельности и что эти отношения можно сформулировать. Исчерпывающе охарастеризовав взаимосвязи, мы тем самым охарактеризуем синтак­сическую структуру данного высказывания во всей ее полноте.

Попытавшись сделать это, мы обнаружим вскоре, что отно­шения между каждой парой слов весьма различны. Например, слова *old* и *man* находятся в такой прямой и непосредственной связи, которую сравнительно легко сформулировать. В то же время между словами *old* и *house* подобной прямой и ясной связи нет, а суще­ствующие между ними отношения весьма сложны и, очевидно, менее интересны. Можно было бы заключить, что это происходит просто потому, что *old* и *man* стоят в высказывании поблизости друг от друга, a *old* и *house —* далеко. Известная доля истины здесь есть, но, разумеется, свести все к этому нельзя; так, мы не обна­руживаем тесной связи между *there* и *has,* хотя они и расположе­ны рядом. В то же время между словами *man* и *has* ощущается гораздо более тесная связь, хотя они и не являются соседями. По­скольку степень близости между парами слов, как ощущает гово­рящий, весьма различна, описание взаимоотношений каждого слова со всеми другими представляется нецелесообразным. Более того, оно оказалось бы весьма громоздким: так, в высказываний из двенадцати слов пришлось бы проанализировать шестьдесят шесть отношений, а в высказывании из ста слов — четыре тысячи девятьсот пятьдесят.

**4.** Другой возможный путь анализа — выделить такие пары слов, между которыми ощущается наиболее тесная связь. При этом мы ставим условие, что каждое слово может быть членом только од­ной такой пары. В результате может получиться нечто вроде:

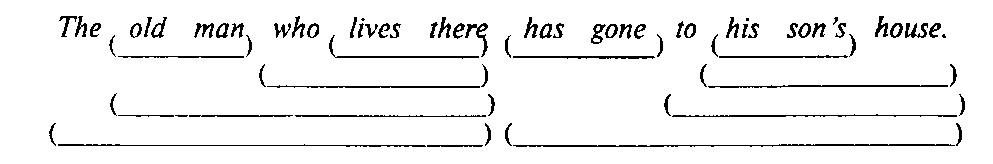


Предположим теперь, что эти пары слов функционируют в высказывании как единое целое. У нас есть некоторые основания полагать, что это именно так, поскольку мы можем заменить лю­бое из этих сочетаний одним словом, получив при этом предложе­ние, отличающееся от нашего по значению, но в известной мере, по-видимому, аналогичное ему по структуре, например: The old man who lives there has gone tohis son's house.

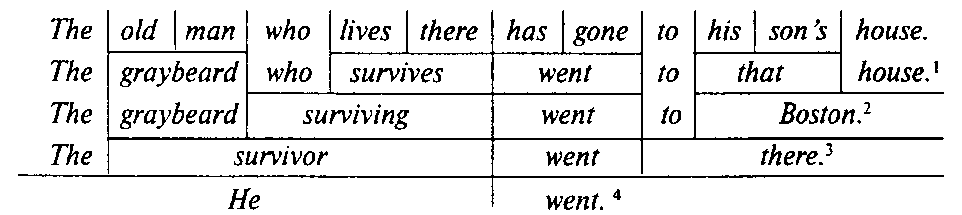
The woman who sews went to Mary's house.\*

\* «Женщина, которая шьет, пошла к дому Мэри». — *Здесь и далее переводы составителей.*

**5.** Если этот путь анализа верен, то ничто не помешает повто­рить его столько раз, сколько это понадобится. В таком случае мо­жет получиться нечто вроде:



В дополнение к проделанному можно привести следующий ряд высказываний.



1 «Седобородый (старик), который выжил, пошел к тому дому»

2 «Седобородый (старик), выжив, поехал в Бостон».

3 «Выживший пошел туда».

4 «Он пошел».

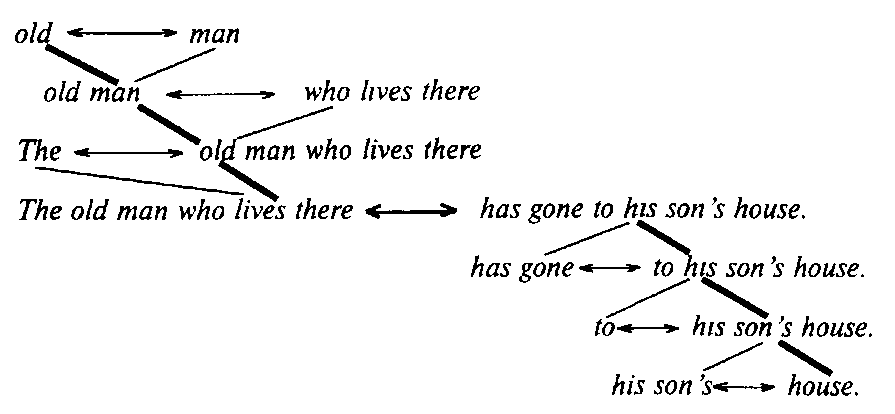
Таким способом мы постепенно сократили число единиц в примере от двенадцати до восьми, затем до шести, до четырех и, наконец, только до двух.

**6.** Почти те же результаты можно получить, идя в обратном направлении. Можно попросить говорящего выделить основные части высказывания, которыми, видимо, будут *The old who lives there* и *has gone to his son's house.* (Что это именно так, вытекает из наблюдения, сделанного нами раньше: между *there* и *has,* несмот­ря на то, что они стоят рядом, нет никакой явной прямой связи.) Процесс членения можно продолжать для каждой части до тех пор, пока в конечном итоге она не будет состоять из одного слова. (Это предел лишь синтаксического деления, которое интересует нас в данный момент. Само деление можно было бы продолжить уже на другом, более глубоком уровне, расчленив, скажем, *lives* «живет» на *live* «жив-» и *-s* «-ет», что перенесло бы нас из области синтак­сиса в морфологию.) Тогда мы, вероятно, получим нечто подоб­ное:

*The* | *old | man* || *who | lives | there* **|** *has | gone | to* || *his | son's | house.*

В данном случае результаты использования указанных двух при­емов совпадают. Однако при анализе ряда других высказываний оба метода могут привести к сходным, но не тождественным ре­зультатам.

**7.** Те приемы, которые мы только что охарактеризовали в об­щих чертах, принесут пользу, если они послужат основой для плодотворного и экономного описания всех связей высказывания. Рассмотрим связь между словами *old* и *house.* Мы чувствуем, что эта связь непрямая. Наш анализ показывает, что действительно в данном предложении эти слова стоят предельно далеко друг от друга. Связь между ними существует лишь постольку, поскольку каждое из них принимает участие в формировании двух частей одного предложения, которые в конечном счете связаны между собою определенным образом. Схематически это можно изобра­зить так:



Жирная линия в этой схеме показывает, что между *old* и *house* все же существует самая прямая, хотя и весьма сложная и отда­ленная связь. Это подтверждает наше первое впечатление, что о связи между данными словами вряд ли стоило бы и говорить, если бы мы не ставили перед собой задачи исчерпывающе охарактери­зовать синтаксический строй рассматриваемого высказывания. Ди­аграмма помогает также установить следующее важное обстоятель­ство: связь между *old* и *house,* сама по себе несущественная, может быть, тем не менее, изображена посредством такой цепи отноше­ний, каждое из звеньев которой в отдельности представляется зна­чимым. Мы можем достигнуть нашей цели — исчерпывающего опи­сания синтаксического строя высказывания — при помощи надле­жащего отбора тех связей, которые надо описать.

**8.** При правильном использовании метод описания, при кото­ром структура высказывания характеризуется через все более круп­ные сочетания и их связи, оказывается широко применимым и полезным. <...>

В том виде, в каком мы излагали материал выше, объединение меньших единиц в большие производилось зачастую наугад — оно основывалось на бессознательной интуиции говорящего. <...>

«Интуитивный» метод бесполезен для лингвиста, изучающего чужой язык, потому что здесь он лишен языкового «чутья», при­сущего лишь тем, кто говорит на своем родном языке.

Но возможен и такой метод, который позволил бы выявить наилучшую организацию любого данного высказывания и полу­чить сходные результаты при исследовании сходного материала. Это и является основной задачей синтаксиса. В последующих пара­графах мы обсудим некоторые связанные с этим проблемы. К со­жалению, до сих пор еще не разработано полностью такой мето­дики исследования, которая была бы универсальной. <...>

**9.** Для дальнейшего изложения материала нам понадобятся не­которые определения:

**Конструкция** — это любая значащая группа слов (или морфем). Так, в рассмотренном нами примере все высказывание в целом представляет собой конструкцию. Конструкцией является и *the old man who lives there* и *old man.* Однако *there has —* это не конструк­ция, поскольку между данными словами нет прямой связи. Не яв­ляется конструкцией и одно слово, например *man.* На синтакси­ческом уровне *lives —* не конструкция, но на другом уровне, мор­фологическом, оно представляет собой конструкцию, состоящую из двух морфем — *live* и *-s.*

**Составляющими** называются слова или конструкции (или мор­фемы), входящие в какую-либо более крупную конструкцию. Так, в нашем примере составляющими являются все слова. Точно так же составляющими являются *old man* и *the old man who lives there.* Однако *there has* или *man who* нельзя назвать составляющими, как нельзя назвать составляющим все высказывание в целом, ибо оно не является частью более крупной конструкции.

Отметим, что все составляющие, за исключением самых ма­леньких, являются конструкциями; с другой стороны, все конст­рукции, за исключением самых больших, являются составляющи­ми. Огромное число языковых явлений можно определить одно­временно и как конструкции и как составляющие. Выбор термина для характеристики подобных языковых единиц определяется на­шими интересами: если нас интересует данная единица как часть более крупного целого, она — составляющее; если же она интере­сует нас как целое, составленное из более мелких частей, — это конструкция.

**Непосредственно составляющие** (обычно сокращенно они обо­значаются НС) — это одно, два или несколько составляющих, из которых непосредственно образована та или иная конструкция. Например, непосредственно составляющими нашего высказыва­ния будут *the old man who lives there* и *has gone to his son's house. Old man —* это НС конструкции *old man who lives there,* но не всего высказывания в целом. Непосредственно составляющие какой-либо конструкции являются составляющими для следующего, нижеле­жащего уровня, т.е. на более низком уровне они будут просто со­ставляющими, а не НС.

Наиболее важными из этих понятий являются непосредствен­но составляющие.

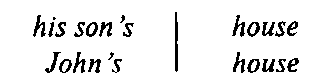
Синтаксический анализ и состоит в основном из выявления последовательных слоев НС и непосредственных конструкций, из описания отношений, существующих между непосредственно со­ставляющими, и тех отношений, которые нельзя свести к отно­шениям между ними. Последнее обычно играет второстепенную роль; большая часть важнейших значимых отношений — это отно­шения между непосредственно составляющими.

**10.** Основным способом установления непосредственно состав­ляющих какой-либо конструкции служит сравнение ее с другими. Попытаемся, например, определить, каковы НС в *his son's house.* Мы будем и дальше оперировать формами письменной речи, ис­ходя из того, что слова — это уже установленные составляющие. Возможны четыре разных членения нашего примера:



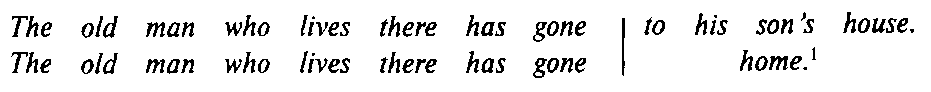
(с прерывающимся составляющим *his... house)* и *his* | *son's* | *house* (с тремя НС). Задача заключается в выборе наиболее подходя­щего из членений и в установлении правила, которое позволит получать одинаковые результаты при анализе всех аналогичных примеров.

Если бы исследуемая конструкция имела только два составля­ющих, был бы возможен только один способ членения, и никаких трудностей не возникало бы (как в случае *old man).* Попытаемся теперь найти такую конструкцию из двух слов, которую можно было бы приравнять к *his son's house.* Это должна быть такая конст­рукция, которая встречалась бы в сходных окружениях и совпада­ла бы с *his son's house* no всем признакам, которые, как мы увидим ниже, характеризуют синтаксические отношения. Такой конструк­цией может быть *John's house* «дом Джона». В этом случае вероятнее всего предположить, что *his son's* первого примера эквивалентно *John's house* второго примера. На основании этого мы проведем следующее членение:



Делать выводы, базируясь на одном таком сравнении, было бы опасно, но можно найти и многие другие аналогичные примеры, и под тяжестью доказательств возможность любого другого члене­ния придется отвергнуть.

11. Другой возможный прием основывается на сравнении сле­дующих рядов:



1 «...домой».

Если это сопоставление правильно, можно считать установ­ленным, что *to his son's house —* составляющее, ибо таковым явля­ется *home.* Отсюда, однако, не следует, что *to his son's house —* это непосредственно составляющее, поскольку у нас нет оснований полагать, что *home* является НС того предложения, в котором оно встречается. Любое сочетание слов, которое можно приравнять к от­дельному слову, является составляющим, поскольку мы исходим из того, что все отдельные слова — составляющие. Если к тому же от­дельное слово представляет собой одну морфему (как в данном слу­чае), подобный вывод вполне правилен. Продолжая таким образом, мы сможем отождествить все составляющие любого высказывания, а после этого не представит труда отождествление и непосред­ственно составляющих и непосредственных конструкций.

**12.** Подобное членение структуры данного высказывания еще не объясняет, почему говорящий на своем родном языке сразу же узнает высказывания с аналогичной структурой. При этом он, по-видимому, опирается на какие-то признаки НС и высказывания. Что дело обстоит именно так, подтверждается реакцией говоря­щего на английском языке на такое высказывание, как:

*The iggle squigs trazed wombly in the harlish goop.\**

\* Данное английское высказывание аналогично по характеру известной рус­ской фразе, придуманной Л. В. Щербой: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка» — *Прим. сост.*

В этом высказывании нам знакомы только три слова из девяти; других же высказываний, содержащих незнакомые нам слова, нет, т.е. последние не с чем сопоставить. Тем не менее для англичани­на, несмотря на всю неопределенность значения данного выска­зывания, структура высказывания совершенно ясна. Ее можно почти безошибочно узнать по трем знакомым словам *the* и *in the* и по четырем частицам *-s, -ed, -ly, -ish.*

Эти элементы сами по себе не определяют структуру высказы­вания как таковую, но они указывают на некоторые особенности ее специфических составляющих. Так, *-ish* является обычно (не все­гда!) словообразовательным суффиксом прилагательных или слов со сходными синтаксическими функциями. То, что *harlish —* прила­гательное, подтверждается и тем, что оно встречается в положении, типичном для данной категории слов. Это в свою очередь в сочета­нии с положением группы *in the* позволяет предположить, что *goop,* вероятнее всего, существительное и что *in the harlish goop —* состав­ляющее вполне обычного типа. Таким образом, для говорящего дан­ное высказывание в определенном отношении похоже на: *in the harlish goop He lived in the red house.\* I read it in the big book\*\** и т.д.

\* «Он жил в красном доме»

\*\* «Я прочитал это в большой книге»

В известном смысле, следовательно, подобные признаки по­могают отождествить другие высказывания, с которыми наше выс­казывание сопоставимо. Однако это можно сделать и с помощью некоторых других факторов, связанных с составляющими выска­зываний. <...>

**13.** На первый из них исследователи иногда не обращают долж­ного внимания. Этим фактором является порядок слов. Нам станет ясно, каково его значение, если мы перемешаем слова следую­щим образом:

*Goop harlish iggle in squigs the the trazed wombly.*

Англичанин не увидит здесь никакой структуры. И это не толь­ко потому, что НС больше не примыкают друг к другу, — такое условие не обязательно. Ср. высказывание:

*What are you looking for?* «Что ты ищешь?»

Здесь *What ...for* и *are... looking—* составляющие. Они разъеди­нены, но разъединены не случайно, а по вполне установленным определенным правилам. Поставив их рядом, мы с такой же неиз­бежностью разрушим смысл высказывания, как если бы мы про­сто беспорядочно смешали слова:

*What for are looking you?*

Порядок слов является, вероятно, одним из самых основных синтаксических показателей в любом языке, а также одним из наиболее сложных. Другие способы, которые мы рассмотрим, бу­дут так или иначе связаны с порядком слов. Другие синтаксичес­кие показатели редко удается охарактеризовать надлежащим обра­зом, игнорируя порядок слов, или, наоборот, порядок слов мож­но охарактеризовать только в составе всей синтаксической структуры в целом.

**14.** Второй всеобщий синтаксический показатель — это **классы составляющих,** понятие о которых является развитием понятия о частях речи. <...> Класс составляющих — это всякая группа состав­ляющих (слов или конструкций), которые выполняют сходные или тождественные синтаксические функции. В их основе часто лежат парадигматические классы слов того или иного языка. В английс­ком языке, например, имеется четыре парадигматических класса: существительное, местоимение, прилагательное и глагол. Каждый из них обладает определенными синтаксическими особенностями наряду с особенностями словоизменения, по которым они были определены. Каждый, таким образом, может служить основой для класса составляющих. Для прилагательных типично следующее ок­ружение:

*The... man...* «Этот... человек...»

*The good man ...* «Этот хороший человек...»

*The tall man...* «Этот высокий человек...» и т.д.

Мы можем теперь попытаться определить класс составляющих, которые характеризуются указанным местом в предложении. В этот класс войдут прилагательные, и члены его могут быть названы **определительными словами.** Этот класс определителей (adjectivals) включает все прилагательные, а также некоторые слова, не имею­щие окончаний и похожие на прилагательные (такие, как *beautiful*),и некоторые сочетания, в состав которых, как правило, в качестве одного из составляющих входит прилагательное

*The generous man...\**

*The most awkward man* ...\*\*

*The intolerably ugly man* ...\*\*\*

*The most exceptionally brilliant man* ...\*\*\*\* и т.д.

\* «Щедрый человек...»

\*\* «Весьма неуклюжий человек...»

\*\*\* «Невыносимо уродливый человек...»

\*\*\*\* «В высшей степени исключительно блестящий человек...»

Подобным же образом мы можем определить класс **именных слов,** включающий существительные и различные эквивалентные им конструкции; класс **местоименных слов,** включающий место­имения и некоторые эквивалентные им составляющие, например *the party of the first part —* «одна из конфликтующих сторон» в языке юристов; класс **глагольных слов,** включающий глаголы и различные конструкции, встречающиеся в тех же окружениях, что и глаголы. Синтаксические функции местоименных слов в английском языке настолько близки к функциям именных слов, что местоименные слова, вероятно, правильнее считать подклассом именных.

Равным образом следует выделить и некоторые другие классы составляющих, не базирующиеся на словоизменительных классах. Среди них необходимо назвать классы **наречных** и **предложных** слов. Они включают традиционные части речи, известные как наречия и предлоги, но шире, чем последние, поскольку к ним относятся также и конструкции. *In regard to* «в отношении», например, пред­ложное слово, хотя оно и не является предлогом, если исходить из традиционного определения предлога.

Аналогичные системы синтаксических классов существуют и в других языках, хотя, как и следует ожидать, эти системы значи­тельно отличаются своими особенностями от английской.

**15.** При описании синтаксиса английского языка желательно выделить некоторые классы конструкций. Это такие типы конст­рукций, которые нельзя причислить ни к одному отдельному клас­су составляющих. Типичным примером таких конструкций является **предложное словосочетание,** которое состоит из предложного и имен­ного слов. Поскольку каждое из этих составляющих может быть как единым словом, так и довольно сложной конструкцией, предлож­ные словосочетания на первый взгляд весьма различны: ср.: *in truth* «поистине» и *in regard to our wholesaler's last large shipment* «в отноше­нии последнего крупного груза нашего оптовика». Различие это, од­нако, только внешнее, и все предложные фразы имеют в своей ос­нове одну и ту же структуру. В качестве составляющих более круп­ных конструкций предложные словосочетания могут выполнять различные функции, поэтому они и не образуют единого класса составляющих. Они могут быть наречными словами, например: *Не came in a big hurry.* «Он поспешно вошел», или особым видом опре­делителей, как в *The man in the car...* «Человек в машине...» и т.п.

Другой класс конструкций составляют предложения типа **под­лежащее — сказуемое. В** таких конструкциях непосредственно со­ставляющими являются **подлежащее** и **сказуемое.** Подлежащим может быть именное или местоименное слово, некоторые виды фраз, а также и предложение. Сказуемым может быть глагольное слово и различные более крупные конструкции, включающие гла­гольные слова. Ни одна из этих формулировок не является опреде­лением, поскольку в них учитывается только то, что подлежащее и сказуемое служат непосредственно составляющими при постро­ении предложения. <...>

Важно, однако, то обстоятельство, что предложения обладают определенной закономерностью построения, выражаемой через НС. Следует отметить, что предложения типа «подлежащее — сказуе­мое» — это не единственный тип предложения в английском язы­ке, но просто наиболее распространенный. Другие типы предло­жений, например *The more, the merrier.* «Чем больше, тем веселее», можно проанализировать точно таким же образом, т.е. исходя из его непосредственно составляющих и существующих между ними формальных отношений.

**16.** Примеры, рассматривавшиеся до сих пор, намеренно при­водились в написании, а не в фонематической транскрипции. Это свидетельствует о том, что и письменный английский имеет дос­таточно средств, чтобы сделать предложение понятным. Но это не всегда так. В одном из ранних набросков настоящей книги я писал:

*«What thinking Americans do about language is...»*

Когда я перечитал данное предложение, оно показалось мне неуместным, пока я наконец не понял, что на письме оно двусмыс­ленно; я прочел его так: « *What is done about language by thinking Americans is...»* «To, что делается в отношении языка думающими американца­ми, это...», в то время как оно должно было значить: *«What thinking about language is done by Americans is...»* «Взгляды американцев на язык таковы...» При чтении вслух двусмысленность снимается: можно прочитать предложение так, что оно будет передавать или одно, или другое значение, но не оба одновременно.

Двусмысленность возникает из-за того, что слова можно сгруп­пировать в составляющие по-разному. По моей мысли, составляю­щим должно было являться *Americans do about language,* а не *thinking Americans* (т.е. не «думающие американцы», а «американцы о язы­ке»). В написании это не находит отражения, но в речи отношения между словами четко определены ударением и интонацией. В лю­бом случае при чтении данного предложения интонация обычно складывается из двух частей, первая из которых заканчивается /→/. Положение */*→*/* всегда обозначает основное членение в высказы­вании. Если /→/ следует после *thinking,* предложение можно по­нять только так, как оно было задумано; если */*→*/* поставить после *Americans,* предложение приобретет другое значение.

Система ударения и интонационная система английского язы­ка в Америке служат для обозначения типа построения конструкций. В этом их основная функция. Модели ударения функциониру­ют обычно уже на уровне слов. <...> Они могут также объединять тесно спаянные группы слов. Интонация проявляется почти ис­ключительно на синтаксическом уровне и характеризует обычно относительно крупные конструкции. И интонация и ударение со­ставляют морфемы, которые располагаются над последовательно­стями других морфем (корней и обычных аффиксов) и служат для обозначения того или иного объединения их в конструкции. В раз­говорном английском языке ударение и интонационно-мелоди­ческий рисунок являются дополнительными непосредственно со­ставляющими тех конструкций, в которых они встречаются.

2iy+ôwld+mæn+huw+3lívz+êr2→2hz+gнntuw+z+3snz+hâws1 /

В этом предложении три непосредственно составляющих: под­лежащее (субъект) — *The old man who lives there,* сказуемое (преди­кат) — *has gone to his son's house* и интонационная кривая, состоя­щая из двух частей — /232 → 231/. Ударения определяют структуру и подлежащего и сказуемого и потому не являются НС всего пред­ложения. Ударение и интонационный рисунок не находят отраже­ния в письменном английском, и их место заступают два других средства — промежутки, показывающие условные границы между словами, и система знаков препинания, выделяющая некоторые установленные синтаксические единицы.

**17.** Синтаксис с давних пор является одним из наименее удов­летворительно разработанных аспектов структуры языка. Это объяс­няется, очевидно, тем, что на ударение и интонацию или на эк­вивалентные им явления в изучаемых языках обращалось недоста­точно внимания. (И ударение и интонация в других языках могут выполнять совершенно иную функцию, чем та, которую они вы­полняют в английском, но, вероятно, в любом языке существуют какие-то средства, которые характеризуют конструкции, подобно тому как ударение и интонация делают это в английском.) <...>

**18.** Следует упомянуть еще о двух синтаксических явлениях. В английском языке значение их невелико, но в ряде других языков они играют важную роль. Первое из них — **управление.** Оно состоит в следующем: определенные словоизменительные формы использу­ются в первую очередь для того, чтобы показать место данного слова в синтаксической структуре. Применительно к существительным, — а это наиболее обычный случай — такие словоизменительные кате­гории называются падежами. Категория падежа присуща также мес­тоимениям; например, различие между *I* и *те* («я» — «мне») или *he* и *him* («он» — «ему») — это различие в падежах. Такое противопо­ставление в английском языке находим только у местоимений. Упот­ребление тех или иных падежных форм ограничено определенны­ми положениями в структуре. Так, *те* и *him* встречаются с пред­ложными словами, с большинством глагольных слов в сказуемом и т.д. *I* и *he* в литературном английском языке в этих случаях не употребляется. Дистрибуция данных падежных форм подчиняется в некоторых других диалектах несколько иным правилам, и в уст­ной и письменной речи многих американцев к величайшему ужасу пуристов их употребление не слишком последовательно.

В силу того что эти формы закреплены за определенными син­таксическим позициями, они служат для определения структуры высказывания. Так, в *I saw him.* «Я увидел его» использование именно форм *I* «я» и him «его», а не *те* «меня» и *he* «он» помогает устано­вить отношения в высказывании. Однако у большинства именных слов в английском языке для этой цели используется только поря­док слов. *Paul saw Mary.* «Павел увидел Мери» в такой же мере ясно, как и *I saw him,* хотя в данном предложении на один струк­турный признак меньше. В связи с этим американцы мало полага­ются на падежные формы, даже когда они налицо. Если предло­жить группе американцев исправить такие предложения, как *\*Ме saw Paul.* и *\*Mary saw he,* большинство сделает из них *I saw Paul.* и *Mary saw him* скорее, чем *Paul saw me* и *Не saw Mary.* Из этого можно заключить, что в тех случаях, когда падежные формы и порядок слов приходят в столкновение, говорящий на английс­ком языке сочтет порядок слов более важным.

**19.** В некоторых других языках дело обстоит иначе. В латыни боль­шинство существительных имеет падежные формы, которые харак­теризуют структуру предложения гораздо яснее, чем падежи анг­лийских местоимений. Более того, падежные формы имеют в латин­ском языке большее функциональное значение, чем в английском. Например, англ. *Paul saw Mary* можно перевести на латинский как:

*Paulus Mariam vidit. Mariam Paulus vidit.*

*Paulus vidit Mariam. Mariam vidit Paulus.*

*Vidit Paulus Maria m. Vidit Mariam Paulus.*

Каждое из шести предложений понятно, поскольку словоизме­нительный аффикс *-us* характеризует *Paulus* как подлежащее, a *-am* показывает, что *Mariam* вместе с *vidit* образует сказуемое. Но хотя все эти предложения понятны, не все они равно «хороши». Одному из вариантов оказывается явное предпочтение перед другими, но в раз­ные периоды истории языка предпочитались разные варианты.

Иногда говорят, что из-за высокоразвитой системы словоиз­менения латинского языка порядок слов в нем не играл большой роли. Это несомненное преувеличение. В любом языке порядок слов выполняет важную синтаксическую функцию. Приведенный выше пример является исключением в латыни в том смысле, что он допускает почти полную свободу порядка слов. В каждом языке имеются определенные случаи строго закрепленного порядка слов, а наряду с ними существует и определенная свобода порядка слов. Правильнее было бы сказать просто, что в латыни порядок слов как синтаксический прием менее важен, чем в английском языке. И все же он имеет большое значение.

**20.** Другим средством выявления структуры является **согласова­ние.** Это значит, что некоторые слова принимают формы, соответ­ствующие в известных отношениях другим словам. В современном английском языке согласование встречается редко. Наиболее оче­видным примером его являются местоимения *this* и *that,* они обычно согласуются в числе с тем существительным, к которому относятся. Так, мы говорим *that boy* «тот мальчик», но *those boys* «те мальчики», а также *this boy* «этот мальчик», но *these boys* «эти мальчики». Это, несомненно, примеры согласования, но они имеют относительно небольшое функциональное значение в английском языке, пото­му что представляют собой единичные остаточные явления.

В латинском языке система согласования между прилагатель­ным и существительным развита гораздо больше. Каждое прилага­тельное должно согласоваться с существительным по трем катего­риям: в роде, числе и падеже:

*filius bonus*

*filii boni*

*puella bona*

*puellarum bonarum*

«хороший сын» (номинатив ед.ч., м.р.)

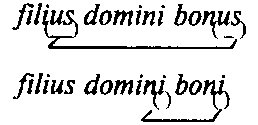
«хорошего сына» (генитив ед. ч., м.р.)

«хорошая девочка» (номинатив ед.ч., ж.р.)

«хороших девочек» (генитив мн.ч., ж. р.)

Более того, согласование в латинском языке выполняет и син­таксическую функцию, поскольку в некоторых случаях только оно выделяет непосредственно составляющие.

Рассмотрим следующие примеры.



«хороший сын хозяина

» «сын хорошего хозяина» <...>

**21.** Обычным является также согласование между главным су­ществительным подлежащего и глаголом или другим главным сло­вом сказуемого. Под **главным** словом понимается составляющее, которое служит центром какой-либо конструкции. Как правило, оно принадлежит к тому же синтаксическому классу, что и сама конструкция, главным членом которой оно является. В английском языке есть следы и такого типа согласования. Глагольная форма {-Z3} представляет собой форму согласования, показывающую, что подлежащим служит 3-е лицо единственного числа. Эта форма встре­чается только в настоящем времени.

Аналогичный тип согласования глагола с подлежащим пред­ставлен в гораздо более развитом виде в латинском языке:

*Filius vidit.* «Сын увидел.» (ед. ч.)

*Filii viderunt.* «Сыновья увидели.» (мн. ч.)

Этот тип согласования отличается в латинском языке от согла­сования между существительным и прилагательным тем, что не охватывает категории рода и падежа.

Подобный тип согласования имеется и в древнееврейском язы­ке, но здесь оно включает и род и число:

*/zaakár hammélek/* «Король вспомнил.» (м.р., ед.ч.)

*/zaakráa hammalkáa/*  «Королева вспомнила.» (ж.р., ед.ч.)

*/zaakrúu hammlaakíim/*  «Короли вспомнили.» (м.р., мн.ч.)

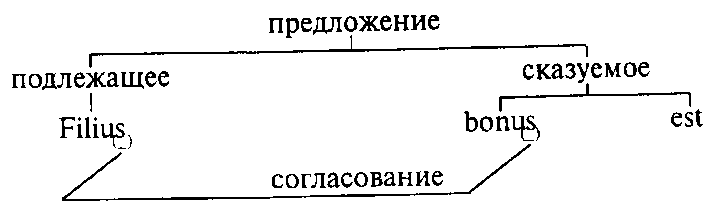
В древнееврейском языке сказуемым мог быть глагол или су­ществительное, а также различные более крупные конструкции. В тех случаях, когда сказуемым является существительное, согла­сование носит такой же характер, как при сказуемом, выражен­ном глаголом. Иначе говоря, слова согласуются в числе и роде. Поскольку подлежащее есть всегда нечто определенное, а сказуе­мое — нечто неопределенное, предложение типа «подлежащее — сказуемое» четко отличается от конструкции двух существитель­ных в приложении наличием особого типа согласования.

*/gaadóol hammélek/* «Король велик.» (предложение)

*/mélek haggaadóol/* «Великим является король.» (предложение)

*/hammélek haggaadóol/* «великий король» (не предложение)

**22.** Согласование — это особый вид связи, который может су­ществовать между составляющими высказывания, но не между не­посредственно составляющими. Так, в латинском предложении *Filius bonus est* «Сын хорош» *Filius* и *bonus* согласуются в роде, в то время как непосредственно составляющими этого предложения являют­ся *filius* и *bonus est.* Данную связь можно изобразить в виде схемы:



В. Матезиус О так называемом актуальном членении предложения\*

Актуальное членение предложения следует противопоставлять его формальному членению. Если формальное членение разлагает состав предложения на его грамматические элементы, то актуаль­ное членение выясняет способ включения предложения в пред­метный контекст, на базе которого оно возникает. Основными эле­ментами формального членения предложения являются грамма­тический субъект и грамматический предикат. Основные элементы актуального членения предложения — это исходная точка [или основа] высказывания, то есть то, что является в данной ситуации известным или по крайней мере может быть легко понято и из чего исходит говорящий, и ядро высказывания, то есть то, что говорящий сообщает об исходной точке высказывания. Актуальное членение предложения — проблема, на которую лингвистика уже давно обратила внимание, но она не изучалась систематически, поскольку не было выяснено отношение актуального членения к формальному членению предложения. Больше всего об актуаль­ном членении предложения писали (хотя и не употребляя этого названия) в третьей четверти XIX в. <...> Исходную точку выска­зывания лингвисты называли тогда психологическим субъектом, а ядро высказывания — психологическим предикатом. Термины эти не были удачными, так как, во-первых, исходная точка высказы­вания не всегда является его темой, что, казалось бы, должно вы­текать из термина «психологический субъект», во-вторых, бли­зость терминов «психологический субъект» и «психологический предикат» никак не способствует четкой дифференциации двух по существу различных явлений. Психологическая окраска обоих тер­минов привела еще и к тому, что вся эта проблема была вытеснена из поля зрения официальной лингвистики. Есть о чем сожалеть, ибо как раз отношение между актуальным и формальным члене­нием предложения — одно из самых характернейших явлений в каждом языке.

\* Пражский лингвистический кружок. М., 1967. С. 239-245.

Как уже говорилось, исходная точка высказывания не всегда является темой высказывания в распространенном предложении, хотя нередко та и другая совпадают. Чаще всего это случается в простом связном высказывании, где обычно исходным пунктом является тема, вытекающая из предыдущего предложения. Напри­мер: *Byl jednou jeden král | a ten mĕl tři syny. Nejstaršiho z*  *nich napadlo, že si půjde do světa hledat nevěstu.* «Жил-был когда-то один король, и было у него три сына. Старшему из них пришло на ум пойти по свету искать невесту». Как видно, здесь исходным пунктом второго предложения служит тема, представленная в развернутом виде в первом предложении, а исходным пунктом третьего предложения выступает тема, контурно намеченная во втором предложении. В самом начале высказывания, когда еще ничего не известно, сто­ит бытийное предложение с самым общим указанием времени — *Byl jednou jeden král* «Жил-был когда-то один король». С точки зре­ния актуального членения это предложение можно рассматривать как нерасчлененное высказывание, ибо оно содержит собственно ядро высказывания с сопутствующими словами. Неопределенное обстоятельство времени *jednou* «когда-то» целиком оттеснено на задний план, вследствие чего данное предложение по содержанию целиком равнозначно предложениям, не содержащим подобного обстоятельства времени вообще: *Byl jeden král а byl tak rоzитпý, že i všem živočichům rozumĕl, со si povídali.* «Жил-был один король, и был он такой умный, что даже всех зверей понимал, о чем они говори­ли»; *Byla jedna vdova, ta mĕla dvĕ dcery, Dorlu a Lenku.* «Жила одна вдова, было у нее две дочери, Дорла и Ленка». Иногда такое ввод­ное бытийное предложение снабжается различными замечания­ми, указывающими на разнообразие отношений, выступающих в начале высказывания. В произносимом высказывании вводное бы­тийное предложение может быть связано с изображаемой ситуа­цией различными выражениями, общий смысл которых пример­но таков: *Chcete па mnĕ pohádku а tady ji tedy máte* «Хотите от меня сказку — и вот вы ее имеете». Эти выражения могут меняться в зависимости от отношения говорящего к цели своего высказыва­ния: *Tak byl jednou jeden kral...* «Итак, жил-был когда-то один ко­роль...»; *Tak tedy byl jednou jeden král* «Так вот, жил-был когда-то один король». Чем пространнее эти вступительные замечания, тем скорее они могут достичь самостоятельности и измениться в пред­ложение с собственной мелодической концовкой. Например: *No tak tedy. Byl jednou jeden král* «Ну, так вот. Жил-был когда-то один король». Таким предложением с самостоятельной мелодической концовкой выражается иногда отношение говорящего к тому, что он собирается сказать: «Было — не было: жил-был когда-то один король».

Собственно, для нашей темы самыми важными являются слу­чаи, при которых для первого предложения используются предметные ситуации, содержащиеся в самом высказывании. Иногда в предложении, своеобразно предвосхищая еще не раскрытую пред­метную ситуацию высказывания, отбираются обстоятельства мес­та или времени, которые ставятся в начало бытийного предложе­ния в качестве исходной точки высказывания. Например: *V jedné zemi panoval král, který byl nesmírnĕ bohatý* «В одной стране царство­вал король, который был безмерно богат»; *V jednom mĕstĕ bydlili rodičové a mĕli tři dcery* «В одном городе жили муж и жена и было у них три дочери»; *Daleko, až tamhle někde w červeným mořem, býval kdysi jeden miadý pán* «Далеко, где-то там, за красным морем, жил-был один молодой господин». Иной раз говорящий вообще обхо­дится без вводного бытийного предложения и начинает повество­вание о герое в таком тоне, как будто бы мы с ним уже давно знакомы, и лишь потом вследствие недостаточной определеннос­ти мы убеждаемся (иногда вследствие явной неопределенности), что с этим героем встречаемся впервые. Например: *Chudá selka šla do lesa na stlaní.* «Бедная крестьянка пошла в лес за травой для подстилки»; *Vávrovi umřela zепа* «У Вавры умерла жена»; *Myslivec šel jednoho dne na lov* «Лесник пошел однажды на охоту»; *Libor byl jediný syn chudé vdovy* «Либор был единственным сыном бедной вдовы». Вводные предложения рассказа, в которых на основе ситу­ации переданы обстоятельства места или времени, можно назвать началом обоснованным, а вводные предложения, в которых гово­рится о герое, — началом переносным, ибо, например, предло­жение *Myslivec šel jednoho dne na lov* «Лесник пошел однажды на охоту» можно было бы передать двумя предложениями: *Byl jeden myslivec a ten šel jednoho dne na lov* «Жил один лесник, и пошел он однажды на охоту». Простое предложение бытийного типа *Byl jednou jeden král* «Жил-был когда-то один король» можно назвать началом нераспространенным. Типы вводных предложений, которые мы здесь установили на примере чешских сказок, представлены, ко­нечно, и в художественных произведениях — в рассказах и рома­нах.

В отрывистой повседневной речи картина актуального члене­ния предложения гораздо богаче, чем в речи обработанной, осо­бенно в письменной форме языка; богатство такой речи тем более возрастает, чем ближе соприкасаются в повседневной жизни лица, ведущие беседу. Объясняется это тем, что в таком случае чрезвы­чайно обогащается ситуация, на базе которой можно отбирать темы высказывания или по крайней мере обстоятельства, которые мо­гут стать исходным пунктом высказывания. К ситуации относится, собственно, все, что собеседникам известно и что можно исполь­зовать в речи как что-то известное. В случае необходимости актуализация будет подчеркнута внутренним указанием, имеющим, естественно, всегда эмоциональную окраску; по отношению же к присутствующему лицу или предмету может быть использовано внешнее указание. <...>

Из подобных отрывков повседневного разговора отмечу, на­пример, следующие предложения: *U Jirsů budou mít svatbu* «У Йирсов должна быть свадьба»; *Záruba zа námi staví nových pět domků* «Заруба за нами строит пять новых домов»; *Ten váš vchod se mi pranic nelíbí* «Этот ваш вход мне совсем не нравится»; *Tady ty knihy musí pryč*  «Вот эти книги нужно унести». Во временном отношении всего понятнее настоящее с непосредственным прошедшим и бу­дущим: *Dnes už k vám nepřijdu* «Сегодня я к вам уже не приду»; *Včera byla sobota a to se vždycky koupeme* «Вчера была суббота, и мы всегда моемся»; *Zítra bude hezky* «Завтра будет прекрасно». Есте­ственно, что частью данной ситуации всегда является лицо гово­рящее и лицо, с которым ведется разговор: *Já půjdu zítra do města a koupím ti to. Ty tedy nechceš.* «Я пойду завтра в город и куплю тебе это. Ты, значит, не хочешь». За часть данной ситуации принимает­ся также обобщенное подлежащее, ибо, как правило, оно связано с опытом, приобретенным говорящим. Например: *Lidé si na tom moc pochutnávají* «Люди этим здорово полакомятся»; *Někteří lidé jsou takoví, že nechtěji vůbec nic měnit* «Некоторые люди таковы, что не хотят вообще ничего менять». Само собой разумеется, что и в по­вседневной речи можно встретиться с началом переносным, как мы назвали его в предыдущем абзаце. В качестве примера приведем следующее предложение: *Néjací (lidé) přijeli ze Strakonic a říkali, že je tam hotové pozdviženi* «Некоторые (люди) приехали из Стракониц и сказали, что там настоящий переполох». Очень часто исходный пункт высказывания содержит не один, а два, три и более элемен­тов, почерпнутых из ситуации. Однако центральным становится более актуальный из них, а остальные элементы выступают как элементы сопутствующие. Так, в предложении *Paní Meisnerová to dělá bez kvašení a také se jí to nezkazilo* «Пани Мейснерова делает это без закваски, и у нее также это не портится» общая ситуация дана в разговоре о приготовлении малинового сока (на что указывает местоимение *to),* и на этом фоне в качестве актуального выступает приобретенный пани Мейснеровой опыт, также имеющий отно­шение к данной ситуации. В предложении *Ted' tarn ti lidé stojí a povídají* «Теперь там эти люди стоят и рассказывают» исходный пункт высказывания содержит три различных элемента данной ситуации, хотя среди них актуальным является только обстоятель­ство времени. Ядро высказывания также очень часто (возможно, как правило) наряду с собственно центром содержит сопутствующие выражения, которые связаны с этим центром и связывают последний с исходным пунктом высказывания. Так, в предложе­нии *Záruba za námi staví nových pĕt domků* «Заруба строит за нами пять новых домов» известная ситуация выражается частью *Záruba za námi,* тогда как остальная часть предложения *staví nových pět domků* сообщает об этом исходном моменте нечто новое. Собствен­но, ядро высказывания содержится здесь в словах *pět nových domků,* а слово *staví* является сопутствующим выражением, соединяющим исходный пункт высказывания с его ядром. С ними обоими оно связано как грамматической функцией, так и значением. Говоря­щий и собеседник знают, что речь идет о застройщике домов, занятие которого не вызывает сомнений.

Сопутствующие выражения заслуживают внимания по ряду со­ображений. В данной связи укажем только на одно из них. Уже приводились предложения, в которых темой высказывания явля­ется говорящий или собеседник, которые, естественно, обознача­ются в предложении личными глагольными формами, а именно глаголами первого и второго лица. Тема может быть выражена и формой третьего лица, если речь идет о лице или недавно назван­ном в контексте предмете. В языках, где в повествовательном пред­ложении при личной форме глагола всегда ставится самостоятель­но выраженное подлежащее, это обычное явление. Иначе обстоит дело в тех языках, где глагол в личной форме в повествовательном предложении требует специально выраженного подлежащего лишь в особых случаях. В подобных языках — чешский язык относится именно к таким языкам <...> — встречаются случаи, когда тема высказывания, которая должна быть передана личной формой гла­гола, специально не выражена вообще, а отражена лишь в морфо­логическом аспекте слова, относящемся к ядру высказывания или в качестве его собственного центра, или в виде сопутствующего выражения. Сказку, первые два предложения которой были разоб­раны в начале второго абзаца, можно продолжить следующим об­разом: *Rozloučil se s otcem a bratry, vzal si na cestu něco jídla a šel, kam ho oči vedly* «Простился он с отцом и братьями, взял себе на доро­гу немного еды и пошел куда глаза глядят». Тут, собственно, все является ядром высказывания, и его тема — старший сын короля, о котором шла речь в предыдущем предложении, выражена фор­мой третьего лица глаголов *rozloučil se, vzal si, šel.* Аналогичное явле­ние встречается и в отрывочном повседневном разговоре. Чаще всего личное местоимение отсутствует в исходном пункте выска­зывания, если оно является лишь сопутствующим выражением дру­гого, более актуального высказывания, относящегося к данной ситуации. Примером могут служить предложения: *Tak jsem dál už nevybírala a šla jsem domů* «Так я уже дальше не выбирала и пошла домой»; *Zítra po tom nebudete mít ani památky* «Завтра об этом даже не вспомните». Но в отрывистой повседневной речи можно зафик­сировать немало предложений, которые из-за невыраженного ме­стоименного подлежащего целиком состоят из ядра высказывания. Приведем в качестве примеров следующие предложения: *Jdu do mešta a tak jsem se tĕ přišla zeptat, jestli пěсо nepotřebuješ* «Я иду в город и вот пришла тебя спросить, не нужно ли тебе чего»; *Potřebovala bych, aby to nĕkdo za mĕ udĕlal* «Мне бы нужно было, чтобы это кто-нибудь за меня сделал»; *Nemĕl ses do ničeho míchat* «Ты не должен был ни во что вмешиваться».

Исходный пункт высказывания и его ядро, если они слагаются из нескольких выражений, сочетаются по-разному в предложени­ях. И все же, как правило, можно определить, какая часть предло­жения относится к исходному пункту высказывания и какая — к его ядру. При этом обычным порядком является такой, при кото­ром за исходный пункт принимается начальная часть предложе­ния, а за ядро высказывания — его конец. Эту последовательность можно назвать объективным порядком, ибо в данном случае мы движемся от известного к неизвестному, что облегчает слушателю понимание произносимого. Но существует также обратный поря­док: сначала стоит ядро высказывания, а за ним следует исходный пункт. Это порядок субъективный, при нем говорящий не обраща­ет внимания на естественный переход от известного к неизвестно­му, ибо он так увлечен ядром высказывания, что именно его ста­вит на первое место. Поэтому такая последовательность придает ядру высказывания особую значимость. Наглядно это можно про­иллюстрировать при сравнении двух предложений: *Dala jsem za ni dvacet korůn* «Я отдала за нее 20 крон» (порядок объективный) — *Dvacet korůn jsem za ni data* «20 крон я за нее дала» (порядок слов субъективный). Примерами субъективного порядка являются сле­дующие фразы: *Takové tmavě červené to bylo* «Такое темно-красное это было»; *Dvakrát jsem tam byl a nikdy jsem nikoho nenašel doma* «Дваж­ды я там был, и ни разу я никого не застал дома»; *Моc si na tom lidé pochutnávají* «Здорово этим люди полакомятся»; *Jenom noviny přišly* «Сейчас только газеты пришли». При объективном порядке слов эти фразы звучали бы так: *Bylo to takové tmavě červené* «Было это такое темно-красное»; *Byl jsem tam dvakrát a nikdy jsem nikoho nenašel doma* «Я был там дважды, и ни разу я никого не застал дома»; *Lidé si na tom moc pochutnávají* «Люди этим здорово полакомятся»; *Přišly jenom noviny* «Пришли только сейчас газеты». Средства, удовлетво­ряющие потребностям выражения объективного и субъективного порядков при актуальном членении предложения, почти в каждом языке различны, и изучение их весьма важно. К ним относит­ся не только порядок слов, но <...> также и использование пас­сивной предикации.

Как явствует из приведенных примеров, я ограничился в дан­ной работе лишь разбором самостоятельных повествовательных предложений, и то лишь тех, в которых представлен глагол в лич­ной форме и которые не могут служить ответом на предыдущий вопрос. Я сделал это главным образом потому, что на примере указанных предложений легче решить рассматриваемые проблемы. Кроме того, эти предложения являются самым распространенным типом фраз в разговорной речи и в несложной прозе. Смею наде­яться, что на очень ограниченном материале мне все-таки удалось рассмотреть важнейшие вопросы изучаемой проблемы. Дальней­шая работа еще впереди. Предстоит исследовать не только матери­ал, которого я пока не касался (другие виды самостоятельных по­вествовательных предложений, вопросительные, повелительные, восклицательные, побудительные и сложные предложения), но также выявить тонкие оттенки структуры предложения, на кото­рых я не останавливался. Дальнейшая задача — показать на конк­ретном материале соотношение формального и актуального чле­нения предложения, ибо только в таком случае станет ясным, как важно все то, что здесь излагалось.

IV Лексикология

*В. В. Виноградов* Об омонимии и смежных явлениях\*

<...> Термин «омонимия» иногда <...> применяется как сино­ним слова «омофония». <...>

Омофония — понятие гораздо более широкое, чем омонимия. Оно охватывает все виды единозвучий или созвучий — и в целых конструкциях, и в сцеплениях слов или их частей, в отдельных отрезках речи, в отдельных морфемах, даже в смежных звукосоче­таниях. Термин «омонимия» следует применять к разным словам, к разным лексическим единицам, совпадающим по звуковой струк­туре во всех своих формах. <...>

\* *Виноградов В. В.* Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975. С. 295-312.

Омонимы — это разные по своей семантической структуре, а иногда и по морфологическому составу, но тождественные по зву­ковому строю во всех своих формах слова. <...> омонимы следует отличать не только от созвучных омофонных или совпадающих по звукам речевых цепей либо синтаксических отрезков иного каче­ства,\* но и от омофонных морфем. <...>

\* Например:

Кузнец, на кузнице тоскуя, «Задам вам, дети, таску я

Сказал раз детям, таз куя: И разгоню тоску я».

Ср.: Или:

Не вы, но Сима Смотрю не прямо,

Страдала невыносимо, А из подлобия

Водой Невы носима. В тоске и злобе я

На суп из лобия...

Омофонные морфемы можно называть омоморфемами. <...> Омоморфемность омофонных словообразовательных элементов определяется коренным различием функций существующих морфем и разнородностью правил или законов их сочетаемости с дру­гими морфемами в структуре слова. Само собой разумеется, что омоморфемность словообразовательных элементов легче выделить в сло­вах, относящихся к разным грамматическим или лексико-семантическим категориям. Так, невозможно сомневаться в том, что со структурной точки зрения аффиксы *-л- —* в русских существитель­ных среднего рода (*шило, мыло, било, точило* и т.п.) и в форме прошед­шего времени глагола (*мы-л-а, ши-л-а, би-л-о* (*било два чиса*)и т.д.] — являются омоморфемами. Точно так же омоморфемами, несмотря на генетическую общность, должны быть признаны тот же формообразующий аффикс *-л* в формах прошедшего времени (*учи-л, люби-л* и т.п.) и словообразующий суффикс *-л-* прилага­тельных, производимых или произведенных от глагольных основ со значением состояния *(облезлый, поседелый, залежалый* и т.п.).

Никто не будет сомневаться в омоморфемности суффиксов *-ин-* имен существительных в следующих сериях слов, оканчиваю­щихся на *-а*: *хворост — хворост-ин-а; изюм — изюм-ин-а; свинья — свин-ин-а; олень — олен-ин-а; глубокий — глуб-ин-а — глуб-ин-ы; велич-ин-а — велич-ин-ы; дурак — дурач-ин-а; урод — урод-ин-а* и т.д. <...>

В производных глаголах наблюдаются строгие правила и зако­ны развития омонимии, обусловленные в значительной степени омоморфемностью приставок. Ср. *на-* в количественном и простран­ственном значениях: *наколоть* (*дров, свиней, узор*) и *наколоть* (*руку, значок на пальто*); *напасть* (*наброситься*) и *напасть* (то же, что *напáдать*), *напороть* (*вздору, дичи*) и *напороть* (*руку*); *насадить* (*на­саживать*) и *насадить* (*насаждать*); *настроить* (*струны, кого-ни­будь на что-нибудь*) и *настроить* (*домов*); *наступить* (*на кого-ни­будь*) и *наступить* (*о чем-нибудь*) и т.п.

Одна и та же приставка, присоединенная к одному и тому же глаголу, нередко приводит к образованию разных слов, значения которых могут быть прямо противоположны. Например, *просмот­реть* в значениях: 1) 'пересмотреть до конца', 'быстро проглядеть' и 2) 'не разглядеть' [1) *просмотреть весь спектакль, просмотреть книгу* и 2) *просмотреть ошибку*]; *прослушать (до конца всю пьесу)* и *прослушать* 'не услышать'; *отказать* в значениях: 1) 'оставить в наследство', 'отдать по завещанию' и 2) 'отвергнуть просьбу', 'не согласиться на что-нибудь'; *отойти* в значениях: 1) 'опомниться, приходить в себя' и 2) 'умереть' и др. под.

Так формируются своеобразные омоантонимы. <...>

По-видимому, среди существительных с непроизводными ос­новами преобладающая часть омонимов или принадлежит к за­имствованным словам, или возникает вследствие совпадения за­имствований [*горн* (на кузнице) и *горн* 'рог' — нем. *Ноrn; клуб* (дыма) и *клуб —* англ. *club* и т.п.] с исконно русскими и книжно-славянс­кими словами. Совсем мало омонимов образовалось в результате фонетического совпадения этимологически разных славянских слов с непроизводной основой типа: *лук* 'растение' и *лук* (для стрелы); *мир* 'вселенная' и *мир* 'покой'; *пар* 'газ, воздух' и *пар* 'незасеянное поле' и т.п. Еще меньше омонимов обязано своим образованием, семантическому распаду единой лексемы на несколько омонимич­ных лексических единиц (типа *свет* 'вселенная' и *свет* 'освеще­ние'). <...>

Омоморфемность флексий целесообразно отграничить от омо­морфемности словообразовательных элементов и от омоморфем­ности основ. Быть может, ей лучше бы пристало название **омоформии.** Ведь и омофонные формы одних и тех же и разных слов долж­ны называться **омоформами** (*вожу* от *возить* и *вожу* от *водить; живой —* формы им. падежа мужского рода, род., дат. и предл.; падежей женского рода и т.п.). <...> Ср. использование омоформ разных слов в рифмах у Пушкина:

*Защитник вольности и прав*

*В сем случае совсем не прав*

(«Евгений Онегин»);

*А что же делает супруга,*

*Одна в отсутствии супруга ?*

(«Граф Нулин»).

У.Д. Минаева:

*Не ходи, как. все разини,*

*Без подарка ты к Разине,*

*Но, ей делая визиты,*

*Каждый раз букет вези ты.*

У В. Брюсова:

*Ты белых лебедей кормила,*

*Откинув тяжесть черных кос,*

*Я рядом плыл, сошлись кормила,*

*Закатный луч был странно кос.*

*<...>* Омонимами — в отличие от омоформ — могут быть назва­ны лишь такие лексические единицы, которые совпадают по сво­ему внешнему звуковому облику во всех своих формах. Впрочем, само собой разумеется, что здесь возможны переходные и сме­шанные типы. По отношению к ним можно применить термин «частичная омонимия». <...>

От омоформии необходимо резко отличать явления частичной лексической омонимии. Сюда принадлежат такие случаи, когда одно из созвучных слов целиком (во всех своих формах или в единствен­ной своей форме) совпадает по фонетической структуре с частью морфологических видоизменений другого слова, с частью его па­радигмы или даже с той или иной отдельной его формой. Следова­тельно, одно из таких слов выступает как «омоним» по отноше­нию к отдельной форме или отдельным формам другого слова.

В качестве примера можно указать на звуковое совпадение бес­суффиксальных отглагольных существительных народной окраски с так называемыми «междометными формами глагола»: *топ* (кон­ский) и *топ* (тонул); *чих* и *чих; стук* (звук) и *стук (стукнул); скрип* и *скрип (скрипнул); скок (скок по камню тяжко звóнок)* и *скок (скак­нул)* и т.д. Правда, здесь омонимия разрушается различиями в ин­тонации слов. Ср. *тюк* «сверток» и *тюк* от глагола *тюкнуть; толк* «мнение, толкование» и *толк (толкнул)* и т.п.

Гораздо более показательны явления производной частичной омонимии. Так, наречное или модальное слово, образовавшееся от формы другого слова, становится «омонимом» этой формы. Та­ковы наречия *смерть, страх* в значении 'очень, сильно, ужасно' соотносительно с формами им. падежа *смерть, страх;* таковы на­речия *чудом, рядом, градом, даром, разом, шагом, битком* и т.п. по отно­шению к формам твор. падежа ед. числа имен существительных *чудо, ряд, град, дар, раз, шаг, биток* и т.п.; таковы наречия *молча, шутя, стоя* и т.п., соотносительные с деепричастными формами соответству­ющих глаголов и т.п. <...>

В системе видовых образований русского глагола наблюдается несколько типических фактов совпадения форм несовершенного вида у разных групп глаголов. <...>

Например: *стирать* (несов.) к *выстирать* и *стереть; уты­каться*) (несов.) к *уткнуть(ся)* и *утыкать(ся); передыхать* (не­сов.) к *передохнуть* и к *передохнуть; перерывать* (несов.) к *пере­рвать* и *перерыть; пересыпáть* (несов.) к *пересыпать* и к *переспать* и т.п. <...>

Значительную группу частичных глагольных омонимов пред­ставляют образования несов. вида с аффиксом *-ся,* соотноситель­ные с глаголами действительного залога, так как их лексико-грамматические функции двоятся: они могут быть и залоговой страда­тельной параллелью к действительным формам несов. вида (без *-ся*), и соотносительными видовыми формами к возвратным гла­голам сов. вида (т.е. уже включающим в себя морфему *-ся*).

Например: *ссылаться — сослаться* и (страдат.) к *ссылать; сры­ваться* (несов.) к *сорваться,* (страдат.) к *срывать, сорвать* и (страдат.) к *срывать, срыть; срезаться* (несов.) к *срезаться (срезаться на экзамене)* и (страдат.) к *срезать (кожа срезается бритвой); сжи­ваться* (несов.) к *сжиться* и (страдат.) к *сживать; садиться* (не­сов.) к *сесть* и (страдат.) к *садить; сгружаться* (несов.) к *сгру­зиться* и (страдат.) к *сгружать; мешаться* 'служить помехой', (стра­дат.) к *мешать* (что) и 'путаться, смешиваться'; *мотаться (с утра до ночи; мотаться по свету)* и (страдат.) к *мотать; накалываться* (несов.) к *наколоться* и (страдат.) к *накалывать; нарезáться* (не­сов.) к *нарезаться* и (возвр.-страдат.) к *нарезать* и др. под. <...>

Менее разнообразны и многочисленны типы частичной омо­нимии в системе совершенного вида. Так, не очень многочислен­ную группу частичных омонимов можно наблюдать в производных глаголах сов. вида с приставкой *от-,* у одних глаголов — с финитивным значением, у других — с результативным и пространствен­но-отделительным. При этом один ряд соответствующих глаголов имеет соотносительные формы несов. вида, другой — с финитивным значением приставки — лишен их. *Отработать* 'перестать работать' и *отработать — отрабатывать* (что); *отучиться* 'пере­стать учиться' и *отучиться — отучиваться* (от чего-нибудь) и др. под. <...>

Омонимы как однозвучные, фонетически тождественные, но семантически обособленные, разобщенные и разные лексические единицы выступают лишь на фоне языкового целого, в целостной структуре языка. Их типы, состав и их взаимоотношения определя­ются грамматическим и лексико-семантическим строем языка и законами его исторического развития. <...>

V Письмо

И. Е. Гельб Опыт изучения письма (основы грамматологии)\*

**Глава I ПИСЬМО КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ**

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ МЫСЛЕЙ

Двумя наиболее важными проявлениями человеческого пове­дения являются самовыражение и коммуникация. Первое относит­ся к тому, что мы могли бы назвать личным поведением, второе — к социальному поведению. Человек имеет много средств, как есте­ственных, так и искусственных, для выражения своих мыслей и чувств. Он может дать естественный выход своей радости, смеясь или напевая, а также своему горю, плача или стеная. Он может выражать себя и при помощи искусственных средств, то есть на­писанного им стихотворения, картины или какого-либо другого произведения искусства. Человек может пытаться передать свои чувства, мысли или понятия, применяя условные и общеприня­тые образы. Какова же связь между самовыражением и коммуника­цией? Существуют ли самовыражение или коммуникация в чис­том виде? Не обстоит ли, скорее, дело так, что человек как соци­альное существо <...> ζώονπολιτικόν Аристотеля всегда находится или думает, что находится, в таких условиях, в которых он может выразить себя исключительно при помощи коммуникации? И на­оборот, не являются ли великие шедевры искусства или поэзии формами коммуникации, возникшими в результате самовыраже­ния индивидуумов? Мне кажется, что цели самовыражения и ком­муникации так тесно сплетены во всех формах человеческого по­ведения, что обычно бывает невозможно говорить об одной из них, не будучи вынужденным в то же время касаться и другой.

\* *Гельб И.Е.* Опыт изучения письма: Основы грамматологии/Перевод с англ. М., 1982. С. 13-33.

Для того чтобы сообщать мысли и чувства, должна существо­вать общепонятная система условных знаков или символов, кото­рые, будучи применены одними лицами, оказываются понятны другим, воспринимающим эти знаки или символы. Коммуника­ция при обычных обстоятельствах предусматривает присутствие двух (или более) лиц, из которых одно (одни) передает (передают), а другое (другие) принимает (принимают) данное сообщение.

Процесс коммуникации состоит из двух частей: передачи и приема. Так как средства передачи сообщения слишком разнооб­разны и многочисленны, чтобы их можно было подвергнуть ка­кой-либо систематической классификации, нам приходится на­чинать с рассмотрения приема сообщения. Прием сообщения осу­ществляется при помощи наших чувств, из которых зрение, слух и осязание играют наиболее важную роль. Теоретически могли бы учитываться и другие чувства, такие, как обоняние и вкус, но практически их роль чрезвычайно ограничена, и полностью раз­витой системы знаков на их основе не возникает.

Зрительная коммуникация может осуществляться посредством жестов и мимики. Они являются частыми спутниками речи, хотя интенсивность их употребления находится в зависимости от инди­видуальных свойств говорящего, от социального слоя или этни­ческой группы. Употребление жестов и мимики для достижения ораторского эффекта или вследствие природного импульса бывает свойственно одним людям больше, другим меньше. В нашем обще­стве считается дурным тоном «разговаривать руками». Общеизвест­но, что в Европе южане, например итальянцы, употребляют как жестикуляцию, так и мимику в значительно большей мере, чем, например, скандинавы или англичане. Сочетание языка и жеста повсеместно играло важную роль в ритуальных действиях. Ограни­чения, налагавшиеся на употребление устной речи условиями как естественного, так и искусственного характера, привели к воз­никновению и развитию систем коммуникации, опирающихся на жесты и мимику. Таковы системы, созданные для глухонемых, ли­шенных природной способности пользоваться естественным язы­ком. Сюда же относится и язык жестов монахов-траппистов, кото­рые из-за данного ими обета молчания были вынуждены создать систему, заменяющую речь. Различные системы языка жестов час­то употребляются среда аборигенов Австралии, например вдовами, которым нельзя произносить ни слова в период траура. Нако­нец, система языка жестов, употребляемая индейцами прерий, была введена, когда возросла потребность общения между их племенами, говорящими на различных, взаимно непонятных языках.

Среди других средств коммуникации, обращенных к глазу, сле­дует упомянуть оптические сигналы, подаваемые при помощи огня, дыма, света, семафоров и т.д.

Одной из простейших форм слуховой коммуникации может, например, считаться свист с целью окликнуть кого-либо. Свист и аплодисменты в театре являются другими простыми примерами такого рода коммуникации. Иногда для подачи акустических сиг­налов используются искусственные средства, такие, как бараба­ны, свистки и трубы.

Наиболее важной системой слухового общения является разго­ворный язык, обращенный к уху человека, получающего сообще­ние. Язык универсален. На протяжении времени, доступного на­шему знанию, никогда не существовало такого человеческого со­общества, которое не обладало бы полностью развитым языком.

Простейшими способами передачи чувств при помощи осяза­ния являются, например, рукопожатие, похлопывание по спине, любовное поглаживание. Полностью развитая система коммуника­ции посредством знаков, подаваемых касанием рук, употребляет­ся слепоглухонемыми. <...>

Средства коммуникации, упомянутые выше, имеют две общие черты: 1) все они обладают мгновенной длительностью и, следо­вательно, ограничены во времени: едва слово произнесено или едва сделан жест, как их уже нет, и их нельзя восстановить иначе, как путем повторения; 2) они могут употребляться только при общении между людьми, находящимися на более или менее близ­ком расстоянии друг от друга, и, таким образом, эти средства коммуникации ограничены в пространстве.

Потребность найти пути передачи мыслей и чувств в формах, не ограниченных временем и пространством, привела к развитию способов коммуникации при помощи 1) предметов и 2) меток на предметах или на каком-либо прочном материале.

Число зрительных средств коммуникации при помощи пред­метов неограниченно. Когда человек кладет на могилу груду кам­ней или ставит каменный памятник, он хочет выразить свои чув­ства к покойному и сохранить память о нем в грядущем. Крест, символизирующий веру, или якорь, символизирующий надежду, представляют собой примеры такого же рода. Другим современ­ным пережитком коммуникации при помощи предметов являются также четки, каждая бусина которых в зависимости от ее местопо­ложения и размера как бы воскрешает в памяти определенную молитву. Мы можем еще упомянуть здесь так называемые «языки цветов и камней», в которых каждый цветок или камень якобы способен передать определенное чувство.

Системы мнемонических знаков для ведения счета при помо­щи предметов известны по всему миру. Простейшими и наиболее распространенными из них являются так называемые «счетные палочки» для учета скота: это обыкновенные деревянные палочки с зарубками, соответствующими количеству голов скота, находя­щегося на попечении пастуха. Другим простым способом является учет скота при помощи камешков в мешке. Более сложная мнемо­ническая система имела хождение у перуанских инков. Это так называемое «письмо *кипу»,* в котором данные, касающиеся числа предметов или живых существ, передаются посредством шнуров и узлов различной длины и разного цвета. Все сообщения о предпо­лагаемом употреблении *кипу* для передачи хроник и исторических событий — чистейшая фантазия. Ни перуанское письмо, ни совре­менные узелковые письменности Южной Америки и японских островов Рюкю не имели и не имеют никакого иного назначения, кроме записи простейших данных учетного характера.

Здесь мы должны также упомянуть индейские *вампумы,* состо­ящие из шнуров с нанизанными на них морскими раковинами; эти шнуры часто бывают сплетены в пояса. Вампумы служили день­гами, украшением, а также средством коммуникации. Совсем про­стые по форме разноцветные *вампумы*-шнуры употреблялись для передачи сообщений; при этом следовали принятым у индейцев условным цветам <...>: белые раковины обозначали мир, багро­вые или фиолетовые — войну и т.д. <...>

Предметы употребляются как помощники памяти для переда­чи поговорок и песен у негров эве, причем по форме эти мнемо­нические средства ничем не отличаются от более поздних пись­менных символов тех же эве <...>. Карл Мейнхоф рассказывает, что один миссионер нашел в туземной хижине веревку, к которой было привязано много предметов: перо, камень и т.д. В ответ на его вопрос о назначении шнура с привязанными предметами ему было сказано, что каждый предмет подразумевает определенную пого­ворку. Мэри X. Кингсли рассказывает о другом обычае, распрост­раненном в Западной Африке среди местных певцов: они носят повсюду с собой сетку с различными предметами — трубками, перьями, шкурками, птичьими головами, костями и т.п., — каж­дый из которых служит напоминанием о какой-либо песне. Ис­полнение этих песен сопровождается пантомимой. Слушатели вы­бирают какой-либо определенный предмет и перед исполнением рядятся о цене, которая должна быть уплачена певцу. Таким обра­зом, сетка певца может рассматриваться как репертуар его песен.

Раковины каури часто употребляются для целей коммуника­ции. Так, у африканского народа йоруба одна раковина каури оз­начает «вызывающее поведение и раздор», две раковины рядом означают «тесные отношения и встреча», две раковины отдельно одна от другой — «разлука и вражда» и т.д. Поразительно, что здесь развивается фонетический принцип <...>, проявляющийся в сле­дующих ниже примерах. Шесть раковин каури означают «привле­кательный», потому что слово *efa* в языке йоруба имеет значения «шесть» и «привлекательный». Соответственно послание, представ­ляющее собой шнур с шестью раковинами, будучи передано мо­лодым человеком девушке, означает: «я нахожу тебя привлека­тельной, я люблю тебя»; а так как слово *еуо* имеет значение «во­семь» и «согласен», то ответ девушки молодому человеку, состоящий из шнура с восемью раковинами, означает: «согласна, я чувствую то же, что и ты».

Современным примером употребления предметов для целей коммуникации может служить эпизод в рассказе писателя Йокаи, в котором один человек посылает другому коробку кофе, чтобы предупредить его об опасности, угрожающей ему со стороны по­лиции. Эпизод может быть понят, если учитывать действие фоне­тического принципа: по-венгерски кофе — *kávé,* что похоже по звучанию на латинское *cave,* что значит «берегись!».

Сообщают о случае, чрезвычайно интересном со сравнитель­ной точки зрения. Он засвидетельствован в той самой стране наро­да йоруба, где для коммуникативных посланий так часто исполь­зуются раковины каури. При нападении царя Дагомеи на их город один из туземцев-йоруба был взят в плен. Поспешив известить жену о своей беде, он послал ей камень, кусок угля, перец, зерно и лохмотья с целью передать ей следующее сообщение: камень озна­чал «здоровье» — в том смысле, что, «как камень тверд, так твер­до и сильно мое тело»; уголь значил «мрак» — «как черен уголь, так темно и мрачно мое будущее»; перец указывал на «жжение», что означало: «как жжет перец, так жжет и у меня внутри из-за мрачного будущего»; зерно означало «иссохший», и под этим под­разумевалось следующее: «как зерно иссохло при сушке, так и мое тело иссохло, опаленное жаром моего горя и моих страданий»; и, наконец лохмотья означали «изношенный», что надо было пони­мать так: «каковы эти лохмотья, такова и моя одежда, изношенная и превратившаяся в рвань». Совершенно аналогичное послание описывается у Геродота (IV, 131 и cл.): «Скифские цари... отправи­ли к Дарию глашатая с дарами, послав ему птицу, мышь, лягушку и пять стрел. Персы спросили посланца, что означают эти дары, но тот ответил, что ему приказано только вручить дары и как можно скорее возвращаться. По его словам, если персы достаточно умны, [то они] должны сами понять значение этих даров. Услышав это, персы собрали совет. Дарий полагал, что скифы отдают себя в его власть и приносят ему [в знак покорности] землю и воду, так как де мышь живет в земле, питаясь, как и человек, ее плодами, лягушка обитает в воде, птица же больше всего похожа [по быстроте] на коня, а стрелы означают, что скифы отказываются от сопротивле­ния. Такое мнение высказал Дарий. Против этого выступил Гобрий (один из семи мужей, которые низвергли мага). Он объяснил смысл даров так: «Если вы, персы, как птицы не улетите в небо, или как мыши не зароетесь в землю, или как лягушки не поскачете в боло­то, то не вернетесь назад, пораженные этими стрелами». Так пер­сы стремились разгадать значение даров».\* Тем современным исто­рикам культуры, которые захотят возразить против некоторых из моих реконструкций, опирающихся на сравнение древних наро­дов и современных примитивных обществ <...>, нелегко будет пре­небречь значением приведенных здесь обычаев, засвидетельство­ванных параллельно как в древности, так и в Новое время.

\* Русский перевод приводится по кн.: *Геродот.* История в девяти книгах/Перев. и прим. Г. А. Стратановского. Л., 1972. С. 219-220. — *Прим. перев.*

Еще одна параллель к двум приведенным выше эпизодам об­наружена в Средней Азии. Речь идет о любовной записке, послан­ной местной девушкой молодому человеку, в которого она влюби­лась. Ее любовное письмецо представляло собой мешочек с раз­личными предметами, которые означали следующее: комочек спрессованного чая — «я больше не могу пить чай»; соломинка — «потому что я пожелтела от любви к тебе»; красный плод — «меня бросает в краску, когда я думаю о тебе»; сушеный абрикос — «я сохну»; кусок древесного угля — «мое сердце сгорает от любви»; цветок — «ты прекрасен»; кусок сахару — «ты сладостен»; каме­шек — «разве твое сердце — камень?»; перо сокола — «если бы у меня были крылья, я бы полетела к тебе»; ядро грецкого ореха — «я отдаюсь тебе».

Все средства коммуникации такого рода по-немецки иногда называются Sachschrift или Gegenstandsschrift, то есть «предметное письмо», на что нет совершенно никаких оснований, так как они не имеют ничего общего с письмом в обычном понимании. Не­удобство использования предметов помешало развитию сколько-нибудь полной системы и привело к географической ограничен­ности способов предметной коммуникации.

Письмо осуществляется не посредством самих предметов, а при помощи меток на них или на любом другом материале. Письмен­ные знаки обычно выполняются двигательными действиями руки, которая либо чертит, либо рисует кистью, либо выцарапывает, либо вырезает. Это нашло отражение в значении и этимологии слова «писать» во многих языках мира. Английское слово *to write* «писать» соответствует древнескандинавскому *rīta* «вырезать (руны)» и со­временному немецкому *reissen, einritzen* «разрывать, вырезать, вы­царапывать». Греческое слово γράφειν «писать» (ср. интернациональ­ное заимствование «графика», «фонография» и т.д.) значит также «высекать»; ср. нем. *kerben.* Латинское *scribere,* немецкое *schreiben,* английское *scribe, inscribe* и т.п. первоначально значили «вырезать» <...>. И наконец, славянское *писати* «писать» тоже первоначально было связано с рисованием кистью (ср. русское *живопись),* что подтверждается связью с латинским *pingere* «рисовать кистью». <...>

Рассмотренные здесь выражения не только раскрывают меха­нику процесса письма, но и указывают на весьма тесную связь между рисунком и письмом. Так оно и должно быть, поскольку наиболее естественным образом передача мыслей посредством зри­мых меток достигается при помощи рисунка. Именно рисунок, хотя и весьма несовершенным образом, обеспечивал те нужды перво­бытных людей, которые в Новое время удовлетворяются письмом. В дальнейшем рисунок развивался в двух направления: 1) как изоб­разительное искусство, в котором рисунок (или картина) продол­жает воспроизводить более или менее добросовестно предметы и события окружающего мира в форме, не зависящей от языка, и 2) как письмо, в котором знаки, независимо от того, сохраняется их рисуночная форма или нет, превращаются в конце концов во вторичные символы для передачи понятий, выраженных языко­выми средствами.

Все случаи устойчивой коммуникации, достигнутой путем ося­зательного восприятия (например, по системе Брайля) или вос­приятия слухового (например, при слушании граммофонных пла­стинок), представляют собой вторичные переносы <...>, развив­шиеся из систем, созданных на основе зрительного восприятия.

Рис. 1 в виде таблицы показывает некоторые средства комму­никации, доступные человеку.

Рассматривая различные системы взаимной коммуникации людей, не следует упускать из виду необходимости дифференци­ровать системы первичные и вторичные. Это различие может быть наилучшим образом проиллюстрировано следующим примером. Когда отец подзывает сына свистом, он без использования каких бы то ни было языковых форм выражает свое желание, чтобы мальчик оказался в определенном месте. Его мысль или ощущение пря­мо и сразу передаются свистом. Это первичный способ коммуни­кации. Но когда отец пытается позвать сына, высвистывая буквы азбуки Морзе так, чтобы получилось *с-ы-н,* он пользуется языко­вым переносом. Его желание, чтобы мальчик оказался в опреде­ленном месте, передается свистом не непосредственно, а при по­мощи языковых средств. Это и есть то, что мы называем **вторичным средством коммуникации.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мгновенная коммуникация | Стабильная коммуникация |
| Для зрительного восприятия | Жест; мимика; выражение лица, глаз; чтение по губам; мимический танец; подача сигналов огнем, дымом, светом, семафором. | (а) Предметы: крест и якорь; язык цветов или камней; счетные па­лочки; камешки; кипу; раковины каури  (б) Начертания на предметах: рисунок или скульптура; письмо. |
| Для слухового восприятия | Свист; пение и напевание; аплодисменты и одобритель­ный свист; речь; подача сиг­налов барабанами, свистка­ми, фанфарами. | Граммофонные пластинки или диктофонные цилиндры. |
| Для осязатель-ного восприятия | Рукопожатие, похлопывание по спине, поглаживание; знаки, подаваемые прикос­новением у слепоглухонемых. | Чтение пальцами рельефных или выгравированных надписей; система Брайля. |

**Рис. 1.** Способы коммуникации идей.

Границ вторичным переносам нет. Например, произнесенное слово *сын* является первичным речевым знаком. В написанном сло­ве *сын* перед нами письменный знак, использованный для речево­го знака. Если затем это написанное слово *с-ы-н* передать световы­ми сигналами, то вспышки света будут знаками письменных зна­ков, которые являются знаками речевых знаков, то есть будут знаками знаков, которые в свою очередь являются знаками знаков. И так *до бесконечности. <...>*

Что лежит в основе взаимной коммуникации? Что мы подра­зумеваем, когда говорим, что сообщаем свои идеи, мысли или чувства? Возьмем три конкретных примера из повседневной жиз­ни: что именно сообщается жестом оратора, призывающего к ти­шине, или звоном будильника, или уличным знаком «стоп»? Для лингвистов бихевиористской школы ответ ясен и прост: все, что мы сообщаем, — язык. С их точки зрения, язык — единственное средство, при помощи которого люди общаются друг с другом, а все прочие способы взаимной коммуникации не более как вторичные заменители языка. Даже сам процесс мышления для них не что иное, как «безмолвный разговор», который, как они считают, всегда сопровождается «беззвучными движениями голосовых орга­нов, заменяющими речевые движения, но незаметными для других людей». Однако как раз в этом пункте хотелось бы отойти от прин­ципиальной догмы лингвистов, принадлежащих к бихевиористской школе. Конечно, безмолвный разговор играет важную роль во всех формах мышления, в особенности в случаях напряженных размыш­лений. Например, обдумываемая ситуация, в которой вы намере­ны сказать другому человеку: «Выйди вон!», — легко может сопро­вождаться заметным движением губ, иногда даже озвученным. Но с другой стороны, известно из опыта, подтвержденного специ­альными психологическими экспериментами, что мы можем ду­мать и при отсутствии беззвучного потока слов, а также понимать назначение предметов, слов для которых мы не знаем. Наконец, глухонемые от рождения вполне способны общаться друг с другом без какого бы то ни было голосового фона, и если у них напряжен­ные размышления подчас сопровождаются более или менее замет­ными движениями рук и лица, то такие рефлексы должны рассмат­риваться как вторичные и как стоящие в одном ряду с заметными движениями губ в случаях «беззвучной речи» у людей, способных говорить нормальным образом. Немало других примеров приема коммуникации без языкового фона можно найти в нашей повсед­невной жизни. Когда я вскакиваю с постели поутру на звук бу­дильника или останавливаюсь по дорожному сигналу «стоп», то реакция моя бывает мгновенной и лишенной вмешательства ка­ких-либо языковых форм: звон будильника или вид дорожного сигнала обращены к моему сознанию непосредственно.

Между процессом передачи и процессом приема сообщения часто бывает огромная разница. В то время как процесс медленно­го письма может сопровождаться беззвучными движениями голо­совых органов, эти движения трудно, если не невозможно, выя­вить у лиц, которые могут читать про себя в два или три раза быстрее, чем вслух. Установлено, что многие люди могут читать глазами без промежуточного потока речевых знаков.

Конечно, почти все системы знаков могут быть превращены в какую-либо языковую форму, но это может происходить именно потому, что речь является наиболее полной и развитой из всех знаковых систем; однако делать отсюда вывод, что речевые формы представляют собой необходимый фон для любой взаимной ком­муникации людей, было бы заблуждением. Ведь никто не станет утверждать, что все в мире — деньги, только лишь потому, что все в мире может быть (теоретически) обращено в деньги. <...>

Только после того, как письмо развилось в собственно фонети­ческую систему, воспроизводящую элементы речи, появляется воз­можность говорить о практическом совпадении письма с речью, а также об эпиграфике и палеографии как разделах лингвистики.

Эта колоссальная разница между **семасиографической** ступенью письма (выражающей значения и представления, лишь слабо свя­занные с речью) и его **фонографической** ступенью (выражающей речь) должна нами тщательно учитываться, в особенности ввиду полемики, которая постоянно возникает по вопросам, связанным с определением письма. Те специалисты по общему языкознанию, ко­торые определяют письмо как способ передачи речи при помощи зримых знаков и принимают письменный язык за эквивалент его устного двойника, которому он следует пункт за пунктом, недооце­нивают историческое развитие письма и неспособны видеть, что такое определение неприменимо к ранним ступеням письма, на которых последнее лишь слабо отражает устную форму языка. С дру­гой стороны, филологи, которые полагают, что письмо даже после его фонетизации употреблялось для записи или передачи как идей, так и звучания, неспособны понять того, что, как только человек открыл способ выражения точных форм речи посредством письмен­ных знаков, письмо утратило свой независимый характер и стало по преимуществу письменным заменителем своего устного двойника.

ДЕФИНИЦИЯ ПИСЬМА

Если неискушенного человека попросить дать определение письма, он, скорее всего, ответит примерно так: «Да нет ничего проще. Всякий ребенок знает, что это один из трех предметов, которым учат с первого класса, а выражение «азбучная истина» обозначает элементарнейшие познания по любому вопросу». Од­нако дело обстоит не так просто.

Письмо восходит к тем временам, когда человек учился пере­давать свои мысли и чувства при помощи зримых знаков, понят­ных не только ему самому, но также и другим людям, более или менее осведомленным о той конкретной системе, в которую входят эти знаки. Первоначально рисунки служили в качестве зримого вы­ражения мыслей человека, причем эта рисуночная форма была в значительной мере независима от речи, выражавшей мысли в слы­шимой форме. Связь между письмом и речью была на ранних ступе­нях письма весьма слабой <...>. Всякое послание имело только один смысл и могло быть интерпретировано читателем только одним оп­ределенным образом, но «прочесть», то есть выразить его словами, можно было по-разному и даже на разных языках.

В дальнейшем систематическое осуществление так называемой «фонетизации» дало человеку возможность выражать свои мысли в формах, которые соответствовали определенным категориям речи. С этого момента письмо постепенно утрачивает характер незави­симого средства выражения мыслей и превращается в инструмент речи, в средство, при помощи которого определенные формы речи могли быть запечатлены в устойчивом виде. <...>

Если мы согласны считать, что паровая машина началась с Уатта, то должны быть готовы допустить, что и письмо началось лишь тогда, когда человек научился с его помощью передавать понятия в языковом выражении. А потому мы готовы были бы при­знать, что письмо, как и полагают некоторые лингвисты, является именно приемом фиксации речи и что все ступени, на которых пись­мо не служит этой цели, не что иное, как подходы к письму, а не письмо в подлинном смысле слова. Однако такого рода ограниче­ние, вводимое в определение письма, не может считаться приемле­мым, так как оно не учитывает того факта, что обе ступени имеют одну общую цель: служить средством взаимной коммуникации людей при помощи зримых условных знаков. Далее, совершенно невозможно сваливать в одну кучу все древние или примитивные письменности и рассматривать их как находящиеся на одинаково низком уровне развития. Хотя все древние письменности непри­годны для адекватной передачи речи, некоторые из них, как, на­пример, письменности майя и ацтеков, достигли такого уровня систематизации и такой степени условности, которые в какой-то мере позволяют сравнивать их со вполне развитыми письменнос­тями, такими, как шумерская и египетская.

Так все же, что такое письмо? Письмо — *это система взаимной коммуникации людей при помощи условно применяемых зримых зна­ков.* Однако из сказанного выше совершенно очевидно, что пер­вобытные люди понимали под письмом совершенно не то, что понимаем мы. Вопрос о том, что лежит в основе письма — слова или понятия, — тот же, что и вопрос, который лежит в основе проблемы взаимной коммуникации людей вообще <...>.

У первобытных индоевропейцев, семитов и индейцев потреб­ность в письме удовлетворялась простым рисунком или рядом ри­сунков, которые обычно не имели отчетливой связи с каким-либо языковым формообразованием. Так как рисунки понятны *сами по себе,* нет необходимости, чтобы они соответствовали какому-либо знаку разговорного языка. Это и есть то, что мы называем прими­тивной семасиографией.

Для нас, кто бы мы ни были — дилетанты или ученые, — письмо является *письменным языком.* Спросите прохожего на ули­це, и он ответит вам так не колеблясь. <...> В своем мнении они могут опираться на авторитет Аристотеля, который много веков тому назад в первой главе трактата «Об истолковании» сказал: «Итак, то, что в звукосочетаниях, — это знаки представлений в душе, а письмена — знаки того, что в звукосочетаниях».\*

\* *Аристотель.* Соч.: В 4 т. М., 1978. Т. 2. С. 93. — *Прим. сост.*

Я целиком согласен с лингвистами, которые полагают, что собственно письмо превратилось в способ выражения языковых элементов при помощи зримых знаков. Возьмем, например, сле­дующее предложение: *«Mr. Theodore Foxe, age 70, died to-day at the Grand Xing Station».* «Мистер Теодор Фокс, семидесяти лет, скон­чался сегодня в госпитале Гранд-Кроссинг». Хотя английское пись­мо, подобно латинскому, считается алфавитным, совершенно оче­видно, что запись приведенного предложения чисто алфавитной не является. Помимо таких букв, как *е, о, d,* выражающих соответ­ствующие им отдельные звуки, мы имеем здесь диграмму *th* для спиранта θ, букву *х* для двух согласных *ks,* словесный знак *70* для слова «семьдесят» и, наконец, символ ребусного типа *Х* в сочета­нии с алфавитным написанием *ing* для слова *Crossing.* Хотя письмо в данном случае представляется несистематичным, тем не менее каждый знак или сочетание знаков имеет здесь свое звуковое соот­ветствие в устной речи. Абсурдно рассматривать написание *«70»* в отличие от фонографического написания *«died»* как идеограмму, хотя филологи обычно делают это, исходя лишь из того, что такое написание содержит столь разные значения, как «семь, ноль, семь­десят, семидесятый» и т.д. На самом деле оба написания и *«70»,* и *«died»,* в равной мере ассоциируются с соответствующими им сло­вами *«seventy»* и *«died»* и вызывают представление соответственно о числе и о смерти. Тот факт, что написание «*70»—* логографическое, а «*died*»—алфавитное, представляет собой случайный выбор одной из возможностей письма и не должен удивлять нас больше, чем встречающиеся различия в написании других слов, например *«Mister»* или «*Mr*.», *«compare» или «cf.», «and»* или *«&».* Во всех при­веденных случаях в равной мере наблюдается условное употребле­ние определенных знаков для определенных форм речи.

Если под «языковыми элементами» понимать отрезки предло­жения, слова, слоги, отдельные звуки и просодические призна­ки, то окажется, что предложение, рассмотренное выше, содер­жит исключительно знаки для слов, отдельных звуков и просоди­ческих признаков. Фразеограммы, или знаки для отрезков предложений, в обычных письменностях встречаются редко, но они составляют существенную часть всех стенографических систем. Слоговые знаки, само собой разумеется, характерны для слоговых письменностей. Из числа просодических признаков, таких, как количество (или долгота), акцент (или ударение), тон и паузы, только последние отчасти бывают выражены словоделением, а так­же знаками препинания в виде запятых. Обычно письмо не пере­дает сколько-нибудь адекватно просодические признаки. Напри­мер, в таком предложении, как *«Вы идете домой?»,* вопрос выра­жен при помощи вопросительного знака, однако определение того, к какому слову этот вопрос относится, к первому, второму или третьему — оставляется на усмотрение читателя. В отличие от этого в научной транслитерации для передачи просодических признаков часто применяются специальные знаки. Таковы различные диак­ритические значки или цифровые индексы. Например, в написа­нии *dēmos* (греч.) обозначены количество и ударение, а в написа­нии *ku3* (шумерск.) обозначен тон. Исчерпывающим образом тон и его повышение и понижение фиксируются только в системе нотной записи. На рис. 2 приводятся в виде таблицы различные способы написания языковых элементов. <...>

Письмо никогда не может рассматриваться как *точный* экви­валент устной формы языка. Такое идеальное соответствие, при котором одна речевая единица выражалась бы одним знаком, а один знак выражал бы только одну речевую единицу, так и не смогло быть достигнуто письмом. Даже алфавитное письмо, наи­более развитая из всех форма письма, изобилует проявлениями непоследовательности в передаче отношений между знаком и зву­ком. <...>

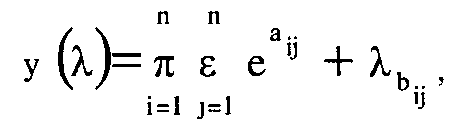
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Письменный знак | Система знаков |
| Отдельный звук  (фонема) | Буква, или алфавитный  знак | Алфавит, или алфавитное  письмо, или буквенное  письмо |
| Слог | Силлабограмма,  или силлабический знак,  или слоговой знак | Силлабография, или силла­  бическое письмо,  или слоговое письмо |
| Слово | Логограмма,  или словесный знак | Логография, или словесное  письмо |
| [Фраза | Фразеограмма,  или фразовый знак | Фразеография, или фразо­  вое письмо] |
| [Просодический  признак | Просодический знак | Просодическое письмо] |

**Рис.** **2.** Способы написания языковых элементов.

При всем при том общая констатация того факта, что соб­ственно письмо выражает речь, не означает, что оно не выражает ничего, кроме речи. Любое письмо, даже наиболее развитое фоне­тическое письмо, изобилует формами, которые, будучи прочита­ны вслух, двусмысленны и легко могут быть поняты неправильно. Существование так называемых «визуальных морфем», то есть форм, которые передают значение только на письме, показывает, что письмо может иногда функционировать в качестве средства ком­муникации отдельно от речи и в дополнение к ней. Из множества примеров визуальных морфем в английском приведем следующие <...> случаи такого различения значений, выраженного написани­ем слов: *check-cheque* («препятствие» — «чек»), *controller— comptroller* («контроллер; контрольный механизм» — «финансовый контро­лер; инспектор»), *compliment— complement* («комплимент» — «ком­племент»). <...>

В современном употреблении иногда встречаются знаки, не имеющие точных общепринятых речевых соответствий. Например, стрелка, использованная в качестве символа, может иметь разные значения, зависящие от ситуации. В качестве придорожного знака она может значить «следуйте в направлении, указываемом стрел­кой», а у входа в погреб означает «вход здесь». Примеры такой символики имеют множество параллелей на семасиографической ступени письма, когда знаки подразумевают именно значения, а не слова или звуки. Символика такого рода находится за предела­ми нормальной системы письма. Как часть фонетической системы письма знак стрелки с течением времени должен приобрести одно или два недвусмысленных речевых значения вроде «идти (туда-то), следовать» и т.п. <...>

За пределами нашей фонетической системы знаков находятся также условные обозначения, употребляемые в математике, логи­ке и некоторых других науках. Хотя в написании такой математи­ческой формулы, как



каждый знак имеет или может иметь точное соответствие в речи, значение здесь передается суммой знаков, порядок и форма которых не следуют принятым нормам обычного фонетического письма.

Значение может иногда передаваться на письме не только при помощи условной формы знаков, но также и посредством различных вспомогательных способов, опирающихся на описательные приемы, цвет, позицию и контекст ситуации.

Наиболее древние восточные системы письма, а именно месопотамская, египетская и др., будучи полностью фонетическими, употребляют условные знаки с определенным словесным или слоговым значением. Однако даже в некоторых из подобных полнос­тью фонетических письменностей значение выражается иногда не условными знаками, а изображениями сцен, выполненными при помощи описательно-изобразительного приема. <...> Так, в еги­петском тексте, описывающем победы Рамзеса II над вражескими странами, почетный титул фараона «Тот, кто подчиняет чужие народы» не выписан отдельными иероглифами, а дан в виде сце­ны, изображающей фараона, который связывает чужеземного царя веревками. В другом тексте формула «жертвоприношение, которое приносит царь» выражена рисунком, изображающим царя, кото­рый держит циновку с лежащим на ней караваем хлеба. Значение этих двух сцен передается в форме, хорошо известной нам по ран­нему периоду египетского письма <...>.

Роль цвета в нашем современном письме как будто несуще­ственна, хотя разные цвета и употребляются иногда с целью более отчетливой дифференциации значений, например в таблицах; все же как в печати, так и в письме от руки нормальным является преобладание черного или темного цвета. В прежние времена, ког­да все писалось от руки, дифференциация цветов встречалась чаще. Как в древних мексиканских рукописях, так и в более поздних руко­писях индейцев часто встречается окраска знаков. У индейцев чероки белый цвет употребляется для обозначения мира или счастья, черный — для обозначения смерти, красный — успеха и торжества, синий — поражения и беды. Следует еще упомянуть Полихромную Библию, в которой при помощи цвета обозначены разные источни­ки текста, а также современные пазиграфические системы\* <...>, использующие цвет для дифференциации значения. За пределами письма разные цвета используются на картах и при татуировке. И система *кипу* пользовалась при передаче данных учетного харак­тера вывязыванием узлов на шнурах разного цвета. Именно разли­чия в цвете чаще всего лежат в основе использования цветов и камней для передачи определенного рода сообщений.

\* *Пазиграфия —* универсальное символическое письмо: выражение мысли зна­ками, понятными многим народам (например, музыкальные ноты, арабские циф­ры). — *Прим. сост.*

Значение может иногда передаваться приемом, в основе кото­рого лежит так называемый «принцип позиции», или «принцип позиционного значения». Известно, насколько этот принцип ва­жен в математике, например в написаниях «32» и «32». В то время как сами по себе приведенные цифры значат «три» и «два», подра­зумеваемое значение выражено здесь постановкой знаков в опре­деленную условную позицию по отношению друг к другу. <...>

Рука об руку с принципом позиции действует принцип кон­текста ситуаций, если воспользоваться термином, который упот­ребляет Б. Малиновский в своей работе, посвященной изучению проблемы значения в примитивных языках. Так, вопрос *«Где перо?»* обычно бывает вполне понятен слушателю, несмотря на то, что слово «перо» может иметь такие разные значения, как «орудие письма», «птичье перо» и—в воровском жаргоне — даже «нож»; происходит это по той простой причине, что вопрос задается в определенных условиях, которые обеспечивают однозначность понимания. Таким же образом из контекста без труда выясняется, что сокращение *PG* в работе, посвященной германской армии, значит *Panzergrenadier* «рядовой мотопехоты», в университетском употреблении — *postgraduate* «аспирант». Принцип контекста ситу­ации находит применение также и в других знаковых системах, например в системах, связанных с жестами: так, изображение че­ловека, указывающего пальцем на дверь, может в одних ситуациях значить «выход!», а в других просто «там» или «в этом направле­нии». Значение контекста ситуации хорошо прослеживается в со­временных карикатурах: политическая карикатура, опубликованная каких-нибудь пятьдесят лет тому назад, почти недоступна понима­нию молодого человека, незнакомого с ситуацией и условиями, которые послужили поводом для ее создания.

ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ О ПИСЬМЕ

При попытке реконструировать ранние ступени нашей культу­ры мы опираемся главным образом на источники, относящиеся к Древнему Востоку. Это касается истории письма, может быть, даже в большей степени, чем какого бы то ни было другого важного культурного достижения. Именно там, в странах шумеров, вавило­нян, ассирийцев, хеттов, ханаанеев, египтян и китайцев, лопата археолога добыла в течение последнего века тысячи документов, которые невероятно обогатили наши знания и открыли совершен­но новые перспективы для исследований. Абсолютно немыслимо пытаться хотя бы примерно представить себе историю письма без учета письменных источников Древнего Востока. Однако в наших знаниях еще немало пробелов. Чем дальше мы уходим в глубь вре­мен, тем меньше источников оказывается в нашем распоряжении. Чрезвычайно интересная проблема «происхождения» письма скрыта во мраке веков, и решить ее так же трудно, как проблему «проис­хождения» таких важных аспектов нашей культуры, как искусст­во, архитектура, религия и социальные институты.

Так как древние времена не дают нам ключа к пониманию некоторых существенных моментов развития письма, мы вынуж­дены искать данные, которые помогли бы пролить свет на интере­сующий нас предмет, в другом месте. Приходится пользоваться тем обстоятельством, что еще до сих пор существуют или суще­ствовали в недавние века примитивные общества, культурный уро­вень которых в ряде отношений схож с уровнем давно исчезнув­ших древних культур. Письменное наследие таких примитивных народов, как американские индейцы, африканские бушмены или аборигены Австралии, сколь далеко оно ни отстоит от того, что мы называем письмом сегодня, тем не менее дает ценную основу, позволяющую понять, каким путем люди научились общаться друг с другом при помощи зримых меток. В наших изысканиях мы не должны пренебрегать искусственными письменностями, создан­ными аборигенным населением под влиянием европейцев, чаще всего миссионеров. История этих письменностей, самыми инте­ресными из которых являются системы эскимосов Аляски, афри­канского племени бамум и индейцев чероки, позволяет увидеть разные ступени, через которые они прошли, прежде чем достигли своего окончательного вида. Последовательность этих ступеней во многом сходна с той, которая наблюдается в истории письма при его естественном развитии.

Другой весьма плодотворный метод изучения может быть под­сказан исследованием детской психологии. Не раз наблюдалось, что существует сходство между складом мышления младенцев и детей и складом мышления целых обществ, стоявших на самых примитивных ступенях развития. Одним из наиболее важных мо­ментов этого сходства является тенденция к конкретности. Подоб­но тому как ребенок рисует вертикальную линию и объясняет, что это дерево, которое растет перед домом, так и примитивный че­ловек часто ассоциировал свои рисунки с конкретными предме­тами и событиями окружающего мира. Эта тенденция, проявляю­щаяся в письме и рисунке, проистекает из самого характера языка первобытных людей, которому была свойственна склонность к чрезвычайно конкретным и узким обозначениям. Наблюдения над такими примитивными языками, в которых, например, не упот­ребляются слова «рука» или «глаз», а только «моя рука» или «мой глаз» (в зависимости от ситуации) и в которых нет общего слова «дерево», а есть лишь конкретные слова «дуб», «вяз» и т.п., можно в значительной мере заменить изучением речи детей, едва научив­шихся говорить. Другая интересная точка соприкосновения может быть выявлена путем изучения направления и ориентации знаков в детских рисунках и в примитивных письменностях. Замечено, что дети изображают предметы, искажая существующие между ними пропорции, не соблюдая какого-либо порядка и не прояв­ляя сколько-нибудь заметного чувства направления. Даже ребенок, которого уже учат письму, часто изображает буквы то слева на­право, то справа налево, не отдавая себе отчета в существовании какой-либо разницы между обоими направлениями. Подобное от­ношение к направлению и к ориентации знаков наблюдается по­чти во всех примитивных письменностях.

Тенденция к конкретности и детализации, отмеченная у детей и у первобытных народов, недавно выявлена также и у взрослых, страдающих умственной неполноценностью, проявляющейся по типу амнестической афазии. Наблюдения показали, что эти лица обычно избегают общих выражений, таких, например, как «нож», употребляя вместо них конкретные обозначения типа «хлебный нож», «кривой нож» или «перочинный нож». Путь, по которому такие лица заново учат язык, подобен пути естественного языко­вого развития детей. Таким образом, детальное изучение больных амнестической афазией может способствовать изучению происхож­дения языка и письма.

ИЗУЧЕНИЕ ПИСЬМА

Исследование письма с точки зрения формы является прежде всего поприщем эпиграфистов и палеографов. Обе специальности часто смешивают, хотя в точном словоупотреблении их следовало бы строго различать. Эпиграфист интересуется главным образом надписями, высеченными острым орудием на твердом материа­ле — на камне, дереве, металле, высушенной глине и т.п., тогда как палеограф изучает прежде всего рукописи, выполненные на коже, папирусе или бумаге пером или кисточкой. Эпиграфика чаще занимается более древними периодами истории письменностей, а палеография — рукописями более поздней поры.

По сути дела, эпиграфика и палеография как всеобщие науч­ные дисциплины не существуют. Ни в одной из этих двух областей нет работ, которые рассматривали бы предмет с общей, теорети­ческой точки зрения. Мне, к примеру, не известно исследование, которое представило бы читателю развитие формы знаков от рису­ночного состояния до линейного или от округлого начертания до угловатого с учетом всех письменностей мира. Вместо этого мы располагаем исследованиями сравнительно узких областей, напри­мер семитской эпиграфики, арабской палеографии, греческой и латинской эпиграфики и палеографии, китайской палеографии, папирологии и т.д., ограниченных определенными периодами вре­мени или географическими ареалами. Все эти относительно узкие области исследования представляют собой разделы более обшир­ных, но специфических областей, таких, как семитская или араб­ская филология, классическая филология, ассириология, китае­ведение и египтология.

Подобно тому как нет всеобщей эпиграфики или палеогра­фии, так нет и всеобщей науки о письме. Тому, кто помнит десят­ки разнообразных книг, трактующих о письме вообще, такое ут­верждение может показаться нелепым. Однако следует отметить, что для всех этих книг характерен историко-описательный подход. А такой чисто повествовательный подход к предмету не создает науки. Не рассмотрение гносеологических вопросов «что? когда? где?», а рассмотрение вопроса «как?» и еще прежде «почему?» яв­ляется основным в создании теоретических основ науки. За выче­том немногих исключений, касающихся отдельных письменнос­тей, названные вопросы если когда-либо и ставились в области письма, то крайне редко. Однако наибольшим недостатком всех работ, посвященных письму, является полное отсутствие систе­матической типологии. Нельзя сказать, что по отдельным пись­менностям, таким, как египетская иероглифика или греческий алфавит, нет хороших работ. Но нам недостает теоретической и сравнительной оценки разных типов письма, то есть сопостави­тельного рассмотрения различных типов силлабариев, алфавитов, словесных знаков и словесно-слоговых письменностей. Существу­ющая ныне путаница в области типологической классификации письменностей может быть проиллюстрирована употреблением термина «переходные» по отношению к столь важным письменно­стям, как месопотамская клинопись или египетская иероглифика, которые просуществовали около трех тысяч лет и чье точное место в классификации письма может быть установлено без большого труда.

Цель данной книги заложить фундамент подлинной науки о письме, которую еще предстоит создать. Эту новую науку можно было бы назвать «грамматологией». <...>

*Й. Вахек* К проблеме письменного языка\*

В те годы, когда в науке о языке почетное место принадлежало фонетике, письмо не пользовалось благосклонным вниманием лин­гвистов. Оно казалось не более чем оболочкой, скрывающей истин­ные свойства языка, и в качестве единственной функции письма выдвигалась задача служить изображением (устного) языка. К этому взгляду, наиболее отчетливо сформулированному Ф. де Соссюром, можно отнестись с полным пониманием, рассматривая его как реакцию на более ранние периоды развития лингвистической мыс­ли, когда языковеды лишь с большим трудом могли освободиться от гипноза графики, переходя от оптических знаков — букв к аку­стическим — звукам; однако этот взгляд не соответствует сегод­няшнему уровню лингвистического знания.

\* Пражский лингвистический кружок М., 1967. С. 524—534.

Заслугой покойного украинского лингвиста проф. Агенора Артимовича является то, что в своих исследованиях <...> он показал, «что письмо каждого так называемого литературного языка фор­мирует особую автономную систему, частично независимую от собственно устного языка». Однако, хотя работы Артимовича со­держат немало подтверждений этого тезиса, в них не получила достаточного развития его общетеоретическая и принципиальная сторона.

Прежде всего следует подчеркнуть, что Артимович недоста­точно четко показал различие между «письменным языком» и от­дельными письменными высказываниями. Между тем это разли­чие в высшей степени важно. Под письменным языком мы пони­маем норму, или лучше — систему графических (соответственно типографских) средств, признаваемых за норму внутри опреде­ленного коллектива. Письменные высказывания представляют со­бой, напротив, отдельные конкретные реализации названной нор­мы. В каждодневной практической жизни мы сталкиваемся с пись­менными высказываниями — только по ним и можно судить об особенностях письменного языка как системы. Тем не менее нельзя подвергать сомнению его специфическое существование хотя бы уже в силу его нормативного характера. В особенности следует ос­терегаться смешения письменного языка с «графикой» [«Schrift»] или с «орфографией». Графика — это всего лишь terminus technicus, обозначающий инвентарь письменных знаков, необходимых для изложения устных высказываний [Sprechäußerungen]. Орфография же — это своеобразный мостик между двумя языковыми система­ми — письменным и устным языком, набор соответствий между отдельными элементами обеих систем.

Из развиваемых здесь соображений следует, что между письмен­ным языком и письменными высказываниями существует отноше­ние, подобное тому, которое было установлено Ф. де Соссюром для языка (langue) и речи (parole). Различие состоит лишь в том, что тогда как письменный язык может служить аналогом «языка», кон­кретным письменным высказываниям могут соответствовать лишь конкретные устные высказывания, но не абстрактная «речь».

Таким образом, мы подходим к вопросу о том, что, собствен­но, соответствует «речи» в действительной жизни языка. Если за­думаться над этой проблемой, то придется признать, что содержа­ние понятия «parole» далеко не так ясно и безупречно, как содер­жание понятия «langue». Нелишне заметить, что сам Ф. де Соссюр создал действительно богатую плодотворными идеями «лингвис­тику языка», но не «лингвистику речи». Что вообще вкладывал женевский лингвист в понятие «parole»? <...> Мы находим в его «Курсе» следующее предложение: «Она (речь) — сумма всего, что говорят люди, и включает: а) индивидуальные комбинации, за­висящие от воли творящих, б) акты говорения, равным образом произвольные, необходимые для выполнения этих комбинаций». Рассматривая это определение более пристально, можно конста­тировать, что здесь Соссюр объединил в рамках «речи» две разно­родные группы фактов. К первой группе относятся индивидуаль­ные сочетания языковых элементов — такие сочетания должны быть даны, однако, уже в «языке», поскольку они также должны следовать определенной норме и не могут быть чисто субъектив­ными. Тем самым первая часть соссюровского определения не­удовлетворительна, и соответствующие факты принадлежат «язы­ку», а не «речи». Как обстоит дело со второй половиной приведен­ного выше определения? Упомянутые де Соссюром акты говорения следует, несомненно, отождествить с тем, что мы называем здесь «устными высказываниями», так как они индивидуальны и конк­ретны. Таким образом, и они не покрываются понятием «речи».

Из сказанного следует, что понятие «речи» — по крайней мере, в том смысле, какой вкладывал в него Соссюр, — является из­лишним. Мы видим, кроме того, что оказывается оправданной предложенная выше аналогия между соотношением письменного языка и письменных высказываний, с одной стороны, и «языка» и устных высказываний — с другой.

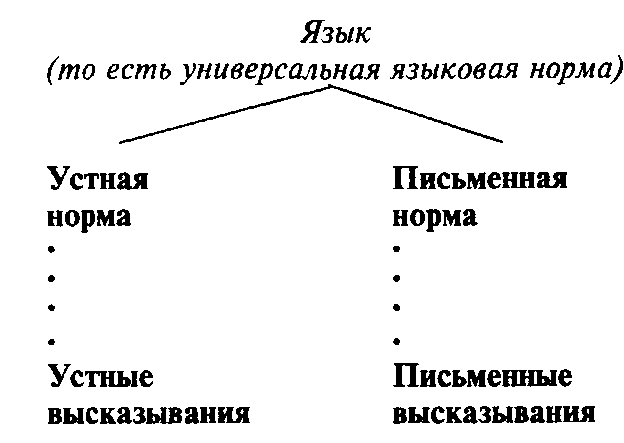
Таким образом, последовательное проведение нашего проти­вопоставления письменного языка письменным высказываниям приводит нас к заслуживающей внимания поправке одного нема­ловажного пункта лингвистической теории. Мы могли бы теперь задаться вопросом, каким образом де Соссюр вообще пришел к выдвижению понятия «речи». Ответ на этот вопрос, очевидно, на­ходится в связи с тем обстоятельством, что для женевского языко­веда понятие «языка», как это было уже показано Р. Якобсоном, <...> является по существу статическим. А так как де Соссюр дале­ко не в полной мере учитывал внутреннюю динамику языка, все­гда существующее стремление к равновесию системы, никогда пол­ностью не достигаемому, то ему не оставалось ничего другого, как объяснять проявляющуюся в течение времени и языкового разви­тия динамику извне. Именно поэтому женевский исследователь постулировал наличие особого фактора — «parole», который дол­жен был играть роль своеобразного посредника между двумя язы­ковыми состояниями, рассматриваемыми в статике. По нашему же мнению, принятие посредствующего абстрактного фактора явля­ется излишним, изменения языковой системы происходят внутри самой языковой системы и вызываются вновь стремлением к вос­становлению равновесия в системе. Речевые высказывания [Sprechäußerungen] играют при этом известную роль, но роль не динамического посредника, а лаборатории, в которой язык испы­тывает различные средства к восстановлению своего равновесия. Другими словами, различные носители данного языка ощущают несовершенство его равновесия; они преобразуют языковую сис­тему в той или иной точке, делая это часто непроизвольно и бес­сознательно. При этом, естественно, различные носители языка изменяют не одни и те же, а разные точки системы. Эти индивиду­альные системы, несколько сдвинутые в различных направлени­ях, реализуются затем говорящими в их высказываниях. Тем са­мым эти индивидуальные сдвиги, как в лаборатории, подвергают­ся испытанию с точки зрения их целесообразности — одни из них признаются языковым коллективом как более, другие — как ме­нее подходящие для восстановления равновесия. Наиболее подхо­дящие средства включаются затем, причем окончательно, в «язык».

Итак, мы склонны сделать вывод, что письменный язык и «langue» представляют собой рядоположные [koordinierte] понятия, которым подчинены письменные и соответственно устные выска­зывания в качестве понятий субординированных. Таким образом мы подходим к новой проблеме, которая принадлежит к числу важнейших в лингвистической теории. Противоположение «langue» письменному языку наталкивает на мысль, что «langue» представляет собой нечто, имеющее акустическую характеристику. Однако это противоречит одному из самых фундаментальных положений Ф. де Соссюра, а именно тому, что «langue» является формой, а не субстанцией. Существенное в «langue» представлено, по де Соссюру, лишь его знаковым характером, а не материальной стороной. Иначе говоря, если, например, фонемы какого-либо языка будут выражаться не посредством звуков, а посредством красок и жес­тов, мы будем иметь дело с тем же самым языком, поскольку взаимные отношения знаков, несмотря на различные способы их реализации, останутся прежними. Это положение делает для нас понятным и отношение де Соссюра к письму: раз единственная характеристика «языка» — это только знаки и их взаимные отно­шения и раз материальный способ их реализации несуществен, тогда письмо — это действительно лишь оболочка, затемняющая истинную природу языка. В самом деле, если знаки и их соотноше­ния представляют единственную ценность, они должны получать единообразное выражение в любом материале, в том числе, сле­довательно, и в письменных, соответственно буквенных знаках. А так как многие (если не все) письменные языки не удовлетво­ряют этому требованию, они вполне заслуживают соссюровской оценки — в той мере, в какой является правильным приведенный выше тезис женевского ученого.

Однако в противовес этому следует указать на то обстоятель­ство, что письменные высказывания — по крайней мере у куль­турных языковых коллективов — обнаруживают известную неза­висимость по отношению к устным высказываниям, что было до­казано работами проф. Артимовича. В этом мы не увидим ничего странного, если будем иметь в виду различие в функциях пись­менных и устных высказываний. Задача устного высказывания со­стоит в том, чтобы как можно более непосредственно реагировать на тот или иной факт; письменное же высказывание фиксирует определенное отношение к той или иной ситуации на возможно более длительный срок. Определенная независимость письменных высказываний предполагает и определенную независимость соот­ветствующей нормы, то есть письменного языка. Однако безуслов­но оптический характер этой нормы с необходимостью ведет к признанию акустического характера сопряженной с ней устной нормы [der koordinierten Sprechnorm], то есть «языка» («langue»). Как разрешается это противоречие?

Здесь нам в какой-то мере могут помочь некоторые соображе­ния, касающиеся взаимоотношений обеих названных норм. Хоро­шо известно, что члены языкового коллектива (по крайней мере цивилизованного) имеют в своем распоряжении две языковые нормы — одну для устных, другую — для письменных высказыва­ний, хотя возможно, что они не владеют обеими этими нормами с одинаковой степенью совершенства. Любой из членов языкового коллектива отдает себе отчет в том, что обе нормы дополняют друг друга [komplementär sind], поскольку каждая из них обладает специ­фической функцией, в которой одна не всегда успешно может заме­нить другую. Возникает вопрос, ограничивается ли взаимо­связь обеих норм лишь комплементарностью, или же существу­ет высшая, универсальная норма, к которой следует сводить обе эти нормы и которой, таким образом, обе эти нормы подчинены.

Идея такой универсальной нормы, несомненно, весьма заман­чива: ее абстрактная природа и отсутствие прикрепленности как к оптической, так и к акустической форме выражения прекрасно бы согласовались с формальной, несубстанциональной природой соссюровского «langue». В этом случае мы пришли бы к следующей схеме:



Является ли существование такой универсальной нормы веро­ятным или хотя бы возможным? Чтобы быть в состоянии ответить на этот вопрос, мы должны вновь обратиться к нашим соображе­ниям, которые касаются отношений внутри цивилизованных язы­ков.

Наличие двух языковых норм в цивилизованных языках не под­лежит сомнению. С синхронической точки зрения неправомерно вместе с де Соссюром пытаться решить вопрос о том, какая из этих двух норм является первичной во временном плане и какая вторичной. Обе нормы суть просто лингвистические феномены, и каждая из них выполняет свойственную лишь ей функцию. Пере­ход от одной нормы к другой называется правописанием и соот­ветственно — произношением, и именно в согласии с ними устная норма транспонируется в письменную и обратно. Этот переход от одной нормы к другой в одних языковых коллективах оказыва­ется более легким, в других — более трудным, однако он всегда остается фактом, который нельзя оспаривать.Чем легче осущест­вляется такой переход, тем ближе друг к другу обе нормы — уст­ная и письменная — и тем вероятнее представляется наличие не­кой универсальной нормы.

Впрочем, невозможность найти такой языковой коллектив, в котором обе нормы обнаружили бы настолько аналогичную струк­туру, что можно было бы без долгих размышлений признать суще­ствование подчиняющей их себе абстрактной нормы — хотя бы только для данного языкового коллектива, доказывается весьма простым соображением. А именно, необходимо иметь в виду сле­дующий важный момент: если даже и можно найти такой язык, в котором каждой фонеме последовательно соответствовала бы одна особая буква, этого еще далеко не достаточно для того, чтобы доказать аналогичность структуры письменной и устной нормы. Если бы обе нормы обладали полностью аналогичной структурой, то каж­дый функционально значимый акустический элемент должен был бы иметь свой графический эквивалент в письменной норме, и на­оборот. Однако практически это совершенно невозможно. Хорошо известно, что огромному богатству акустических средств устной нор­мы противостоит ограниченное количество оптических средств, ко­торыми обладает письменная норма. Там, где в распоряжении уст­ной нормы имеется разнообразная шкала мелодических, экспира­торных и др. элементов, письменная норма должна довольствоваться скудным инвентарем пунктуационных и различительных средств (таких, например, как разрядка, курсив и т.п.). Как далеко отстоят друг от друга обе нормы, видно хотя бы из того, насколько часто письменная норма должна прибегать к вторичным средствам там, где устная норма пользуется первичными средствами. В романах и вообще в беллетристике можно найти огромное количество по­добных средств выражения. Интонация, например, должна пере­даваться следующим образом: *он* *говорил отрывистыми фразами; ...спросил он сонным голосом; ...ответил он резко* и т.п. Иногда при­ходится прибегать к помощи целых предложений, например: *В его словах сквозила большая доброта.* Энергия и вообще интенсивность также выражаются вторичными средствами: *...крикнул он громко; ...сказал он вполголоса; ...прошептал он* и т.д.

Эти наблюдения никоим образом не позволяют заключить, что письменный язык представляет собой менее совершенную струк­туру, чем устный. Его структура не является менее совершенной, это просто иная структура. Ведь и письменная норма — хотя об этом очень часто забывают — располагает определенными сред­ствами, чуждыми устной норме, которая должна прибегать в этом случае к вторичным средствам выражения. С самой природой пись­менных высказываний связано то, что средства, о которых идет речь, служат скорее интеллектуальным, чем эмоциональным и дру­гим потребностям. Здесь следует прежде всего упомянуть о разде­лении сравнительно длинных письменных высказываний на абза­цы, которые сигнализируют читателю о том, что речь идет также и о новом отрезке содержания. В устном высказывании в таких слу­чаях приходится прибегать к вторичным средствам (например: *Та­ким образом, мы покончили с проблемой А и теперь переходим к про­блеме Б*). Хорошо известно также, как крохотный знак двоеточия устанавливает связь между частями запутанного фразового перио­да и таким образом дает возможность сделать его понятным. В уст­ном высказывании, не допускающем таких сложных периодов, пос­ледние разлагаются на более мелкие предложения. Функция двое­точия выражается при этом опять-таки вторичным образом (например, словами: *это было вызвано тем, что...; случилось так, что...* и т.п.).

Итак, мы обнаружили, что ни в одном языковом коллективе письменная и устная нормы не обладают полностью аналогичной структурой. Отсюда вытекает естественный вывод, что следует от­вергнуть возможность существования абстрактной универсальной нормы, подчиняющей себе письменную и устную нормы, для ка­кого бы то ни было из существующих языков. Ведь если нельзя говорить о наличии такой нормы даже для таких языков, в кото­рых подобному допущению благоприятствует фонологический принцип, лежащий в основе алфавита, то тем менее можно пред­полагать ее существование в тех языках, где отсутствует упомяну­тая предпосылка, то есть в таких языках, которые либо значитель­но отклонились от фонологического принципа при создании сво­их письменных норм, либо избрали совсем другой принцип (ср., например, индийский с его слоговым письмом или китайский с его идеографическим письмом и т.д.). Следовательно, письменная и устная нормы должны рассматриваться как рядоположные вели­чины, которые не подчинены какой бы то ни было высшей норме и связь между которыми объясняется лишь тем обстоятельством, что они выполняют комплементарные функции в использующем их языковом коллективе. Как было сказано выше, это функция непосредственной реакции, с одной стороны, и функция продол­жительной реакции — с другой.

Из только что сказанного вытекают некоторые важные обще­теоретические следствия.

Прежде всего оказывается безусловно необходимым различать «письменный язык» («la langue ecrite») и «устный язык» («la langue parlée») как две особые системы норм. Прежнее понятие «язык» («la langue») в связи с этим не упраздняется, а лишь меняет свое содержание. Это наименование должно обозначать не абстрактную универсальную норму, но сумму обеих рассмотренных выше норм. которые связаны друг с другом тем, что они обеспечивают данно­му языковому коллективу возможность реагировать любым обра­зом на любую ситуацию.

Установленное различие обеих норм вновь возвращает нас к вопросу о том, является ли язык формой или субстанцией. Мы хотели бы ответить на этот вопрос следующим образом. Вообще говоря, не подлежит сомнению, что наиболее существенное в каж­дом языке определяется взаимными отношениями его элементов. Однако, с другой стороны, эти отношения повисают в воздухе, если они не обнаруживаются в определенной субстанции. Можно без колебаний признать, что до тех пор, пока язык реализуется лишь в устных высказываниях (то есть пока данный языковой кол­лектив еще не произвел никаких письменных высказываний), аку­стическая субстанция не привлекает внимания и остается в тени, поскольку рассматривается как нечто несущественное. На этой ста­дии языкового развития члены языкового коллектива используют свой язык лишь в качестве единственного средства выражения определенной позиции (по Скаличке, в качестве средства семиологической реакции), без дальнейшей дифференциации. Посколь­ку этой цели служат лишь акустические средства, говорящие вос­принимают акустическую природу языковой субстанции, как рыба воду или как человек воздух, то есть как нечто само собой разуме­ющееся. Но как только данный языковой коллектив начинает диф­ференцировать языковые функции на функции непосредственной и продолжительной реакции, то есть как только в языковом кол­лективе появляются первые письменные высказывания, языковая субстанция, воспринимаемая до тех пор как несущественная, не­обходимо начинает в той или иной мере осознаваться.

С этих пор существует уже не только противопоставление вещи и знака, взаимно противопоставленными оказываются также пись­менный и устный знак, и это новое противопоставление (вместе с наличием перехода от знаков одного рода к знакам другого рода, то есть с наличием правописания и произношения) выдвигает обе субстанции — звуковую и письменную — на передний план. Уже один тот факт, что члены языкового коллектива делают в соответ­ствии со специализированными функциями выбор между различ­ными специфическими субстанциями выражения, показывает, что эти субстанции не являются чем-то несущественным, но должны рассматриваться как важные функциональные факторы. Следует подчеркнуть, что взаимные отношения языковых элементов со­храняют всю свою важность для структуры данного языка и при данном подходе; однако не менее важным является то, что харак­тер этих отношений с необходимостью определяется природой субстанции выражения. Эта зависимость непреложно вытекает уже из того, что было сказано выше относительно первичных и вто­ричных средств выражения — подобные факты ясно показывают, каким образом природа субстанции выражения суживает в значи­тельной степени возможности реакции как устных, так и пись­менных высказываний.

Рассмотрим теперь проблему устной и письменной нормы так­же и в плане диахронии. Можно с уверенностью утверждать, что первые письменные высказывания определенного языкового кол­лектива базируются на устных высказываниях и что письменная норма представляет собой на первых порах всего лишь транспози­цию устной нормы. Это, впрочем, признавал и Артимович. Мы хотели бы добавить, что на данной стадии письменная норма дол­жна рассматриваться как вторичная знаковая система, поскольку каждый из составных элементов этой системы представляет собой знак знака — другими словами, вся эта вторичная знаковая систе­ма является не отражением системы реалий, но лишь отражением первичной знаковой системы (в данном случае устной нормы), и лишь эта последняя связана непосредственно с системой реалий. Однако специфическая функция письменной речи очень скоро приводит к той самостоятельности письменной нормы, на кото­рой настаивал в первую очередь Артимович. Но как только пись­менная норма получает автономию, сразу же меняется ее позиция в системе языковых ценностей: из вторичной знаковой системы она превращается в первичную, так что составные элементы пись­менной нормы представляют собой отныне не знаки знаков, но знаки вещей. Тем самым письменная норма становится соотноси­тельной [wird ...koordiniert] с устной нормой. Естественно, указан­ными двумя нормами говорящие не могут владеть одинаково сво­бодно. Для подавляющего большинства говорящих устная норма остается более близкой, и они переходят от нее к письменной норме через посредство правописания. Однако нередко речь идет и об обратном соотношении: для некоторых говорящих письменная норма составляет основу всей языковой деятельности и именно от нее осуществляется переход к устной норме через посредство про­изношения. О значении письменной нормы свидетельствует, меж­ду прочим, и то, что она становится базой, на которой вторично строятся новые знаковые системы (например, телеграфный код, алфавит для глухонемых, иногда также система стенографии и т.п.).

Наконец, несколько кратких замечаний относительно дина­мики и проблематики письменного языка. Из сказанного выше следует, что письменный язык стремится к ясности и недвусмыс­ленности знаковой системы — ведь высказывания записываются и сохраняются лишь для того, чтобы к ним всегда можно было бы обратиться в случае необходимости, и потому от записи требуется прежде всего быстрая и точная информация. В соответствии с эти­ми потребностями некоторые языки предпочитают класть в осно­ву своего письма морфологический принцип (таковы, например, чешский, английский и русский языки, отчасти также немецкий); другие языки проводят как можно более последовательно соответ­ствие между буквами и фонемами (таковы, например, сербохор­ватский или финский); большинство языков в тех же целях разде­ляют соседние слова, предложения пробелом и т.д. и т.п. Средства, к которым прибегают языки для достижения ясности и недву­смысленности, являются, таким образом, в общем и целом про­извольными, их выбор определяется принципами, которые по боль­шей части носят негативный характер. Так, в частности, каждый языковой коллектив заинтересован в том, чтобы структура пись­менной нормы не отдалялась слишком сильно от структуры уст­ной нормы, другими словами, чтобы правила правописания и со­ответственно произношения не были слишком сложными. Этот принцип представляет собой один из важнейших динамических факторов, требующих изменений внутри письменного языка. Это никоим образом не означает, что развитие письменного языка всегда является лишь рабским повторением развития устной нор­мы. С консервативными функциями письменного языка связано то, что он оказывается более статичным, чем устный язык, что, однако, ни в коем случае не делает его абсолютно пассивным фак­тором. История цивилизованных языков изобилует многими инте­ресными примерами, иллюстрирующими активную роль письмен­ного языка (ср. в особенности английский язык с его «спеллинговым» произношением).

Кроме внутренних динамических факторов, можно указать и на некоторые внешние динамические факторы, влияние которых также вызывает изменения в письменном языке. Здесь могут быть названы различные эстетические, типографические и тому подоб­ные факторы, однако особенно важным в этом отношении пред­ставляется нам влияние других письменных языков. Изменения, которым дает толчок другой письменный язык, могут иногда за­ходить очень далеко — так, например, турки заменили арабский шрифт латинским под влиянием культурных языков Европы. Иногда речь идет о более мелких, но тем не менее принципиальных усо­вершенствованиях: так, словенцы заменили старую графику, опе­рирующую буквенными сочетаниями, диакритической графикой; аналогичные изменения планируются и в польском языке, по-ви­димому, под влиянием языков, пользующихся диакритической графикой. В других случаях, напротив, наблюдается отход одного письменного языка от взаимодействующего с ним другого — так, возможно, что замена буквы *w* буквой *v* в современном чешском языке была вызвана стремлением к обособлению от немецкой гра­фики.

Таким образом, из нашего изложения видно, что письменный язык характеризуется не только весьма значительной степенью самостоятельности, но и своей собственной проблематикой.

Письменный язык — это весьма плодотворное понятие, разви­тие которого дает возможность представить в новом свете целый ряд общетеоретических языковедческих проблем.

VI Сравнительно-историческое и типологическое языкознание

*Л*. Мейе Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков\*

*Глава первая*

**МЕТОД**

**Что такое индоевропейские языки**

Языки хеттский, «тохарский», санскритский, древнеперсидский, греческий, латинский, ирландский, готский, литовский, древнеславянский, армянский представляют в своей грамматике и лексике явные сходства. Совпадения наблюдаются и в древнеев­рейском, арамейском, аккадском, арабском и эфиопском языках между собою, но не между ними и языками ранее упомянутыми. В наречиях кафров, обитателей бассейна Замбези и большей части бассейна Конго, равным образом имеется много общих черт, не наблюдаемых ни в первой, ни во второй из упомянутых групп. Эти сходства и различия приводят к установлению трех языковых се­мей: индоевропейской, семитской и банту. Аналогичные факты позволяют выделить и некоторые другие семьи. Задача сравнитель­ной грамматики какой-либо группы языков заключается в изуче­нии соответствий, представляемых этими языками.

\* *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков/Пере­вод с франц. М.—Л., 1938. С. 48-81. В текст перевода составителями были внесены незначительные изменения. — *Прим. сост.*

В отношении всех трех указанных случаев, а также многих дру­гих такое изучение вполне возможно. Наблюдение сходных черт языков санскритского, греческого и т.д. приводит к точным выводам. Иначе обстоит дело со всеми теми совпадениями, которые в других отношениях наблюдаются между разными народами. Так, например, несмотря на сходства, устанавливаемые между религи­ями индусов, иранцев, греков, германцев и т.д., не удалось пост­роить цельное сравнительное учение о религии этих народов. Об­щие условия жизни языков дают лингвисту такие возможности, каких нет у историков нравов и религий. Впрочем, не все группы языков представляют в отношении сравнительной грамматики оди­наковые возможности. Группы языков индоевропейских, семит­ских и банту — это три благоприятных случая, однако довольно различных между собою и не вполне одинаково пригодных для построения сравнительной грамматики.

Следует с самого же начала договориться о некоторых общих принципах, распространяющихся, правда, не только на индоев­ропейские языки. Это поможет нам в дальнейшем определить, что надо понимать под языками индоевропейскими.

Эти принципы являются общими. Все же прежде всего они от­носятся к индоевропейским языкам; они были установлены имен­но благодаря изучению этих языков и полностью проверены как с лингвистической, так и с исторической точки зрения лишь в от­ношении языков этой группы. Условия, в которых находится даже семитская, в общем сравнимая с индоевропейской, языковая груп­па, все же настолько отличны, что оказалось невозможным пост­роить сравнительную грамматику семитских языков столь же стро­гую и полную, как сравнительная грамматика языков индоевро­пейских.

**I. Принципы**

*1.* *Единичность языковых явлений*

Между понятиями и словами, взятыми в какой-либо момент развития того или другого языка, нет никакой необходимой связи: тому, кто не знает приводимых ниже слов, ничто не может пока­зать, что фр. *cheval,* нем. *pferd,* англ. *horse,* русск. *лошадь,* н.-гр. άλογο, н.-перс. *asp* обозначают одно и то же животное. В противопоставле­нии *лошадь* и *лошади* ничто само по себе не обозначает единства и множества; в противопоставлении фр. *cheval* «конь» и *jument* «ко­была» ничто не отмечает различия самца и самки. Даже для слов экспрессивных невозможно a priori предусмотреть форму: напри­мер, фр. *siffler* сильно отличается от нем. *pfeifen* или русск. *свистеть.* Отсюда следует, что текст, написанный на неизвестном языке, невозможно понять без перевода. Надписи Дария оказалось возможным прочесть только благодаря тому, что древнеперсидский язык, на котором они написаны, представляет лишь древнюю фор­му новоперсидского языка, что он очень мало отличается от языка Авесты, переводы которой дают ключ к пониманию текста, и, наконец, что он близко родственен санскриту. Наоборот, в остат­ках этрусского языка, за отсутствием поясняющих двуязычных над­писей, находят лишь кое-какие внешние особенности, и несмот­ря на многочисленность надписей и обширность текста, открыто­го на Аграмских свитках, этрусский язык остается в значительной мере непонятым.

Поэтому звуковая система, способы словоизменения, особые типы синтаксических сочетаний и лексика, характеризующие дан­ный язык, не могут быть воссозданы, если они видоизменились или исчезли. Средства выражения связаны с понятиями *фактичес­ки,* а не *от природы* или *по необходимости,* поэтому ничто не мо­жет воссоздать их, если их больше нет. Они существуют лишь од­нажды, они *единичны:* слово, грамматическая форма, оборот речи, сколько бы их ни повторяли, в сущности всегда одни и те же.

Из этого следует, что два языка, представляющие в своих грам­матических формах, в своем синтаксисе и лексике целый ряд оп­ределенных соответствий, являются в действительности одним язы­ком. Сходство языков итальянского и испанского происходит от­того, что они — две современные формы латинского языка; французский язык, хотя и менее на них похожий, все-таки не что иное, как латинский язык, только еще более изменившийся. Та­ким образом, расхождения могут быть более или менее значитель­ны, но совокупность точных совпадений в грамматическом строе двух языков всегда предполагает, что эти языки представляют фор­мы, принятые одним и тем же языком, на котором говорили в прежнее время.

Случается, что два языка, независимо один от другого, одно и то же понятие выражают одинаковым словом: так, по-английски и по-новоперсидски то же сочетание артикуляций *bad* означает «дурной», и тем не менее персидское слово ничего не имеет обще­го с английским: это чистая «игра природы». Совокупное рассмот­рение английской лексики и новоперсидской лексики показыва­ет, что из этого факта никаких выводов сделать нельзя. Сходства, ограничивающиеся общей языковой структурой, как это, напри­мер, наблюдается в отношении турецкого и финского языков — языков несомненно родственных — или в отношении китайского и дагомейского языков, у которых нет шансов быть в родстве, — ничего не доказывают. Но ничего не доказывают и изолированные мелкие факты.

Отсюда вытекает определение родства двух языков: *два языка называются родственными, когда они оба являются результатом двух различных эволюции одного и того же языка, бывшего в употреблении раньше.* Совокупность родственных языков составляет так называе­мую *языковую семью.* Так, языки французский и новоперсидский родственны, потому что оба являются формами индоевропейско­го языка; они входят в состав так называемой индоевропейской семьи языков. В этом смысле понятие родства языков абсолютно и не допускает различных степеней.

Но внутри одной и той же семьи язык, принявший форму, отличную от древней формы, может в свою очередь разделиться на несколько языков: так, в результате распадения Римской импе­рии латинский язык Рима, представляющий одну из форм индо­европейского, разделился на итальянский, испанский, прован­сальский, французский, румынский и т.д. Таким образом созда­лась романская группа языков, которая составляет часть индоевропейской семьи языков и члены которой теснее родствен­ны между собою, чем с прочими индоевропейскими языками. Это значит, что языки романской группы, представляющие все изме­ненный латинский язык, начали расходиться в то время, когда иные индоевропейские группы уже обособились друг от друга. Это второе определение родства есть только следствие первого.

Наконец, когда язык развивается на сплошной территории, можно заметить, что те же самые новшества и те же самые черты старины наблюдаются независимо друг от друга в более или менее обширных областях. Так возникают *диалекты.* Говоры областей, соседних друг к другу, развившиеся в одинаковых условиях, пред­ставляют и общие особенности. <...> Например, особенные черты сходства, наблюдаемые между французским и провансальским язы­ками, объясняются не тем, будто в Галлии эпохи Римской импе­рии в какой-либо момент говорили на языке, существенно отлич­ном от народной латыни, представляемой другими романскими языками, но тем, что как на французской территории, так и на провансальской и новшества и черты старины были, начиная с римских времен, отчасти сходны, если не тождественны. На прак­тике не всегда возможно отличить эти диалектальные черты сход­ства от тех, которые объясняются собственно родством языков, т.е. единством отправной точки.

До сих пор удавалось построить сравнительную грамматику лишь в тех случаях, когда в отправной точке имеется некий общий язык, как, например, латинский в отношении романских языков. Иначе говоря, за неимением возможности предположить существование «общего галло-романского» или «общего французского» языка, мы не в состоянии построить сравнительную теорию галло-романских говоров или французских говоров: у этих говоров определенные связи лишь с латинским языком.

Сравнительная грамматика есть система связей между исход­ным языком и развившимися из него языками.

Построить сравнительную грамматику — это значит сопоста­вить, описав их со всею возможною точностью, последовательные этапы развития какого-либо языка, дифференциация которого привела с течением времени к образованию различных форм речи.

Сравнительная грамматика возможна лишь постольку, посколь­ку последовательные и различающиеся состояния языка, рассмат­риваемые нами, могут быть сведены к определенным соотноше­ниям. До настоящего времени это вполне удалось только в отноше­нии индоевропейских языков.

*2*. *Лингвистическая непрерывность*

<...>Язык, будучи, с одной стороны, принадлежностью от­дельных лиц, с другой стороны — навязывается им; и благодаря этому он является реальностью не только физиологической и пси­хической, но и прежде всего *социальной.*

Язык существует лишь постольку, поскольку есть *общество,* и человеческие общества не могли бы существовать без языка.

Система ассоциаций, каковой является язык, не передается непосредственно от одного лица к другому: язык, как когда-то было сказано, не вещь, έργον, а деятельность, ένέργεια. Каждый ребенок, научаясь говорить, должен сам создать себе систему ас­социаций между движениями органов речи и ощущениями, по­добную той системе, которой обладают окружающие. Он не полу­чает от них готовых приемов артикуляции: он научается артикули­ровать, как они, ощупью и после многолетних усилий. Он не получает готовыми грамматических парадигм: он создает каждую форму по образцу тех, которые употребляют другие вокруг него; постоянно слыша, как говорят *мы едим — вы едите, мы стоим — вы стоите,* ребенок научается, когда нужно, говорить *вы сидите,* если он уже слышал выражение *мы сидим.* И так для всех форм. Но несмотря на напряженные и постоянные усилия, которые ребе­нок употребляет, чтобы приспособиться к воспроизведению того, что он слышит, ему, при восстановлении всей системы ассоциа­ций, не удается вполне точно воспроизвести язык членов той груп­пы, к которой он принадлежит: некоторые детали произношения не улавливаются его слухом, некоторые особенности словоизме­нения ускользают от его внимания, и вообще системы, которые он установит себе, не совпадают полностью с системами взрос­лых: каждый раз как ребенок научается говорить, в язык вводятся новшества.

Если эти новшества являются индивидуальными случайностя­ми, они исчезают вместе со смертью того лица, у которого они возникли; особенности говора, являющиеся результатом таких новшеств, вызывают насмешки, а не подражание. Но есть новше­ства, опирающиеся на общие принципы и имеющие тенденцию проявляться у всех детей, которые учатся говорить в одной и той же местности в течение определенного промежутка времени.

Начиная с определенного момента, у всех детей, привыкаю­щих говорить в какой-то части территории, может обнаружиться некая артикуляция, отличная от артикуляции взрослых и всецело ее вытесняющая. Так, например, в северной Франции, начиная с некоторого момента, различного для каждой местности, дети ока­зались неспособными произносить смягченное *l* и стали его заме­нять звуком *у,* который его ныне заменяет во французских говорах. Такого рода новшество является абсолютно регулярным: смягчен­ное *l* исчезло на всем севере Франции и заменилось на *у.*

Подобным же образом, начиная с определенного времени, дети могут обнаружить некое новшество в области словоизменения. Так, двойственное число сохранялось в Аттике до конца V в., но при­мерно с 410 г. до н.э. в надписях замечается небрежное его употреб­ление; и действительно, авторы, родившиеся между 440 и 425 гг. и писавшие, как Платон и Ксенофонт, на аттическом диалекте, употребляют еще двойственное число, но не постоянно; затем оно перестает употребляться в именительном-винительном падеже, между тем как под влиянием δυοϊν «двух» сохраняется в родитель­ном падеже: Демосфен (383—322) говорит δύ' όβολοί «два обола», но δυοϊν όβολοϊν «двух оболов». Наконец оно исчезает окончатель­но даже и в родительном падеже и начиная с 329 г. не встречается более в аттических надписях. Здесь опять же регулярность полная: категория двойственного числа исчезла в греческом языке, и про­тивопоставление в числе осталось только между единственным и множественным. <...>

Но во всех случаях налицо *непрерывность:* изменения, совер­шающиеся сами собою и не являющиеся результатом подражания чужеземному говору, происходят не от желания новизны; наобо­рот, они происходят, несмотря на усилия ребенка точно воспро­изводить язык взрослых, и притом никогда не бывают ни настоль­ко велики, ни настолько многочисленны, чтобы поколения, жи­вущие одновременно, теряли ощущение того, что они говорят на одном языке.

С другой стороны, употребление языка необходимо приводит к его *изменению.* С каждым разом как употребляется какое-либо вы­ражение, оно становится менее странным для слушателя, а для произносящего еще более легким для нового воспроизведения. Таков нормальный результат привычки. Выразительное значение слов вследствие употребления ослабляется, их сила уменьшается, и они стремятся образовывать группы. Чтобы поддержать выразительную силу, в которой чувствуется надобность, приходится подновлять выражения; именно поэтому имеют тенденцию выходить из упо­требления слова, выражающие превосходную степень, как *очень, весьма, чрезвычайно* и т.п., по мере того как их первоначальная сила уменьшается. Слова, первоначально самостоятельные, путем употребления низводятся на степень грамматических элементов: в ла­тинском выражении *habeo aliquid factum* «я имею что-либо сделан­ным» *habeo* имело еще полное свое значение; но *j'ai* во французс­ком выражении *j 'ai fait* «я сделал», неоднократно повторяясь, постепенно утратило свою самостоятельность; в настоящее время три первоначально самостоятельных слова (*ego, habeo* и *factum*),которые дали в результате фр. *j'ai fait,* составляют лишь одну грам­матическую форму, равносильную латинскому *feci* и не имеющую больше выразительной силы. Слова, которые таким путем стано­вятся простыми грамматическими элементами, привесками пред­ложения, произносятся особенным образом, часто укорачиваются и в своем фонетическом развитии отличаются от главных слов; так, латинское указательное местоимение *illa(m)* в сочетании со следующим именем дает французский артикль *la,* тогда как разви­тие — совершенно иное — самостоятельной формы того же слова привело к французскому личному местоимению *elle* «она», кото­рое в свою очередь сделалось грамматическим элементом.

Таков тип *спонтанного развития* языка. Оно — результат есте­ственной преемственности поколений, использования языка и тождества стремлений и склонностей, наблюдаемого у лиц данно­го ряда поколений в данный период времени. Хотя изменения это­го типа происходят независимо в каждом из говоров данной обла­сти, следует ожидать, что они произойдут в различные, но близ­кие моменты времени с незначительными уклонениями во всех местах, занятых в общем однородным населением, говорящим на том же языке и живущим в одинаковых условиях. Так, смягчен­ное *l* превратилось в *у* во всей северной Франции; двойственное число исчезло еще в доисторический период в эолийском диалек­те, в ионийском диалекте Малой Азии и в дорийском диалекте Крита, а в IV в. до н.э. в аттическом, т.е. в говорах континентальной Греции. Условия таких изменений, — часто неизвестные, почти всегда не поддающиеся точному определению, если только они не свойственны какой-либо одной местности, — действуют на об­ширных территориях.

Наряду с этими изменениями, проявляющимися особым об­разом в каждом говоре, даже когда они и выходят за его пределы, существуют другие изменения, весьма различные по внешнему виду, но сводящиеся в основе к одному и тому же явлению — к *заимствованию* из других языков. Действительно, лишь только члены одной социальной группы вступают в торговые, полити­ческие, религиозные или интеллектуальные сношения с членами других групп и лишь только некоторые лица приобретают знание чужого языка, тотчас является возможность введения в свой язык новых элементов.

Если данный язык существенно отличается от местного гово­ра, то из него возможно заимствовать только отдельные слова; так, греческий язык заимствовал от финикийцев несколько тор­говых терминов, как название грубой оберточной материи — σάκκος, золота — χρυσός, одного вида одежды — χιτών и т.д.; точно так же французский язык заимствовал английские слова. Как бы велико ни было число таких заимствований, они нисколько не изменяют структуры языка.

Иной результат получается, если дело идет о языке настолько близком к местному говору, что основное единство того и другого легко сознается. Так как только парижский говор употребляется в сношениях между различными группами населения, говорящего на французском языке, то все другие французские говоры заим­ствуют все более и более парижских элементов не только в области лексики, но даже в области произношения и словоизменения. Так, например, крестьянин, узнав, что слова *toi, moi, roi,* произносимые на его диалекте *twé, mwé, rwé,* в правильном французском языке (в сущности парижском) звучат как *twa, mwa, rwa,* даже не слышавши никогда, как произносится слово *loi,* легко может вместо формы своего говора *lwé* употребить форму *lwa.* Такого рода подстановки одной формы вместо другой приводят к результату, сходному с результатом изменений нормального типа, и, раз они произош­ли, часто бывает невозможно различить, с какого рода изменени­ями мы имеем дело. Но от этого не уменьшается различие между ними, ибо во втором случае дело идет о заимствовании из другого говора. Все говоры северной половины Франции испытали весьма сильное влияние общефранцузского языка, принадлежащего к парижскому типу речи; ни один из них не может рассматриваться как представляющий самостоятельное развитие латинского типа, на котором покоятся галло-романские говоры. От древней Греции сохранилось много надписей на диалектах; но почти во всех диа-лектальны лишь некоторые черты, и начиная с V в. до н.э. во всех них сквозит образец сперва аттической речи, затем так называе­мого *койнэ*; только самые древние надписи представляют местные говоры в их чистом виде. Где бы это ни было, повсюду не легко найти писанный текст, который бы представлял местный говор во всей его чистоте, безо всякого влияния со стороны какого-либо общего языка.

И та и другая разновидность заимствования не есть явление редкое и случайное: это явление частое или, лучше сказать, по­стоянное, и новейшие исследования все более и более выясняют его важное значение. Ибо каждая из крупных языковых групп (гер­манская, славянская, эллинская и т.д.) является результатом рас­пространения какого-либо общего языка на более или менее зна­чительную массу населения. У нас нет возможности определить, какая часть фактов, изучаемых нами и относящихся к периоду доисторическому, падает на долю заимствования. Но мы никогда не вправе предполагать, что какой-нибудь говор являлся результа­том одной только передачи языка из поколения к поколению и изменений, происходящих вследствие употребления языка и его передачи. Всюду мы видим, как преобладающие говоры являются образцом для подражания и как люди стараются воспроизводить речь тех, кто, живя в другой местности или занимая более высо­кое социальное положение, признаются *говорящими лучше.* Если бы не существовало этой заботы воспроизводить господствующие говоры, то язык дифференцировался бы до бесконечности и не был бы в состоянии служить средством общения обширных групп людей.

Все существующие говоры происходят в действительности из ряда последовательных сближений и расхождений.

Наконец, третий тип изменений происходит тогда, когда на­селение *меняет язык.*

Когда население перенимает язык победителей, иноземных колонистов или язык более цивилизованных людей, пользующий­ся особым престижем, взрослым представителям этого населения не удается в точности усвоить новый язык. Дети, начинающие го­ворить, когда новый язык уже распространился, успевают лучше, ибо учатся ему как своему родному и стремятся воспроизводить не ломаную речь своих взрослых сородичей, но правильный говор иноземцев, если только имеют возможность его слышать; и это им зачастую в достаточной мере удается. Так, ребенок, рожденный во Франции от француза и иностранки и воспитанный среди фран­цузских детей, почти совсем не воспроизводит недостатки говора своей матери. Тем не менее кое-какие особенности речи сохраня­ются. Более того, если население перенимает язык, глубоко от­личный от своего прежнего языка, оно может вовсе не усвоить некоторые его характерные черты. Негры-рабы, которые стали го­ворить по-французски или по-испански, не приобрели ни точно­го произношения, ни правильного употребления грамматических форм как вследствие слишком большого отличия их родного язы­ка, так, в особенности, еще и потому, что, не видя избавления от своего безнадежно низкого социального положения, они не чув­ствовали надобности говорить так, как их господа: креольские на­речия сохранили черты африканских языков. Впрочем, в много­численных сменах языков, которые происходили в исторические времена и происходят еще и теперь, многие народы выказали спо­собность достаточно точно усваивать язык друг у друга. Ничто не заставляет предполагать, что особенности, характеризующие ро­манские языки, ведут свое начало в большей своей части от само­го момента проникновения латинского языка в область их нынеш­него распространения. Не следует преувеличивать значения этого типа изменений. Однако, по-видимому, этим можно объяснить некоторые значительные перемены в системе артикуляции, по­добные германскому или армянскому передвижению согласных; не случайно армянская система смычных тождественна системе смычных в грузинском языке, языке не индоевропейском. В тос­канском диалекте, на территории былого распространения этрус­ского языка, наблюдается особое произношение смычных, восхо­дящее к произношению этрусского языка, в котором, насколько об это можно судить по древней передаче, были глухие придыха­тельные, но не было звонких смычных.

Кроме того, как только замена одного языка другим соверши­лась, мы имеем уже дело с нормальными изменениями непрерыв­ного развития. Всё же особые свойства населения, принявшего новый язык, вызывают сравнительно быстрые и многочисленные изменения, могущие, впрочем, проявиться и много времени спу­стя после перемены языка.

Чтобы оценить важность факта смены языков, достаточно от­метить, что во всех областях с более или менее древней историей язык сменялся в историческую эпоху по меньшей мере раз, а то и два и три раза. Так, на территорию современной Франции галльс­кий язык проник лишь в первой половине последнего тысячеле­тия до н.э.; затем в течение первого тысячелетия н. э. он был сме­нен латинским языком. С другой стороны, языки изменяются тем в меньшей степени, чем устойчивее говорящее на них население: чрезвычайное единство полинезийских языков объясняется устойчивостью населения Полинезии; в одной из областей распростра­нения индоевропейских языков, в Литве, где население, по-види­мому, почти вовсе не сменялось в течение весьма долгого време­ни, язык отличается исключительной в некоторых отношениях архаичностью. Наоборот, язык иранцев, чьи завоевания охватили обширную территорию, изменился быстро и относительно рано: иранские говоры с самого начала христианской эры достигли уров­ня, который можно сравнивать с уровнем, достигнутым романс­кими языками лишь столетий десять спустя.

У каждого из индоевропейских языков свой собственный тип: произношение и морфология каждого из них характеризуются сво­ими особыми чертами; едва ли можно предположить иные причи­ны этого своеобразия, к тому же довольно глубокого, кроме тех особенностей, которыми характеризовались языки прежнего на­селения, сменившиеся индоевропейским. Это влияние языков, смененных языком индоевропейским, называется «действием суб­страта». <...>

Кроме того, не следует упускать из виду, и в большей степени, чем это делали раньше, такие периоды, когда одно и то же насе­ление пользуется одновременно двумя языками и когда, следова­тельно, в сознании одной и той же группы говорящих совмещают­ся два средства выражения, относящиеся к двум разным языкам: это так называемые периоды «двуязычия». Люди, располагающие двумя различными средствами выражения сразу, порою вводят в один из двух языков, на котором они говорят, приемы, принадле­жащие другому языку. Например, в латинском языке той части Галлии, где господствовали франки, утвердился по образцу гер­манских языков прием выражения вопроса, состоящий в поста­новке подлежащего после глагола; и доныне мы имеем по-фран­цузски вопросительное: *êtes-vous venus?* «пришли ли вы?», проти­вопоставленное утвердительному: *vous êtes venus* «вы пришли». Таким образом, этот прием французского языка есть собственно прием германских языков, осуществляемый с помощью романских эле­ментов.

*3. О закономерности развития языков*

Изучение развития языков возможно лишь постольку, поскольку факты сохранения старого и введения нового представляются за­кономерными.

Есть два вида сохранения старого и введения нового. Один из них касается звучащей материи, служащей для языкового выраже­ния, со стороны звучания и артикуляции: это — область фонетики. Другой связан с выражаемым смыслом: это — область морфологии (грамматики) и лексики (словаря).

Правила, по которым сохраняются старые и вводятся новые моменты произношения, называются **«фонетическими законами».** Если какая-нибудь артикуляция сохраняется в одном слове, она сохраняется также во всех словах того же языка при одинаковых условиях. Так, закрытое *и* «народной латыни» сохраняется в италь­янских словах *пиdо* «голый», *duro* «твердый», *fusto* «ствол» и во всех подобных словах; во французских же словах *пи, dur, fût* и под. оно переходит во фр. *и* (ü). В тот момент, когда нововведение появляет­ся, оно иногда обнаруживается сперва только в некоторых словах, но, поскольку оно касается способа артикуляции, а не того или иного слова, оно вскоре распространяется на все случаи, и для тех больших периодов, которые изучает сравнительная грамматика, неприметны эти колебания первых поколений при введении нов­шества. Было время, когда древние индоевропейские *p, t, k* превра­тились в германском в *ph, th, kh,* т.е. в *р, t, k,* отделенные от последу­ющей гласной придыханием; в таких смычных с последующим при­дыханием смык бывает слабый; он был устранен, и в результате в германских языках появились *f, þ, х (х* обозначает здесь гуттураль­ный спирант, т.е. фонему того же качества, как современное немецкое глухое *ch*); следовательно, существовал ряд германских поколений, для которых *р, t, k* были непроизносимы, и действи­тельно, индоевропейские *р, t, k,* начальные или между гласными, в готском языке никогда не отражаются через *р, t, k,* а всегда — через *f*, *þ, h* (или соответственно через звонкие , , , при опре­деленных условиях). Таков принцип *постоянства фонетических за­конов,* что точнее было бы назвать *регулярностью* фонетических со­ответствий.

Эта регулярность часто полная.[сущ-ет для родственных языков] Если латинскому *octō* соответ­ствует французское *huit,* итальянское *otto* и испанское *ocho* «во­семь», в тех же языках старому *nocte(m)* соответствует *nuit, notte* и *noche* «ночь». Если лат. *factum* соответствует фр. *fait*, ит. *fatto* и исп. *hecho* «сделанный», таким же образом соответственно лат. *lacte* мы имеем фр. *lait,* ит. *latte,* исп. *leche* «молоко». Кто знает, что ит. *fíglia,* фр. *fílle* (из лат. *fīlia)* соответствует исп. *hija* «дочь», догадывается, что ит. *foglia,* фр. *feuille* (из лат. *folia*) соответствует исп. *hoja* «лист»; ибо судьба лат. *ī* здесь та же, что в ит. *filo,* фр. *fil,* исп. *hilo* от *fīlum* «нить», а судьба ŏ та же, что в ит. *voglia,* фр. *veuille* из древнего *\*voliat.*

Если бы не привходило никаких других факторов, можно было бы, зная фонетические соответствия, выводить из данного состо­яния языка его состояние в последующий момент, кроме, конечно, изменений грамматических и лексических. Но в действительно­сти это не так. Количество всех особых факторов, которые, не нарушая действия «фонетических законов», затемняют их по­стоянство, безгранично; необходимо отметить здесь важнейшие из них.

Прежде всего, формулы фонетических соответствий приложимы, как явствует из их определения, только к артикуляциям, точ­но сравнимым между собою. Слова, имеющие особое произноше­ние, поэтому отчасти не подчиняются их действию. Так, детские слова вроде *папа, мама* и т.п. занимают особое положение. Термины вежливости и обращения подвергаются таким сокращениям, что становятся неузнаваемы: фр. *msyö* не представляет регулярного фо­нетического изменения сочетания *топ sieur,* то же относится ко всем словам, на которые достаточно намекнуть, чтобы они были поняты, и которые поэтому нет надобности артикулировать со всей отчетливостью: др.-в.-нем. *hiutu* (нем. *heute* «сегодня») не есть нор­мальное отражение сочетания *hiu tagu* «этот день». Как общее пра­вило, тот же звуковой элемент более краток в длинном слове, нежели в коротком (а во фр. *pâtisserie* «пирожное» короче, чем в *pâté* «пирог»), более краток во второстепенном слове предложе­ния, нежели в главном: поэтому и изменения их могут быть раз­личны. Некоторые артикуляции, как то: артикуляция *r*, склонны предвосхищаться (например, во фр. *trésor* из лат. *thesaurum* «сокро­вище») или переставляться (например, в н.-гр. πρικός из πικρός,«горький»), причем не всегда возможно свести такие изменения к общим формулам, так как они могут зависеть от особой структуры или от специальных условий употребления тех слов, в которых они встречаются. Другие же артикуляции длятся слишком долгое время; так, нёбная занавеска, опущенная при произнесении *п* в нем. *genug* «довольно», остается в том же положении, в результате чего это слово диалектально звучит *genung,* и т.п. Бывают также действия на расстоянии: лат. *с* перед *е* и *i* дает в совр. французском языке **s** (пишется *с*), например в *сер* «лоза», *cil* «ресница», *сепdrе* «зола», *cire* «воск», а перед *а* дает š (пишется *ch),* например в *char* «повозка», *cheval* «лошадь», *choc* «толчок», *chantier* «мастерская»; но начальное *с* лат. *circāre* ассимилировалось внутреннему *с* перед *а*, и по-французски получилось *chercher* «искать». Фонетическое новшество является обычно результатом совместного действия нескольких различных и самостоятельных факторов; сочетание этих факторов иногда настолько сложно, что встречается только в од­ном слове.

Далее, изменения могут происходить от ассоциации форм; так, в аттическом, где интервокальное σ исчезает, такие формы, как гр. έτίμησα «я почтил», έλυσα «я развязал» и под., не объясняются непосредственно; но, поскольку такие формы, как έδειξα «я ука­зал», έτριψα «я растер», έσχισσα (έσχισα) «я разорвал», вполне допустимы, окончание -σα могло сохраниться в формах έτίμσα, έλυσα и под. Это называется *изменениями по аналогии.* Таким обра­зом, на сцену выступает смысл и нарушает регулярность фонети­ческого отражения: морфология и лексика взаимодействуют с фо­нетикой.

Наконец, некоторые отклонения вызываются заимствования­ми. Так, в Риме старое *ои* переходит в *ū*, а старое *\*dh* после *и* переходит в *b* перед гласной; литовскому *raũdas,* гот. *rauÞs,* др.-ирл. *rūad* «красный» и т.д. должно было бы, следовательно, соответ­ствовать *\*rūbus;* но в других латинских говорах *ои* переходит в *ō*, например в Пренесте. Поэтому *rōbus,* во всяком случае в отноше­нии своего *ō*, не есть римское слово. В некоторых латинских гово­рах *\*dh* между гласными дает *f*; отсюда *rufus.* Ожидаемое римское слово *\*rūbus* непосредственно не засвидетельствовано, но оно от­ражено в производных *rūbīgō* (наряду с *rōbīgō*) «ржавчина» и *rūbidus* <<(темно)красный». Когда исторические условия вызывают много таких заимствований, фонетика языка становится в конце концов непоследовательной; так дело обстоит с латинским языком, вклю­чающим много сабинских элементов, а из современных языков — с английским, в образовании которого участвовали разные диа­лекты, в том числе и древнесеверный (древнескандинавский), а также значительные элементы романской лексики. Другим источ­ником расхождений являются в историческую эпоху заимствова­ния из письменного языка; так, французский язык множество слов усвоил из латинской письменности. Например, лат. *fragilem* «хрупкий» дало во французском *frêle,* а впоследствии из латинс­кой письменности заимствовано было то же слово в виде фр. *fragile.* И трактовка этих заимствований различна, смотря по эпохе: так, начальная согласная слова *caritas,* заимствованного весьма рано французским языком, трактована в *charité* «милосердие» так же, как в традиционном слове *cher* «дорогой», тогда как та же соглас­ная слова *canticum,* заимствованного позже, передана во фр. *cantique* «песнопение» не так, как в традиционном французском *chanter* «петь» из лат. *cantare.* Эта последняя причина расхождения, суще­ственная для Нового времени, не действует в отношении доисто­рических периодов, рассматриваемых сравнительной граммати­кой.

Чем более углубляем мы свое исследование, тем более мы убеж­даемся, что *почти у каждого слова своя собственная история.* Но это все же не мешает вскрывать и определять те изменения, которые, как, например, передвижение согласных в германском или армянском, охватывают артикуляционную систему в целом.

Ничто из всего этого не противоречит принципу постоянства «фонетических законов», т.е. изменений, затрагивающих артику­ляцию безотносительно к смыслу: этот принцип сводится только к тому, что, когда при усвоении языка младшими поколениями ка­кой-либо артикуляционный прием сохраняется или видоизменя­ется, это его сохранение или видоизменение имеет место во всех тех случаях, где данная артикуляция применяется одинаковым образом, а не в одном каком-либо слове. И опыт показывает, что дело происходит именно так.

Действие «закона» может, правда, уничтожаться через некото­рый промежуток времени в результате изменений, затрагивающих отдельные слова, воздействием аналогии или заимствованиями, — но «закон» из-за этого вовсе не перестает быть реальностью, ибо его реальность имеет преходящий характер и сводится к тому, ка­ким образом говорящие в определенный период времени стали артикулировать. История языка рассматривает не результаты, мо­гущие всегда исчезнуть, а события, имевшие место в определен­ный момент. Но «закон» может ускользнуть от внимания лингвис­та, а это значит, что есть неустановленные фонетические измене­ния, которые навсегда останутся таковыми даже в хорошо изученных языках, если только, как это обычно бывает, у нас нет непрерывного ряда документов.

Редко, однако, удается наблюдать действие, вызвавшее те со­ответствия, которые формулируются в виде «фонетических зако­нов». Мы можем установить, что французское *е* соответствует ла­тинскому ударному *a* (*páter: рérе* «отец», *amátum*: *aimé* «любимый» и т.п.), что начальное греческое φ соответствует санскритскому *bh,* германскому или армянскому *b* (гр. φέρω «несу», скр. *bhárāmi,* гот. *baíra,* арм. *berem),* и ничего больше. То, что обычно называется «фонетическим законом», это, следовательно, только *формула ре­гулярного соответствия* либо между двумя последовательными фор­мами, либо между двумя диалектами одного и того же языка. И это соответствие по большей части есть результат не единичного дей­ствия, но множественных и сложных действий, на осуществление которых потребовалось более или менее продолжительное время. Поэтому зачастую оказывается невозможным различить, что про­изошло от спонтанных изменений и что произошло от заимство­вания из какого-либо общего языка, взятого за образец.

То, что справедливо по отношению к фонетике, справедливо также и по отношению к морфологии. Подобно тому как артику­ляционные движения должны быть снова комбинированы всякий раз, как произносится слово, точно так же и все грамматические формы, все синтаксические сочетания бессознательно создаются снова для каждой произносимой фразы соответственно навыкам, установившимся во время усвоения языка. Когда эти привычки изменяются, все формы, существующие только благодаря суще­ствованию общего типа, по необходимости тоже изменяются. Ког­да, например, по-французски под влиянием *tu aimes* «ты любишь», *il aime(t)* «он любит» стали говорить в 1-м лице *j'aime «я* люблю» вместо прежнего *j 'aim* (отражающего лат. *атō*), все глаголы того же спряжения получили также *-е* в 1-м лице: распространение *-е* на первое лицо является *морфологическим законом* и притом столь же строгим, как любой «фонетический закон». Морфологические нововведения сравнительно с фонетическими изменениями не ока­зываются ни более капризными, ни менее регулярными; и фор­мулы, которыми мы располагаем, выражают только *соответствия,* а не самые действия, вызывающие эти нововведения.

Однако между «фонетическими законами» и «морфологичес­кими законами» существует различие. Когда какая-либо артикуля­ция изменилась, новая артикуляция заменяет старую во всех слу­чаях, и новые поколения уже не в состоянии произносить по-старому; например в области Иль-де-Франса после совершившегося перехода смягченного *l* в *у* уже не осталось ни одного смягченно­го *l*; равным образом ни одно *у* (согласное *i*) не сохранилось, после того как согласное *i* латинского языка перешло в *dž,* изме­нившееся затем в *ž* (пишется *j):* вместо латинских *iacet* «лежит», *iüs* «похлебка» и т.п. в современном французском языке может быть только *gît* «почиет», *jus* «сок». Наоборот, когда изменяется какой-либо морфологический тип, некоторые формы того же типа, ут­вердившиеся в памяти, могут продолжать свое существование; так, в индоевропейском языке существовал тип настоящего времени глагола, характеризуемый присоединением окончаний непосред­ственно к корню и чередованием огласовки корня — с наличием *е* в единственном числе и с отсутствием *е* во множественном числе; например, гр. εĩ-μι «иду, пойду» множ. ч. *i*-μεν «идем, пойдем» и скр. *é-mi* «иду» (древнее *\*ái-mi),* множ.ч. *i-máh* «идем»; этот тип, прежде игравший важную роль, исчез из употребления во всех индоевропейских языках, но ряд форм глагола «быть» сохранил его до настоящего времени, так как частое употребление укрепило их в памяти; поэтому латинский язык еще имеет по древнему типу *es-t: s-unt,* откуда фр. (*il*) *est: (ils) sont;* точно так же немецкий язык имеет *(er) is-t: (sie) s-ind.* Тип исчез задолго до первого зак­репления на письме латинского или немецкого языка, но одна из его форм живет.

Одна из наиболее очевидных заслуг сравнительной граммати­ки состоит именно в том, что аномальные формы исторической эпохи она разъясняет как пережиток ранее существовавшей фор­мы. Тип *est: sunt,* являющийся в латинском языке исключением, оказывается остатком типа, бывшего нормальным в индоевропей­ском. Благодаря сравнительной грамматике мы различаем в разви­тии одного и того же языка последовательную смену норм.

Доказательство, наилучшее доказательство принадлежности языка к данной семье языков состоит в показе того, что язык этот сохраняет, в качестве аномалий, формы, бывшие нормальными в эпоху первоначальной общности. Аномалии, не разъясняемые ни одним из законов того языка, в котором они наблюдаются, пред­полагают предшествующий этап развития, когда они были нор­мальны. Необъяснимые внутри латинского языка такие формы 3-го лица, как *est* «есть», *ēst* «ест», *fert* «несет», разъясняются на почве индоевропейского и дают основание предположить, что латинс­кий язык является одной из форм развития индоевропейского языка. Построение сравнительной грамматики индоевропейских языков оказалось возможным именно потому, что все эти языки изобилу­ют аномалиями. Наоборот, языки с вполне регулярной морфоло­гией, как, например, тюркские, плохо поддаются сравниванию, и поэтому нелегко установить, с какими языками находятся в род­стве тюркские языки. <...>

Вообще возможные изменения определяются особой системой каждого данного языка и анатомическими, физиологическими и психическими условиями человеческой речи. Когда одна и та же совокупность причин начинает вызывать изменения, она приво­дит либо к тождественным, либо к сходным результатам у всех индивидов одного поколения, говорящих на одном языке; члены социальной группы обнаруживают тенденцию, независимо друг от друга, сохранять одни и те же черты прежнего состояния языка и вводить одни и те же новшества.

II. Приложение общих принципов к определению индоевропейских языков

*1.* *Определение понятия «индоевропейские языки»*

Некоторые языки, которые начинают появляться в истории около 2000 г. до н.э. на пространстве от Индостана на востоке до берегов Атлантического океана на западе и от Скандинавии на севере до Средиземного моря на юге, имеют много общих черт, заставляющих признать их различными формами одного и того же наречия, существовавшего раньше. Из этих языков до настоящего времени представлены, хотя бы одним своим диалектом, следую­щие: индо-иранские, балтийские, славянские, албанский, армян­ский, греческий, германские, кельтские, италийские (латинский). Это неведомое наречие условно называют «индоевропейским» язы­ком (немецкие ученые называют его «индогерманским»). *К числу индоевропейских языков мы сообразно с этим относим всякий язык, который в какой бы то ни было момент, в каком бы то ни было месте, на какой бы то ни было ступени изменения представляет собою фор­му указанного наречия и который, таким образом, продолжает его в непрерывной преемственности.*

Это определение — чисто историческое: оно не предполагает никакой характеристики, общей всем этим языкам; оно только устанавливает тот факт, что в прошлом был такой момент, когда эти языки составляли один язык. Нет, следовательно, ни одной черты, по которой бы всегда можно было определить язык как индоевропейский. Например, в индоевропейском — одушевлен­ный род противопоставлялся неодушевленному (среднему), а внут­ри одушевленного проводилось часто противопоставление мужс­кого и женского; но некоторые языки, как, например, романс­кие, литовский и латышский, утратили различение одушевленного и неодушевленного; в других же, как, например, в армянском и новоперсидском, вовсе отсутствует различение родов.

Чтобы установить принадлежность данного языка к числу ин­доевропейских, необходимо и достаточно, во-первых, обнаружить в нем некоторое количество особенностей, свойственных индоев­ропейскому, таких особенностей, которые были бы необъясни­мы, если бы данный язык не был формою индоевропейского язы­ка, и, во-вторых, объяснить, каким образом в основном, если не в деталях, строй рассматриваемого языка соотносится с тем стро­ем, который был у индоевропейского языка.

Доказательны совпадения отдельных грамматических форм; наоборот, совпадения в лексике почти вовсе не имеют доказа­тельной силы. Действительно, из чужого, совершенно отличного языка не бывает заимствований грамматической формы или от­дельного произношения; здесь возможно заимствование только совокупности морфологической или артикуляционной системы, а это означает перемену языка; но часто заимствуется отдельное слово или целая группа слов, относящихся к определенному ряду вещей, особенно слов технических, в самом широком смысле этого термина; заимствования слов происходят независимо одно от дру­гого и иногда могут совершаться в неограниченном количестве. Из того, что в финском языке много индоевропейских слов, нельзя выводить, будто он принадлежит к индоевропейским языкам, так как эти слова заимствованы из индо-иранских, балтийских, гер­манских или славянских языков; из того, что в новоперсидском языке масса семитских слов, нельзя выводить, будто он не индо­европейский язык, так как все эти слова заимствованы из араб­ского. С другой стороны, как бы ни был отличен от индоевропей­ского внешний облик языка, отсюда не следует, что этот язык не индоевропейский: с течением времени у индоевропейских язы­ков оказывается все менее и менее общих черт, однако, покуда они существуют и как бы они ни преобразовывались, они не мо­гут утратить своего качества языков индоевропейских, ибо это их качество есть только отражение исторического факта.

Общее сходство морфологической структуры почти ничего не доказывает, ибо возможные языковые типы не отличаются разно­образием.

Решающую доказательную силу имеют отдельные подробнос­ти, исключающие возможность случайного совпадения. Нет разум­ного внутреннего основания, чтобы падеж субъекта характеризо­вался окончанием *-s.* Наличие в языке именительного падежа един­ственного числа с конечным *-s* дает право считать данный язык индоевропейским тем более, что в большинстве языков падеж субъекта совпадает с самою формою имени без какого-либо окон­чания.

Раз доказательство уже добыто целым рядом частных совпаде­ний, остается только, чтобы углубить его, установить, что морфо­логическая система рассматриваемого языка во всей ее совокупно­сти может быть разъяснена как результат видоизменения или ряда последовательных видоизменений исходного языкового состояния.

Если бы мы не знали латинского языка и если бы италийские диалекты были представлены только французским языком, утра­тившим общий облик языка индоевропейского, все же было бы возможно на точных фактах показать, что французский язык — индоевропейский. Лучшее доказательство мы имели бы в спряже­нии настоящего времени глагола *être* «быть»: противопоставление форм *(il) est: (ils) sont* (произносимых *il ẹ*: *il* (скорее *i*) *s)* соответ­ствует еще санскритскому противопоставлению *ásti* «есть»: *sánti* «суть», готскому *ist: sind,* древнеславянскому **ксть**: **сжть**; личные местоимения *moi, toi, sol, nous, vous,* схожие с санскритскими *mām, tvām, svayám, nah, vah* и древнеславянскими **мa**, **та**, **са**, **ны, вы**, дополняют это доказательство, которое могло бы быть подтверж­дено еще и некоторыми подробностями глагольного спряжения. Отсюда видно, сколь долговечны бывают морфологические осо­бенности: среди французских наречий (patois) есть такие, в кото­рых лексика почти целиком заимствована из литературного фран­цузского языка и слова почти полностью подведены под литера­турный французский тип, но которые еще сохраняют, по край­ней мере частично, свою собственную морфологию. Но француз­ский язык представляет уже немного подобных черт прошлого, и потребовалось бы небольшое количество изменений, чтобы уст­ранить из него их последние остатки. С другой стороны, без зна­ния латыни и средневекового французского языка затруднитель­но было бы показать, каким образом морфологическая система современного французского языка связывается с системой индо­европейской, хотя французский глагол и имеет еще несколько индоевропейских черт. «Индоевропейское» качество французско­го языка и в этом случае сохранялось бы, ибо оно выражает лишь факт непрерывной преемственности от индоевропейской общно­сти доныне; но оно не было бы непосредственно доказуемо.

Можно, следовательно, представить себе, что есть в мире не­узнанные индоевропейские языки. Но это маловероятно: так, не­взирая на то, что албанский язык засвидетельствован поздними памятниками и подвергся весьма значительным изменениям, он без труда был признан индоевропейским. Так и «тохарский» язык, лишь только были поняты его несколько строк, признан был ин­доевропейским, а индоевропейский характер хеттского сразу же поразил его первых истолкователей. Это является следствием ус­тойчивости морфологической системы. Грамматика даже наибо­лее изменившихся индоевропейских языков доныне сохраняет, в особенности в области глагола, кое-что от индоевропейского.

Возможно, что «индоевропейский язык», в свою очередь, лишь форма какого-то ранее существовавшего языка, представителями которого являются также и другие языки, как ныне существую­щие, так и засвидетельствованные древними текстами. Уже отме­чались разительные соответствия между языками индоевропейскими и угрофинскими, в свою очередь, быть может, родственными тюр­кским, а также между индоевропейскими и семитскими, с кото­рыми связаны и «хамитские языки»; некоторые «азианийские» язы­ки, как то: ликийский и лидийский, насколько можно о них су­дить на основании того, что от них сохранилось и что в них истолковано, тоже, быть может, произошли от того же исходного языка, как и общеиндоевропейский язык; на подобную же гипо­тезу наталкивают и те данные, которые начинают выясняться в области сравнительной грамматики кавказских языков. Но до тех пор пока между индоевропейской грамматикой и грамматиками иных языковых групп не будут обнаружены совпадения более от­четливые и более многочисленные, эта общность происхождения не может считаться доказанной. Мы можем предполагать только, что все языки перечисленных групп друг другу родственны. Впро­чем, если когда-либо будет установлен и доказан ряд соответствий между индоевропейской и иными языковыми группами, в систе­ме ничего не изменится: только над сравнительной грамматикой индоевропейских языков надстроится новая сравнительная грам­матика, которая, конечно, будет относительно скудной, подобно тому как сравнительная грамматика индоевропейских языков над­страивается над более богатой и более подробной сравнительной грамматикой, скажем, романских языков; мы проникнем на одну ступень глубже в прошлое, с результатами менее значительными, но метод останется тот же.

*2*. *«Восстановление» индоевропейского языка*

Если родство нескольких языков установлено, остается опре­делить развитие каждого из них с того момента, когда все они были более или менее тождественны, до какого-либо другого дан­ного момента.

Если древняя форма языка засвидетельствована, как это име­ет место для романских языков, задача исследования вначале от­носительно проста: определяются соответствия между древней фор­мой и последующими формами и, при помощи исторических дан­ных, прослеживаются как можно точнее видоизменения языка в различных местах в различные моменты. Если же древняя форма языка неизвестна, как это имеет место для древних индоевропей­ских языков, то у нас только один способ исследования — уста­новить соответствия, которые можно обнаружить между формами различных языков. В том случае, когда языки очень сильно разош­лись, а соответствия редки и отчасти не достоверны, мы огра­ничиваемся одним только установлением родства. Для индоевро­пейских языков обстоятельства более благоприятны. Эти языки представляют многочисленные и точные соответствия, а три из них — хеттский, индо-иранские и греческий — засвидетельство­ваны довольно древними памятниками и притом засвидетельство­ваны в форме настолько архаичной, что по ней можно предполо­жить, какова должна была быть система индоевропейского языка; большинство остальных сохраняет архаизмы. Таким образом, сис­тема всех совпадений, представляемых индоевропейскими языка­ми, допускает их методическое и подробное изучение.

Пример, взятый из романских языков, лучше всего даст пред­ставление о применяемом приеме исследования. Возьмем следую­щий ряд слов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| итальянск. | рẹrа | tẹla | vẹro | pẹlo |
| испанск. | рега | tela | vero | pelo |
| сицилийск. | pira | tila | viru | pilu |
| др.-франц. | peire | teile | veir | peil |
| (совр. франц. | poire | toile | voire | poll) |
|  | «груша» | «ткань» | «действительно» | «шерсть» |

Поскольку известно из сравнения грамматик этих языков, что они между собою родственны, то не может быть сомнения, что мы имеем здесь четыре слова общего языка, именно «вульгарной латыни», или «общероманского» языка. Так как ударная гласная во всех четырех словах одна и та же, то мы можем заключить, что имеем здесь дело с гласной этого языка, которую можно опреде­лить соотвествиями:

ит. *ẹ =* исп. *е* = сиц. *i* == др.-фр. *ei* (совр.-фр. *oi)*

Можно обозначить фонему, определяемую этим соответстви­ем, как закрытое *е.* Но некоторые диалекты в Сардинии имеют, с одной стороны, *pira, pilu,* с другой — *veru;* поскольку различие между *i* и *е* не может быть объяснено влиянием соседних артикуля­ций, то оно должно быть древним, и мы приходим к установле­нию двух различных соответствий:

сардинское *i*= ит. *ẹ*  = исп. *е* =сиц. *i* *=* др.-фр. *ei*

сардинское *е=* ит. *ẹ* = исп. *ẹ* =сиц. *i* = др.-фр. *ei*

Мы, таким образом, различаем два рода закрытого *е* в народ­ной латыни. Если бы латинский язык не был известен, мы не мог­ли бы идти дальше: сравнительная грамматика романских языков не дает права на какой-либо иной вывод. Случайность, сохранив­шая латинский язык, оправдывает этот вывод и делает его более точным: первое закрытое *е* есть краткое *i* древней латыни: *pĭra, pĭlum,* второе есть древнее долгое *е: uērum, tēla.*

Сравнительная грамматика индоевропейских языков находится в том положении, в каком была бы сравнительная грамматика ро­манских языков, если бы не был известен латинский язык: *един­ственная реальность,* с которой она имеет дело, *это соответствия между засвидетельствованными языками.* Соответствия предполагают общую основу, но об этой общей основе можно составить себе пред­ставление только путем гипотез и притом таких гипотез, которые проверить нельзя; поэтому только одни соответствия и составляют объект науки. Путем сравнения невозможно восстановить исчезнув­ший язык: сравнение романских языков не может дать точного и полного представления о народной латыни IV в. н.э., и нет основания предполагать, что сравнение индоевропейских языков даст большие результаты. *Индоевропейский язык восстановить нельзя.*

Однако для краткости выражения позволительно обозначать одним знаком каждое определенное соответствие. Возьмем для примера:

скр. *mádhu* «мед» (сотовый и вареный) *=* гр. μέυ «опьяняющий напиток», ср. др.-исл. *mi* (др.-в.-нем. *meto);*

скр. *ádhāt* «он поставил» = арм. *ed,* ср. гр. έηκε, гот. *(ga-)de-ps* «дело»;

отсюда вытекает соответствие:

(1) скр. *dh =* гр. = арм. *d* = герм. *đ*(*d—* гот. *d,* др.-в.-нем. *t*).

Возьмем далее:

скр. *bhárāmi* «несу», арм. *berem,* гот. *baira,* гр. φέρω;

скр. *nábhah* «облако» = гр. νέφος, ср. хет. *nepiš* «небо», др.-сакс. *nebal,*

отсюда вытекает соответствие:

(2) скр. *bh =* гр. φ = арм. *b* = герм. *b (b).*

Возьмем еще:

скр. *hánti* «бьет», 3-е л. мн.ч. *ghnánti* «бьют», хет. *kuenzi* «бьет», ср. гр. είνω «бью», πέφαται «он был убит», πεφνειν «убивать» и лат. *-fendō;*

скр. *gharmáh* «жара», *haráh* «жара» = гр. έρος, «лето», лат. *formus* «жаркий», гр. ερμός = арм. *erm* «жаркий»,

отсюда вытекает соответствие:

(3) скр. *gh, h* = гр. φ, = лат. *f* = арм. *g,*  = хет. *ku.*

Можно условиться обозначать первое соответствие через *\*dh,* второе через *\*bh,* третье через *\*gwh,* так как, несомненно, мы име­ем здесь дело со звонкими смычными, из которых одна зубная, другая губная, третья лабио-велярная, в сопровождении или со­единении с какой-то гортанной артикуляцией; но *положительны­ми фактами являются только соответствия, а «восстановления» сво­дятся лишь к знакам, с помощью которых сокращенно выражаются соответствия.*

Регулярность соответствий, которой требует принцип посто­янства «фонетических законов», часто с виду нарушается. Если не считать аномалий, вызываемых условиями, не относящимися к фонетике, как то: аналогия, заимствование и т.п., есть в фонетике две главные причины видимых нерегулярностей:

1. Две фонемы, первоначально различные, часто сливаются в одной. Мы уже видели, как латинские *ĭ* и *ē* приводят в большин­стве романских языков к одному и тому же результату. Одной фо­неме одного языка в других языках могут соответствовать две раз­личные фонемы: так, в иранском, в балтийском, в славянском и в кельтском фонема *d,* соответствующая системе:

скр. *dh =* гр.  *=* арм. *d =* герм. *d (d),* соответствует также системе:

скр. *d* = гр. δ = арм. *t =* герм. *t*;

например: др.-cл. **даръ** соответствует гр. δώρν, а др.-сл. **медъ** — гр. μέυ.

2. Одна и та же фонема может отражаться двояким образом в зависимости от занимаемого ею положения; например, в латинс­ком в начале слова *f* соответствует скр. *bh =* гр. φ, а между гласны­ми она будет соответствовать *b;* отсюда разница лат. *fero* «несу» и *nebula* «облако»; в ионийском-аттическом \**gwh* отражается через φ перед α, ο, но через перед ε, откуда είνω «бью», но πέφαται «он был убит» и φόνος «убийство».

Применение этого второго принципа требует тонких комбина­ций. Так, сопоставляя гот. *bindan* «связывать», скр. *bandháh* «связь», *bándhuh* «родственник», гр. πενερός «тесть» (собственно «свойствен­ник»), мы склонны установить соответствие:

скр. *b* = герм. *b* = гр. π,

которое предполагало бы особую фонему *\*b2,* так как этот ряд соответствий отличается от обычных:

(1) скр. *bh =* герм. *b =* гр. φ

(2) скр. *b* = герм. *р =* гр. β

(3) скр. *р* = герм. *f(b)* = гр. π

Но в санскрите и в греческом одна придыхательная диссимилируется другой (это явление старше самых древних текстов, но обнаружилось все-таки позже разделения индоевропейских язы­ков); следовательно, скр. *bandháh, bándhuh* могут отражать более древние формы *\*bhandháh, \*bhándhuh,* a гр. πενερός может отра­жать более древнее \*φενερός, поэтому, раз за вычетом случаев с двумя придыхательными в слове, соответствие скр. *b* = герм. *b =* гр. π не встречается, то нет надобности устанавливать для этого случая особую индоевропейскую фонему.

Равным образом, сближая скр. *dehī* «насыпь, вал» с гр. τεϊχος, τoϊχος «стена», можно соблазниться построением равенства гр. τ = скр. *d.*

Но подобное соответствие встречается лишь в корнях, где есть придыхательная; следовательно, вероятно, что здесь произошла диссимиляция. И в самом деле, соответствующие формы: в армян­ском *dez* «стена, куча», в оскском *feíhúss* «стены» (вин.п. множ.ч.); армянск. *d* предполагает древнее *\*dh,* а начальное италийское *f*- предполагает древнюю придыхательную. Следовательно, здесь было начальное *\*dh.*

Из этого следует, что происхождение *d-* в скр. *dáhati* «жжет» может быть двоякое. Оно выясняется из сопоставления с лат. *foueō* «грею», где начальное *f*- предполагает древнюю придыхательную. И в самом деле, при устранении в санскрите второй придыхатель­ной, что бывает при некоторых обстоятельствах, начальное *dh-*обнаруживается: аор. *ádhāk* «он сжег».

Голое соответствие, таким образом, ничего не выясняет. Надо в отношении каждой из фонем рассматриваемого языка иметь в виду все возможные источники ее происхождения и прослеживать их историю внутри данного языка.

Сближение скр. *hánti* и хет. *kuenzi* «бьет» на первый взгляд мо­жет показаться странным. Оно окажется вполне законным, лишь только мы рассмотрим фонетическое развитие в кажцом из этих языков: сочетание *ha-* в скр. *hánti,* при наличии множ. числа *ghnánti* «бьют», предполагает древнее *\*ghe- ,* и это в языке, где тип *\*gwh-* отсутствует; что же касается сочетания *ku-* (т.е. *kw-)* в хет. *kuenzi,* ничто не указывает, восходит ли оно к *\*kw, \*gw* или *\*gwh.* Тем самым обе эти формы могут быть сведены к первоначальной форме *\*gwhenti,* которую мы и вправе предположить <...>.

Еще более поражает сближение гом. δηρός и арм. *erkar.* А между тем оно вполне надежно. Оба эти прилагательные означают «дол­гий», преимущественно в приложении ко времени. Исследование греческих фактов показывает, что гом. δηρός восходит к древнему δFāρός. Между тем и арм. *erkar* может восходить к *\*dwaro-;* род. па­деж *erkaroy* показывает, что это древняя основа на *\*-о-*; а соответ­ствие арм. *erk-* = гр. δF, допускающее объяснение на почве армян­ской фонетики, устанавливается в результате других сближений.

Эти примеры показывают, что сближения делаются не по сход­ству, но на основе системы соответствий.

Индоевропейская фонема устанавливается с учетом отражений ее в каждом языке, на основе системы соответствий. Число этих систем указывает минимальное число отдельных индоевропейских фонем. Индоевропейский язык мог различать еще и другие фоне­мы, но сравнительная грамматика не имеет никакого средства их определить, да и не испытывает потребности в этом, так как ее предметом является *не восстановление исчезнувшего языка, но иссле­дование соответствий между засвидетельствованными языками.*

В морфологии мы поступаем точно так же. Так, первичное окон­чание 3-го лица единственного числа действительного залога атематического настоящего времени в хеттском *-zi,* скр. *-ti,* гр. -τι (ди­алект. -σι), др.-русск. **-ть**, др.-лит. *-ti,* кельт. *\*-ti,* лат. *-t(i);* если уже условлено через *\*t* обозначать фонему, определяемую соответстви­ем скр. *t* = гр. τ = балт. и cл. *t*, хет. *z* (т.е. *ts)* перед *i* и т.д., а через \**i* фонему, определяемую соответствием хет. *i* = скр. *i* = гр. ι = др.-русск. **ь** = лит. *i* и т.д., то можно сказать, что данное окончание есть и.-е. *\*-ti:* хет. *kuen-zi* «бьет» или скр. *ás-ti* «есть», rp. έσ-τι, др.-русск. **ксть**, др.-лит. *es-ti,* гот. *is-t,* лат. *es-t,* последний из приведенных при­меров позволяет также определить глагольную основу (которая в то же время и корень) и.-е. *\*es-. <...>*

Чтобы составить себе верное представление об индоевропейс­ком, нужно «восстановить» возможно больше отдельных слов оп­ределенной формы и определенного смысла, и это часто удается. Но прием сравнения выявляет прежде всего общие типы образо­вания, что влечет за собою абстрактный характер изложения: даже в тех случаях, когда нами устанавливаются индоевропейские сло­ва, на первый план выдвигаются системы.

Существенное затруднение вызывается также самым методом. Какая-либо форма исторически засвидетельствованного языка мо­жет быть признана действительно древнейшей лишь в том случае, если она выпадает из общей системы языка, в котором она засвидетельствована. Так, лат. *est: sunt* и гот. *ist: sind—* несомненно древ­ние формы, потому что прием их образования чужд языкам ла­тинскому и готскому, и формы эти есть основание возводить к индоевропейскому, потому что представляемый ими тип посте­пенно исчезает после эпохи индоевропейской общности. Но срав­нение гр. άγω и лат. *ago* «веду» доказательно лишь в отношении общего типа подобных форм 1-го лица, потому что эти две формы согласуются с общей греческой и латинской парадигмой. Следова­тельно, с уверенностью восстанавливать какое-либо индоевропей­ское слово или какую-либо индоевропейскую форму можно лишь постольку, поскольку образование этого слова и структура этой формы стали аномальными. Норма индоевропейской эпохи вос­станавливается главным образом по аномалиям исторической эпохи. В историческую эпоху регулярные индоевропейские формы сохра­няются еще в качестве норм лишь в ограниченном числе случаев. «Восстановление» индоевропейского позволяет разъяснять систе­мы, засвидетельствованные в историческое время, но каждая из этих систем является новым образованием, и мы были бы далеки от верного представления об индоевропейских языках, если бы только стремились выделить в каждой данной системе элементы начального единства; задача сводится к тому, чтобы представить себе последовательное развитие от общеиндоевропейского к каж­дому данному языку.

Совокупность фонетических, морфологических и синтаксичес­ких соответствий позволяет все же составить себе общее понятие об общем элементе индоевропейских языков. Что же касается де­тального развития индоевропейского языка до исторической эпо­хи каждого из языков, то оно, конечно, ускользает от нас в пря­мой зависимости от многочисленности и глубины изменений, про­исшедших между периодом начального единства и исторически засвидетельствованными формами каждого языка.

К тому же значительная часть индоевропейских языков усколь­зает от нас потому, что единственные языки, известные нам в их древнем и архаичном состоянии, это два восточных диалекта — хеттский и индо-иранский — и один центральный — греческий. Западные языки известны нам с более позднего времени и в более измененном виде. Сравнение же индо-иранского с греческим не вскрывает нам полностью индоевропейских фактов. Например, долгое время предполагали, что окончание на \*-*r* со страдатель­ным значением есть итало-кельтское новообразование; открытие языков хеттского и «тохарского» обнаружило его индоевропейский характер. То обстоятельство, что у нас нет достаточно архаичных форм западных диалектов, обусловливает большое несовершен­ство в нашем представлении об индоевропейском языке.

Итак, метод сравнительной грамматики применим не для вос­становления индоевропейского языка в том виде, как на нем гово­рили, а лишь для установления *определенной системы соответствий между исторически засвидетельствованными языками.* Все излагае­мое в каком бы то ни было виде в настоящей работе должно разу­меться именно в этом смысле даже в тех местах, где, с целью сократить изложение, индоевропейский язык предполагается как бы известным.

При наличии этой оговорки, сравнительная грамматика оп­ределяется как *разновидность исторической грамматики в отноше­нии тех частей языкового развития, которые не могут быть просле­жены на основе документов.*

Впрочем, и всякая историческая грамматика есть прежде всего грамматика сравнительная, ибо даже в отношении лучше всего известных языков подробности эволюции каждого говора далеко не всегда засвидетельствованы текстами, а засвидетельствован­ные формы, особенно в местных говорах, использовать оказыва­ется возможным только приемами сравнения. <...>

Своеобразие и трудность общей сравнительной грамматики индоевропейских языков состоят, однако, именно в том, что она не располагает никакими иными средствами, кроме сравнения. <...>

Приведенные нами определения тем самым устраняют два ошибочных взгляда, противоречащих духу сравнительного метода.

1. Долгое время думали, что индоевропейский язык есть язык *первобытный:* думали, что сравнительная грамматика позволяет заглянуть в «органический» период языка, когда он складывался и когда устанавливалась его форма. Но ведь индоевропейский язык по отношению к хеттскому, санскритскому, греческому и т.д. есть то же самое, что латинский по отношению к итальянскому, фран­цузскому и т.д.; единственное различие заключается в том, что у нас нет такой сравнительной грамматики, которая бы проникала в доиндоевропейское прошлое. Конечно, народности, говорившие по-индоевропейски, должны были стоять на уровне цивилизации, близком к уровню африканских негров или североамериканских индейцев; но в языках негров и индейцев нет ничего «первобыт­ного» или «органического». Каждый из их говоров имеет уже сло­жившуюся форму и иногда тонкую и сложную грамматическую систему, относящуюся к тому или иному из многообразных типов речи. Сравнительная грамматика индоевропейских языков не бро­сает ни малейшего света на первые ступени языка. Индоевропей­ский язык, конечно, не древнее и во всяком случае не «первобытнее» египетского языка эпохи пирамид и древневавилонского (ак­кадского).

2. Даже не увлекаясь мыслью, будто сравнительная грамматика может осветить процесс сложения языка, часто пытаются дать индоевропейским формам историческое объяснение. Например, задавались вопросом, не представляют ли личные окончания гла­гола древних местоимений-суффиксов, или не объясняются ли определенными фонетическими изменениями такие чередования гласных, как гр. εϊμι, ϊμεν «иду, пойду», «идем, пойдем». Но объяс­нения такого рода, сколько бы правдоподобны они отчасти ни были, не поддаются доказательству. И действительно, объяснить исторически какую-либо форму можно только другой, более древ­ней формой; а в данном случае именно этих более древних форм и нет: они не только не засвидетельствованы, но мы не можем даже их сколько-нибудь надежным образом «восстановить» при помо­щи сравнения. Исторически объяснять индоевропейский язык мы будем в состоянии только тогда, когда будет доказано его родство с другими языковыми семьями, когда таким образом окажется возможным установить системы соответствий и при их помощи составить себе представление о доиндоевропейском периоде.

Языковые факты настолько сложны, что не допускают догадок. Было бы наивно объяснять явления французского языка, не зная ни других романских языков, ни латинского; попытки объяснять индоевропейский язык не менее наивны и даже еще более нелепы потому, что мы не знаем самого индоевропейского языка, а име­ем только системы соответствий, которые косвенно дают о нем представление. Поэтому нами оставляются без рассмотрения те гипотезы, которые предлагались для объяснения подробностей индоевропейского словоизменения без какой-либо опоры на со­ответствия с языками, возводимыми к более древнему источнику.

Здесь мы будем рассматривать только одно: *соответствия между различными индоевропейскими языками, отражающие древние общие формы; совокупность этих соответствий составляет то, что назы­вается индоевропейским языком.*

*Э. Сепир* Язык. Введение в изучение речи\*

**Глава VI ТИПЫ ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЫ**

До сих пор, разбирая вопросы языковой формы, мы касались лишь отдельных слов и отношений между словами в предложени­ях. Мы не подходили к отдельным языкам в целом, не ставили вопроса, к какому общему типу они относятся. Мимоходом нам приходилось отмечать, что один язык может достигать крепко сла­женного синтеза в такой области, где другой язык довольствуется более аналитичньм, поштучным использованием своих элемен­тов, или что в одном языке синтаксические отношения являются в чистом виде, тогда как в другом они комбинируются с некото­рыми другими представлениями, заключающими в себе нечто кон­кретное, сколь бы абстрактными они ни ощущались на практике. Таким путем мы имели возможность извлечь некоторое указание на то, что следует разуметь, когда мы говорим об общей форме того или другого языка, ибо каждому, кто вообще думал об этом вопросе или хоть немного почувствовал дух какого-либо иност­ранного языка, должно быть ясно, что в основе каждого языка лежит как бы определенный чертеж, что у каждого языка есть свой особый покрой. Этот тип, или чертеж, или «дух» структуры языка есть нечто гораздо более фундаментальное, нечто гораздо глубже его проникающее, чем та или другая нами в нем обнаруживаемая черта. О природе языка мы не можем составить себе точное пред­ставление при помощи простого перечисления различных фактов, образующих его грамматику. Переходя от латинского языка к рус­скому, мы чувствуем, что приблизительно тот же горизонт огра­ничивает наши взоры, и это несмотря на то, что переменились виденные нами раньше придорожные вехи. Когда мы подходим к английскому языку, нам начинает казаться, что окрестные холмы стали несколько более плоскими, и все же общий характер пейзажа мы узнаем. Но когда мы доходим до китайского языка, оказы­вается, что над нами сияет совершенно иное небо. Переводя эти наши метафоры на обычный язык, мы можем сказать, что все языки друг от друга отличаются, но некоторые отличаются значи­тельно больше, чем другие, а это равносильно утверждению, что возможно сгруппировать их по морфологическим типам.

\* *Сепир Э.* Язык. Введение в изучение речи/Перевод с англ. М.—Л., 1934. С. 94-115. В текст перевода составителями были внесены незначительные изменения с учетом нового издания. *Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культуроло­гии/Перевод с англ. М., 1993. С. 117—137. — *Прим. сост.*

Собственно говоря, мы наперед знаем, что невозможно уста­новить ограниченное количество типов, с полным учетом в них всех особенностей тех тысяч языков и диалектов, на которых гово­рит человечество. Подобно всем прочим человеческим установлениям, речь слишком изменчива и слишком неуловима, чтобы под­чиняться вполне непреложным классификациям. Даже применяя до самых мелочей разработанную классификацию, мы можем быть вполне уверены, что многие языки придется насильно подгонять под тот или иной тип. Для того чтобы вообще включить их в схему, окажется необходимым переоценить значение той или иной их особенности или пренебречь временно некоторыми противоречи­ями в их механизме. Но разве затруднительностью классификации доказывается ее бесполезность? Я этого не думаю. Было бы черес­чур просто сложить с себя бремя созидательной работы мысли и встать на ту точку зрения, что у каждого языка своя единичная история и, следовательно, своя единичная структура. Такая точка зрения выражает лишь пол-правды. Подобно тому как схожие со­циальные, экономические и религиозные установления выросли на разных концах мира из различных исторических антецедентов, так и языки, идя разными путями, обнаруживали тенденцию со­впасть в схожих формах. Более того, историческое изучение язы­ков вне всяких сомнений доказало нам, что язык изменяется не только постепенно, но и последовательно, что он движется бес­сознательно от одного типа к другому и что сходная направлен­ность движения наблюдается в отдаленнейших уголках земного шара. Из этого следует, что неродственные языки сплошь да рядом са­мостоятельно приходят к схожим в общем морфологическим сис­темам. Поэтому, допуская наличие сравнимых типов, мы вовсе не отрицаем специфичности отдельного исторического процесса; мы только утверждаем, что позади внешнего хода истории действуют могущественные движущие силы, направляющие язык, как и дру­гие продукты социальной жизни, к определенным моделям, ины­ми словами, к типам. Мы, как лингвисты, удовлетворимся кон­статацией того, что эти типы существуют и что некоторые процес­сы в жизни языка направлены к их изменению. Почему же образуются схожие типы и какова природа тех сил, которые их создают и разрушают? Вот вопросы, которые легче задать, чем на них ответить. Быть может, психологам будущего удастся вскрыть конечные причины образования языковых типов.

Приступая к самой работе по классификации языков, мы сра­зу же убеждаемся, что это дело не легкое. Предлагалось уже много разнообразных классификаций, и во всех них заключены ценные элементы, но ни одна из них не может считаться вполне удовлет­ворительной. Классификации эти не столько охватывают извест­ные нам языки, учитывая их особенности, сколько втискивают их в свои узкие, негибкие рамки. Затруднения при классификации возникают разного рода. Во-первых (и это самое главное), труд­ным оказывается избрать точку зрения. На какой основе следует классифицировать? Язык представляется нам столь многогранным, что мы легко можем сбиться с толку. И достаточно ли одной точки зрения? Во-вторых, опасно делать обобщения, исходя из матери­ала отобранных в ограниченном количестве языков. Привлечь к рассмотрению только языки, скажем, латинский, арабский, ту­рецкий, китайский и, быть может, про запас еще эскимосский или сиу, — значит обречь себя на неудачу. Мы не вправе предпола­гать, что небольшой выборки экзотических типов достаточно для дополнения тех немногих более нам близких языков, в которых мы непосредственно заинтересованы. В-третьих, губительным для лингвистов было их стремление к единой простой формуле. Есть нечто неотразимое в таком методе классификации, при котором в основу кладутся два полюса, — к примеру сказать, языки китай­ский и латинский, — и к этим двум полюсам подгоняется все, что только оказывается возможным, а все прочее отбрасывается к не­коему «переходному типу». Отсюда ведет свое происхождение по­ныне популярная классификация языков на «изолирующие», «аг­глютинативные» и «флективные». Иногда языки американских ин­дейцев выделяют особо в своеобразный «полисинтетический» арьергард агглютинативных языков. Употребление всех этих терми­нов может быть оправдано, но, пожалуй, представляется весьма затруднительным все известные языки распределить по вышеука­занным группам, хотя бы потому, что группы эти взаимно не ис­ключают друг друга. Язык может одновременно быть и агглютина­тивным и флективным, или флективным и полисинтетическим, или даже полисинтетическим и изолирующим, как это мы увидим несколько ниже.

Есть еще и четвертая причина, почему предпринимавшиеся классификации языков в общем оказались бесплодными. Из всех причин она, вероятно, более всего способствовала затемнению вопроса. Это — эволюционистский предрассудок, просочившийся в социальные науки к середине прошлого столетия и только теперь начинающий терять свою тираническую власть над нашими умами. Переплетаясь с этим научным предрассудком и в значи­тельной мере упреждая его, был и другой предрассудок, более человеческого свойства. В своем огромном большинстве лингвис­ты-теоретики сами говорили на языках одного и того же опреде­ленного типа, наиболее развитыми представителями которого были языки латинский и греческий, изучавшиеся ими в отроческие годы. Им ничего не стоило поддаться убеждению, что эти привычные им языки представляют собою «наивысшее» достижение в разви­тии человеческой речи и что все прочие языковые типы не более, чем ступени на пути восхождения к этому избранному «флектив­ному» типу. Все, что согласовывалось с формальной моделью сан­скрита, греческого языка, латыни и немецкого, принималось как выражение «наивысшего» типа, все же, что от нее отклонялось, встречалось неодобрительно как тяжкое прегрешение или, в луч­шем случае, рассматривалось как интересное отступление от нор­мы. Несомненно, что всякая классификация, исходящая из пред­взятых оценок или же работающая на удовлетворение чувства, обрекает себя на ненаучность. Лингвист, настаивающий на том, что латинский морфологический тип, вне всякого сомнения, зна­менует наивысший уровень языкового развития, уподобляется тому зоологу, который стал бы рассматривать весь органический мир как некий гигантский заговор для выращивания скаковой лошади или джерсейской коровы. В своих основных формах язык есть сим­волическое выражение человеческих интуиции. Эти последние мо­гут оформляться на сотни различных ладов, безотносительно к уровню развития материальной культуры народа, пользующегося данными речевыми формами и, как правило (о чем даже едва ли стоит говорить), их не осознающего. Поэтому, если мы желаем понять язык в его истинной сущности, мы должны очистить наш ум от предвзятых «оценок» <...> и приучить себя взирать на языки английский и готтентотский с одинаково холодным, хотя и заин­тересованным, беспристрастием.

Вернемся к нашему первому затруднению. Какую точку зрения примем мы для нашей классификации? После всего того, что мы в предыдущей главе сказали о грамматической форме, должно быть ясно, что мы уже не можем теперь делать различение между офор­мленными языками и языками бесформенными, к чему охотно прибегали некоторые прежние авторы. Всякий язык может и дол­жен выражать основные синтаксические отношения, хотя бы даже в его словаре и не находилось ни одного аффикса. Из этого мы заключаем, что всякий язык есть оформленный язык. Вне сферы выражения чистых отношений язык может, конечно, быть «бес­форменным», бесформенным в механическом и, скорее, поверх­ностном смысле, т.е. не знать употребления некорневых элемен­тов. Делались порою попытки сформулировать различение языков на основе «внутренней формы». Например, в китайском языке нет формальных элементов в чистом виде, нет «внешней формы», но в нем обнаруживается острое чувство отношений в смысле разли­чения субъекта и объекта, атрибута и предиката и т.д. Иными сло­вами, в нем есть «внутренняя форма» в том же смысле, как и в латинском, хотя внешне он язык «бесформенный», а латинский — внешне «формальный». С другой стороны, предполагается, будто есть языки (напр., малайский, полинезийские), основных отно­шений по-настоящему не фиксирующие и довольствующиеся бо­лее или менее тщательным выражением материальных идей, по­рою даже с чрезмерным показом «внешней формы», а установле­ние чистых отношений возлагающие на догадку по контексту. Я определенно склоняюсь к мнению, что это предположение о «внутренней бесформенности» некоторых языков есть иллюзия. Вполне, конечно, возможно, что в этих языках отношения выра­жаются не столь нематериальным путем, как в китайском, или не так, как в латинском (где, как мы видели, синтаксические отно­шения отнюдь не свободны от примеси конкретности), или что принцип порядка слов подвержен в них большим колебаниям, чем в китайском, или же что тенденция к сложным деривациям осво­бождает язык от необходимости выражать некоторые отношения теми явными средствами, к которым в подобных случаях прибега­ет язык более аналитический. Это весьма схоже с тем, как англий­ское *cod-liver oil* «рыбий жир» (букв. «треска-печень-жир») до не­которой степени обходит задачу явного выражения отношений между тремя именами, ср. по контрасту франц. *huile de foie de morue* (букв. «жир от-печень от-треска»). Из всего этого вовсе не следует, будто в означенных языках нет настоящего ощущения основных отношений. Мы поэтому не сможем применять термин «внутрен­няя бесформенность» иначе, как в том весьма видоизмененном смысле, что синтаксические отношения могут совмещаться с пред­ставлениями иного порядка. К этому классификационному крите­рию нам придется вернуться несколько позже.

Более оправданной была бы классификация сообразно тем фор­мальным процессам, которые наиболее типичны и развиты в дан­ном языке. Языки, в которых слово всегда отождествляется с кор­невым элементом, окажутся выделенными в «изолирующую» группу в противовес тем языкам, которые либо аффиксируют модифици­рующие элементы (аффиксирующие языки), либо обладают спо­собностью менять значение корневого элемента посредством внутренних изменений (удвоение; чередование гласных и согласных; изменения в количестве, ударении и интонации). Языки послед­него типа могут быть не без некоторого основания названы «сим­волическими». Есть, по-видимому, реальная психологическая связь между символизацией и такими значащими чередованиями, как *drink* «пью», *drank* «пил», *drunk* «пьяный» или китайск. *mai* (с восхо­дящим тоном) «покупать» и *mai* (с нисходящим тоном) «прода­вать». Бессознательная тенденция к символизации справедливо подчеркивается в новейшей психологической литературе. По мое­му личному ощущению, переход от *sing* «пою» к *sang* «пел» по производимому им ощущению вполне тождествен чередованию символических цветов, напр. зеленого — символ безопасности, красного — символ опасности. Но мы, вероятно, весьма разнимся в отношении той интенсивности, с которою мы ощущаем симво­лизацию в языковых переходах этого типа. Аффиксирующие язы­ки, естественно, должны распасться на такие, где преобладает пре­фиксация, как банту или тлингит, и такие, где преимущественно или исключительно господствует суффиксация, как эскимосский, алгонкинские и латинский. Но эта четырехчленная классифика­ция (языки изолирующие, префиксирующие, суффиксирующие, символические) наталкивается на два существенных затруднения. Во-первых, большинство языков попадает в более чем одну из перечисленных групп. Так, например, семитские языки одновре­менно и префиксирующие, и суффиксирующие, и символические. Во-вторых, классификация эта в чистом своем виде представляет­ся поверхностной. Она связывает воедино языки, по своему духу резко различающиеся, на основании только некоторого внешнего формального сходства. Совершенно очевидно, что пропасть отде­ляет префиксирующий язык вроде кхмерского с его префиксами (и инфиксами), используемыми только для выражения дериваци­онных значений, от языков банту, где префиксальные элементы имеют широчайшее применение в качестве символов синтакси­ческих отношений. Ценность этой классификации значительно по­вышается, если ее применять к выражению одних лишь реляцион­ных понятий. Мы увидим, что термины «изолирующий», «аффиксирующий» и «символический» реально значимы. Но вместо различения языков префиксирующих и суффиксирующих, как мы увидим, гораздо целесообразнее делать иное различение, беря за основу степень спаянности аффиксальных элементов с ядром сло­ва. Несмотря на мое нежелание подчеркивать различие между префиксирующими и суффиксирующими языками, мне все-таки ка­жется, что за ним стоит бóльшая реальность, чем обычно думают лингвисты. Мне представляется, что есть психологически доволь­но существенное различие между языком, наперед устанавливаю­щим формальную характеристику корневого элемента, еще до того, как он назван (именно это свойственно языкам тлингит, чинук и банту), и таким языком, который начинает с конкретного ядра слова, а характеристику этого ядра определяет рядом последую­щих ограничений, каждое из которых урезывает в некоторой сте­пени то общее, что предшествует. Сущность первого метода таит в себе нечто как бы диаграммное или архитектурное, второй же есть метод досказывания задним числом. В наиболее разработанных пре­фиксирующих языках слово производит на нас впечатление как бы кристаллизации неустойчивых элементов, слова же типичных суффиксирующих языков (турецкого, эскимосского, нутка) суть «детерминативные» образования, в которых каждый прибавляе­мый элемент по-своему детерминирует форму целого. На практике приложить эти с трудом уловимые, хотя и важные различения, так сложно, что в элементарном исследовании нет иного выхода, как пренебречь ими.

Можно воспользоваться и другим рядом достаточно существен­ных различении, но и на них нельзя полагаться всецело, чтобы опять же не сделать нашу классификацию поверхностной. Я имею в виду представления об «аналитичности», «синтетичности» и «по­лисинтетичности». Эти термины говорят сами за себя. Аналитичес­кий язык либо вовсе не сочетает значения внутри цельных слов (китайский), либо прибегает к этому в скромных размерах (анг­лийский, французский). В аналитическом языке первенствующая роль выпадает предложению, слово же представляет меньший ин­терес. В синтетическом языке (латинский, арабский, финский) значения между собою связаны теснее, слова обставлены богаче, но вместе с тем обнаруживается общая тенденция ограничить бо­лее узкими рамками диапазон конкретного значения отдельного слова. Полисинтетический язык, как показывает самое название, синтетичен еще в большей степени. Слова в нем до крайности ос­ложнены. Значения, которые мы никогда бы не подумали тракто­вать как подчиненные, символизуются деривационными аффик­сами или «символическими» изменениями корневого элемента, а наиболее абстрактные понятия, включая синтаксические отноше­ния, также могут быть выражены в слове. В полисинтетическом языке нет никаких новых принципов, примеры которых не были бы уже представлены в более известных синтетических языках. Полисинтетический язык относится к синтетическому примерно так же, как синтетический к аналитическому языку такого типа, как английский. (Впрочем, английский язык аналитичен только по своей тенденции. По сравнению с французским он все еще гораздо синтетичнее, по крайней мере в некоторых отношениях.) Все три термина — чисто количественного и относительного по­рядка; иначе говоря, язык может быть «аналитичным» под одним углом зрения, «синтетичным» — под другим. Мне думается, что термины эти более полезны для определения некоторых тенден­ций развития языка, нежели в качестве абсолютных показателей. Часто бывает весьма поучительным обратить внимание на то, что язык в течение своей истории становится все более и более анали­тичным или же что он обнаруживает признаки, по которым мож­но судить о его постепенной кристаллизации от простой аналити­ческой основы до высоко развитой синтетической формы. (Пер­вый процесс усматривается в языках английском, французском, датском, тибетском, китайском и во множестве других. Вторая тен­денция, мне кажется, может быть доказана в отношении некото­рых американских индейских языков, как, например, чинук, навахо. Под их нынешней умеренно полисинтетической формой скры­вается аналитическая подоснова, которая в одном случае может быть примерно охарактеризована как подобная английской, в дру­гом случае — как подобная тибетской.)

Теперь мы подходим к различию между «флективным» языком и «агглютинативным». Как я уже указывал, такое различение име­ет свою пользу и даже необходимость, но оно обычно затемнялось множеством всяких несообразностей и бесполезными усилиями покрыть этими терминами все многообразие языков, за исключе­нием тех, которые, подобно китайскому, носят явно изолирую­щий характер. Значение, которое всего лучше вкладывать в термин «флективный», может быть вскрыто путем беглого рассмотрения некоторых из тех основных черт языков латинского и греческого, которые всегда считались характерными для флективных языков. Прежде всего, бросается в глаза, что эти языки более синтетичес­кие, чем аналитические. Но это еще не дает нам многого. По срав­нению со многими другими языками, похожими на них по своим общим структурным признакам, латинский и греческий не так уже синтетичны; с другой стороны, их нынешние потомки, италь­янский и новогреческий, хотя и гораздо аналитичнее <...> их, все же не столь далеко отошли от них в структурном отношении, что­бы быть зачисленными в совершенно особую языковую группу. Флективный язык, на этом мы должны настаивать, может быть и аналитическим, и синтетическим, и полисинтетическим.

Техника языков латинского и греческого — это способ аффик­сации, с определенным уклоном в сторону суффиксации. Агглю­тинативные языки так же, как и латинский и греческий, типично аффиксирующие языки, причем одни из них предпочитают пре­фиксацию, другие же более склонны к использованию суффиксов. Возможно, что все зависит от того, с аффиксацией какого имен­но типа мы имеем дело. Если сравнить такие английские слова, как *farmer* «земледелец» и *goodness* «доброта», с такими словами, как *height* «высота» и *depth* «глубина», нельзя не поразиться значи­тельной разнице в аффиксирующей технике этих двух рядов. Аф­фиксы *-еr* и *-ness* приставляются чисто механически к корневым элементам, являющимся одновременно и самостоятельными сло­вами (*farm* «обрабатывать землю», *good* «добрый»). Они ни в каком смысле не являются самостоятельно значащими элементами, но вложенное в них значение (агентивность, абстрактное качество) они выражают безошибочно и прямо. Их употребление просто и регулярно, и мы не встречаем никаких затруднений в присоедине­нии их к любому глаголу или к любому прилагательному, хотя бы даже и только что появившемуся в языке. От глагола *to camouflage* «маскировать» мы можем образовать имя *camouflager* «тот, кто мас­кирует, маскировщик», от прилагательного *jazzy* «джазовый» мо­жем совершенно свободно произвести имя *jazziness* «джазовость». Иначе обстоит дело с *height* «высота» и *depth* «глубина». В функци­ональном отношении они совершенно так же связаны с *high* «вы­сокий» и *deep* «глубокий», как *goodness* «доброта» с *good* «доб­рый», но степень спаянности между корневым элементов и аф­фиксом у них большая. Их корневой элемент и аффикс хотя структурно и выделяются, не могут быть столь же просто оторва­ны друг от друга, как могут быть оторваны *good* и *-ness* в слове *goodness.* Конечное *-t* в слове *height* не есть типичная форма аффик­са (ср. *strength* «сила», *length* «длина», *filth* «грязнота», *breadth* «ши­рина», *youth* «юность»), a *dep-* не тождественно слову *deep* «глубо­кий». Эти два типа аффиксации можно обозначить как «сплавливающий» (фузирующий) и «сополагающий». Если угодно, технику сополагания мы можем назвать «агглютинативной».

Но не выдвигается ли тем самым «фузирующая» техника в ка­честве существеннейшего признака флективности? Боюсь, что и тут мы не подошли вплотную к желанной цели. Если бы англий­ский язык был в значительной степени насыщен сращениями типа *depth,* но если бы наряду с этим множественное число в нем упот­реблялось независимо от глагольного согласования (например, во множественном числе *the books falls* «книги падает», подобно тому, как в единственном числе *the book falls* «книга падает», или же в единственном числе *the book fall* «книга падают», подобно тому как во множественном *the books fall* «книги падают»), а личные окончания — независимо от времени (например, в прошедшем времени *the book fells* «книга упала», подобно тому, как в настоящем *the book falls* «книга падает» или же в настоящем времени *the book fall* «книга падают», подобно тому, как в прошедшем *the book fell* «книга упала») и местоимения — независимо от падежа (напри­мер, в винительном падеже *I* *see he* «я вижу он», подобно имени­тельному *he sees me* «он видит меня», или же в именительном падеже *him sees the man* «его видит человека», подобно винительному *the man sees him* «человек видит его»), мы бы поколебались охарактеризовать его как флективный. Одно лишь наличие «фузии» не кажется доста­точно ясным показателем флективного характера процесса. В самом деле, есть большое число таких языков, которые подвергают «фу­зии», т.е. сплавливают, корневые элементы и аффиксы самым изощ­ренным и сложным образом, какой только можно где-либо най­ти, не обнаруживая вместе с тем признаков того своеобразного формализма, который столь резко подчеркивает флективность та­ких языков, как латинский и греческий.

Что верно относительно «фузии», одинаково верно и относи­тельно «символических» процессов. Некоторые лингвисты говорят о чередованиях типа *drink* «пью» — *drank* «пил», будто они пред­ставляют высшую точку флективности, своего рода спиритуализованную сущность чистой флективной формы. Однако в такой гре­ческой форме, как *pepomph-a* «я послал», в отличие от *ретр-о* «по­сылаю», с ее тройным символическим изменением корневого элемента (удвоение *ре-,* изменение *е* в *о*, изменение *p* в *ph),* флек­тивный характер с наибольшей яркостью выражен в специфичес­ком чередовании показателей 1-го лица единственного числа *-а* в перфекте и -*о* в настоящем времени. Нет большей ошибки, чем воображать, будто символические изменения корневого элемен­та, даже при выражении таких абстрактных понятий, как число и время, всегда связаны с синтаксическими особенностями флек­тивного языка. Если под «агглютинативным» языком мы разумеем такой, где аффиксация происходит по технике соположения, то мы можем только сказать, что имеются сотни фузирующих и сим­волических языков, не подходящих под это определение агглюти­нативности, которым тем не менее совершенно чужд дух флектив­ности, свойственный языкам латинскому и греческому. Мы мо­жем, если нам угодно, называть такие языки флективными, но мы должны в таком случае быть готовыми к радикальному пере­смотру нашего представления о флективности.

Надо усвоить себе, что фузию корневого элемента и аффикса можно понимать в более широком психологическом смысле, чем я до сих пор указывал. Если бы образование множественного числа имен в английском языке всегда следовало типу *book* «книга» — *books* «книги», если бы не было таких противоречащих моделей, как *deer* «олень» — *deer* «олени», *ох* «вол» — *oxen* «волы», *goose* «гусь» — *geese* «гуси», осложняющих обычное формальное выраже­ние множественности, — едва ли можно было бы сомневаться, что слияние элементов *book* и *-s* в целом слове *books* ощущалось бы не­сколько менее полным, чем оно ощущается ныне. Наше ощущение, или как бы бессознательное рассуждение по поводу этого языкового факта, можно изобразить так: поскольку формальная модель, пред­ставленная в слове *books,* тождественна по своему применению в языке той, которая налична в слове *oxen,* элементы множественно­сти *-s* и *-еп* не обладают той вполне определенной, вполне автоном­ной значимостью, которую мы на первых порах склонны были им приписать. Они суть элементы множественности лишь постольку, поскольку идея множественности приписывается таким-то и таким-то определенным понятиям. Поэтому слова *books* и *oxen* не вполне отвечают представлению о механических комбинациях символа вещи *(book, ox)* и ясного символа множественности. Связь между эле­ментами *book-s* и *ох-еп* психологически не вполне ясна, окутана какой-то дымкой. Частица той силы, которая заключена в элемен­тах *-s* и *-еп,* перехватывается, присваивается самими словами *book* и *ох,* совершенно так же, как понятийная значимость суффикса -*th* в слове *dep-th* явно слабее, чем суффикса *-ness* в слове *good-ness,* несмотря на функциональный параллелизм между *depth* и *goodness.* Чем больше неясности в отношении связи между элементами, чем меньше оснований считать аффикс обладающим всей полнотой значимости, тем резче подчеркивается единство цельного слова. Наш ум требует точки опоры. Если он не может опереться на от­дельные словообразующие элементы, он тем решительнее стре­мится охватить все слово в целом. Такое слово, как *goodness,* иллю­стрирует «агглютинацию», *books —* «регулярную фузию», *depth—* «иррегулярную фузию», *geese —* «символическую фузию» или «сим­волизацию». Нижеследующие формулы могут оказаться полезны­ми для тех, кто мыслит математически.

Агглютинация: с *=* а + b;

регулярная фузия: с = а + (b — х) + х;

иррегулярная фузия: с = (а — х) + (b — у) + (х + у);

символизация: с = (а — х) + х.

Я нисколько не намерен утверждать, будто процессу фузии присуща какая-то мистическая значимость. Вполне похоже на то, что он развивается как чисто механический продукт фонетических сил, приводящих ко всякого рода иррегулярностям.

Психологическая выделяемость аффиксальных элементов при агглютинации может быть еще резче выражена, чем у суффикса *-ness* в слове *goodness.* Собственно говоря, значение *-ness* не уста­навливается с такой полной определенностью, как это могло бы быть. Оно находится в зависимости от предшествующего корнево­го элемента, поскольку требуется, чтобы этому суффиксу предше­ствовал корневой элемент определенного типа, именно прилага­тельное. Тем самым присущая суффиксу значимая сила заранее в известной мере ограничена. Однако здесь фузия проявляется столь смутно и элементарно, тогда как в огромном большинстве случаев аффиксации она, наоборот, оказывается столь очевидней, что впол­не естественно проглядеть в данном случае ее наличие и более подчеркивать сополагающий, или агглютинативный, характер аф­фиксирующего процесса. Если бы *-ness* можно было, в качестве элемента со значением абстрактного качества, присоединять к кор­невым элементам любого типа, если бы от *fight* «сражаться» можно было бы образовать слово *tightness* («действие или качество сраже­ния»), от *water* «вода» — слово *waterness* («качество или состояние воды»), от *away* «прочь» — слово *awayness* («состояние бывания прочь»), подобно тому как от *good* «добрый» мы образуем слово *goodness* («состояние бывания добрым»), мы бы продвинулись зна­чительно ближе к агглютинативному полюсу. Язык, способный таким образом синтезировать свободно сочетаемые элементы, мож­но считать представителем идеального агглютинативного типа, в особенности если значения, выражаемые при помощи агглютинируемых элементов, суть значения реляционные или, по крайней мере, относятся к наиболее абстрактному классу деривационных значений.

Поучительные формы можно привести из языка нутка. Вер­немся к нашему примеру «огонь в доме». На языке нутка *inikw-ihl* «огонь в доме» не является столь определенно формализованным словом, как это может показаться, судя по переводу. Корневой элемент *inikw-* «огонь» в действительности столь же глагольное слово, сколь и именное, его можно передавать то через «огонь», то через «гореть», в зависимости от синтаксических условий пред­ложения. Наличие деривационного элемента *-ihl* «в доме» не уст­раняет этой неопределенности или общности: *inikw-ihl* есть столь же «огонь в доме», сколь и «гореть в доме». Для того чтобы это слово превратилось с полной определенностью в имя или глагол, к нему надо присоединить аффиксальные элементы строго имен­ной или глагольной значимости. Например, *inikw-ihl- 'i,* с артик­лем в виде суффикса, есть определенно именная форма: «горение в доме, огонь в доме»; *inikw-ihl-та, с* суффиксом изъявительного наклонения, столь же явно глагольная форма: «горит в доме». На­сколько мала степень фузии между «огонь в доме» и суффиксом именным или глагольным, явствует из того, что формально ин­дифферентное *inikwihl* не есть абстракция, выделенная путем ана­лиза, но вполне законченное слово, могущее самостоятельно быть использованным в предложении. Артикль - *'i* и показатель изъявительности *-та* не фузионные, сплавленные со словом формообразующие аффиксы, а только надбавки, выполняющие формальную роль. Покамест к слову *inikwihl* мы не прибавили - *'i* или *-та,* мы все время остаемся в неизвестности, глагол ли это или имя. Мы можем придать ему идею множественного числа: *inikw-ihl- 'minih;* это опять же будет либо «огни в доме», либо «множественно гореть в доме». Мы можем к идее множественного числа добавить идею уменьшительности: *inikw-ihl- 'minih- 'is,* но это либо «маленькие огни в доме», либо «множественно и слегка гореть в доме». Ну, а если мы еще прибавим суффикс прошедшего времени *–it*? Будет ли *inikw-ihl '-minih- 'is-it* непременно глаголом: «несколько маленьких огней горели в доме»? Нет, не будет. И этому сочетанию элементов мож­но придать значение имени: *inikwihl 'minih 'isit- 'i* означает также «пре­жние маленькие огни в доме, горевшие когда-то маленькие огни в доме». Мы не получим безусловно глагольного значения, пока не прибегнем к форме, исключающей всякую возможность иного толкования, например к форме изъявительного наклонения: *inikwihiminih 'isit-a* «несколько маленьких огней горели в доме». Та­ким образом, мы убеждаемся, что элементы *-ihl, - 'minih, - 'is* и *-it,* совершенно независимо от относительно конкретного или абст­рактного характера их значения, а также независимо от степени внешней (фонетической) их связанности с предшествующими им элементами, обладают такой психологической самостоятельнос­тью, которой совершенно лишены наши аффиксы. Это типично агглютинируемые элементы, хотя у них не больше внешней само­стоятельности, не больше возможности жить независимо от кор­невого элемента, к которому они приставляются, чем у *-ness* в слове *goodness* или у -*s* в слове *books.* Из этого вовсе не следует, будто в агглютинативном языке не может широко быть использован прин­цип фузии, как внешней, так и психологической, или даже прин­цип символизации. Это есть вопрос тенденции. Обнаруживается ли в данном языке явный уклон в сторону агглютинативного формо­образования? Если да, то такой язык надо признать «агглютина­тивным». Как таковой, он может быть префиксирующим или суффиксирующим, аналитическим, синтетическим или полисинте­тическим.

Вернемся к вопросу о флективности. Флективный язык, вроде латинского или греческого, использует технику фузии, и этой фузии присуща как внутренняя психологическая, так и внешняя фонетическая значимость. Но еще недостаточно, чтобы фузия обнару­живалась только в сфере деривационных значений (группа II), она должна охватывать и синтаксические отношения, выражаемые либо в их чистой форме (группа IV), либо, как в латинском и гречес­ком, в виде «конкретно-реляционных понятий» (группа III). Если мы станем отрицать приложимость термина «флективный» к фузионным языкам, выражающим синтаксические отношения в чи­стой форме, т.е. без примеси таких значений, как число, род и время, только потому, что такую примесь мы привыкли наблю­дать в языках латинском и греческом, — мы придадим понятию «флективность» более произвольное содержание, чем это является необходимым. Вместе с тем не подлежит сомнению, что сам по себе метод фузии имеет тенденцию перекидывать мост между груп­пами значений II и IV, создавая группу III. И все-таки возмож­ность таких «флективных» языков отрицать не следует. Так, в со­временном тибетском языке, в котором значения группы II лишь едва выражены, если вообще выражены, а реляционные значения (напр., падежи родительный, агентивный и орудный) выражают­ся без добавления фонетического материала, мы видим много ин­тересных случаев фузии и даже символизации. Напр., *mi di* «чело­век этот» есть абсолютная форма, которая может быть использова­на в качестве субъекта при непереходном глаголе. Если же глагол переходный (собственно, пассивный), то (логический) субъект принимает агентивную форму. Таким образом, *mi di* превращается в *mi* *dî* «человеком [этим]», т.е. гласная указательного местоимения (иначе артикля) просто удлиняется. (По-видимому, происходит и изменение интонации слога.) Это, конечно, явление чисто флек­тивного порядка. Тот факт, что современный тибетский язык име­ет все основания считаться языком изолирующим, а наряду с этим обнаруживает явления фузии и символизации, подобные выше­указанному, может служить забавной иллюстрацией несостоятель­ности ходячей лингвистической классификации, рассматриваю­щей «флективные» и «изолирующие» языки как совершенно осо­бые миры. Что касается языков латинского и греческого, то их флективность по существу сводится к фузии элементов, выражаю­щих логически не чисто реляционные значения, с элементами корневыми и элементами, выражающими деривационные значе­ния. Для того чтобы можно было говорить о «флективности», не­обходимы и наличие фузии, как общего метода, и выражение в слове реляционных значений.

Но так определить флективность равносильно тому, чтобы под­вергнуть сомнению ценность этого термина в качестве классифи­кационного признака для выделения одной из основных языковых групп. К чему руководствоваться двойственным принципом, охва­тывающим одновременно и технику выражения, и содержание вы­ражаемого? Надо было бы ясно договориться, на каком из двух при­знаков флективности мы делаем упор. Термины «фузионный» и «сим­волический» противопоставляются термину «агглютинативный», который, со своей стороны, вовсе не соотносителен с термином «флективный». Как быть с языками фузионными и символически­ми, не выражающими реляционных значений в слове, а относящи­ми их выражение на счет предложения? И не следует ли нам делать различие между агглютинативными языками, выражающими эти значения в слове, наподобие языков флективных, и такими, кото­рым это не свойственно? Для нашей цели общей классификации мы отвергли деление языков на аналитические, синтетические и поли­синтетические как основанное на чисто количественном признаке. Деление языков на изолирующие, аффиксирующие и символичес­кие также признано нами неудовлетворительным по той причине, что оно чересчур делает упор на внешнем, техническом выражении. Деление на изолирующие, агглютинативные, фузионные и симво­лические — схема более удовлетворительная, но все же и она сколь­зит по поверхности. Мне думается, что мы поступим лучше, если воспользуемся понятием «флективность» в качестве ценного указа­ния на возможность более широкой и последовательно развитой схемы в качестве отправной точки для построения классификации, осно­ванной на природе выражаемых в языке значений. Две другие клас­сификации: одна, основанная на степени синтезирования, другая — на степени фузирования, могут быть сохранены в качестве перекре­щивающихся схем, позволяющих производить дальнейшие подраз­деления в наших основных концептуальных типах.

Надо помнить, что во всех языках непременно выражаются кор­невые понятия (группа I) и реляционные идеи (группа IV). Из двух остальных основных групп значений, — деривационных (группа II) и смешанно-реляционных (группа III), — обе могут отсутствовать в языковом выражении, обе могут быть в наличии или только одна. Это сразу же дает нам простой, точный и абсолютно всеобъемлю­щий метод классификации всех известных языков.

Языки бывают:

А. Выражающие только значения групп I и IV; иначе говоря, языки, в которых синтаксические отношения выражены в чистом виде и которые не обладают способностью модифицировать зна­чение корневых элементов посредством аффиксов или внутренних изменений. Это — *чисто-реляционные языки без деривации,* или, более сжато, *простые чисто-реляционные языки.* Это те языки, которые подходят ближе всего к самой сути языкового выражения.

В. Выражающие значения групп I, II и IV; иначе говоря, язы­ки, в которых синтаксические отношения выражены в чистом виде и которые вместе с тем обладают способностью модифицировать значение корневых элементов посредством аффиксов или внут­ренних изменений. Это — *чисто-реляционные языки с деривацией,* или *сложные чисто-реляционные языки.*

С. Выражающие значения групп I и III <...>; иначе говоря, языки, в которых синтаксические отношения выражаются в обя­зательной связи со значениями, не вполне лишенными конкрет­ности, но которые, не считая этой смешанной формы выраже­ния, не обладают способностью модифицировать значение корне­вых элементов посредством аффиксов или внутренних изменений. Это — *смешанно-реляционные языки без деривации,* или *простые смешанно-реляционные языки. <...>*

Можно считать, что в этих языках, равно как в языках типа D, все или большинство реляционных значений выражаются в «сме­шанной» форме, т.е. что, например, понятие субъектности не мо­жет быть выражено без одновременного выражения числа или рода, или что, например, активная форма глагола должна обладать и характеристикой определенного времени. Поэтому группу III дол­жно разуметь как включающую или, лучше, поглощающую груп­пу IV. Конечно, теоретически некоторые реляционные значения могут быть выражены в чистом виде, другие же в смешанной фор­ме, но на практике нелегко было бы установить это различие.

Нельзя провести вполне отчетливую границу между типами С и D. Разница между ними в значительной мере количественного порядка. Язык определенно смешанно-реляционного типа, но со слабо развитой способностью к деривации, как языки банту или французский, можно с достаточной обоснованностью отнести к типу С, даже если в нем имеются некоторые деривационные аф­фиксы. Грубо говоря, языки типа С можно рассматривать как крайне аналитичные («очищенные») формы типа D.

D. Выражающие значения групп I, II и III; иначе говоря, языки, в которых синтаксические отношения выражаются в смешанной форме, как в типе С, и которые вместе с тем обладают способнос­тью модифицировать значение корневых элементов посредством аффиксов или внутренних изменений. Это — *смешанно-реляционные языки с деривацией,* или *сложные смешанно-реляционные языки.* Сюда относятся наиболее нам знакомые «флективные» языки, а также весьма многие «агглютинативные» языки как «полисинтетические», так и просто синтетические.

Эта концептуальная классификация языков не стремится, по­вторяю, отразить внешнюю языковую технику. По существу, она отвечает на два основных вопроса касательно передачи значений в языковых символах. Во-первых, пользуется ли язык своими корне­выми значениями в чистом виде или же он образует свои конкрет­ные идеи путем объединения в единое целое неотделимые элемен­ты (типы А и С, с одной стороны, типы В и D, с другой)? И, во-вторых, пользуется ли язык своими основными реляционными значениями, теми, что безусловно необходимы для высказывания суждения, не примешивая к ним ничего конкретного, или же нет (типы А и В, с одной стороны, типы С и D, с другой)? Из этих двух вопросов второй, как мне кажется, наиболее фундаменталь­ный. Поэтому мы можем упростить нашу классификацию и пред­ставить ее в следующем виде:

I. Чисто-реляционные языки А. Простые

В. Сложные

II. Смешанно-реляционные языки С. Простые

D. Сложные

Такая классификация — слишком общая и слишком широкая, чтобы служить удобной основой для описательного обзора много­численных разновидностей человеческой речи. Она требует даль­нейшей разработки. Каждый из типов А, В, С, D может быть под­разделен на агглютинативные, фузионные и символические под­типы, соответственно с преобладающим способом модификации корневого элемента. В типе А мы дополнительно различаем изоли­рующий подтип, характеризуемый отсутствием всяких аффиксов и всяких модификаций корневого элемента. В изолирующих языках синтаксические отношения выражаются позицией слов в предло­жении. Это также верно и в отношении многих языков типа В, поскольку термины «агглютинативный», «фузионный» и «симво­лический» применимы в них лишь к способу трактовки дериваци­онных значений, а не реляционных. Такие языки можно называть «агглютинативно-изолирующими», «фузионно-изолирующими» и «символико-изолирующими».

Это приводит нас к тому важному общему положению, что способ трактовки одной группы значений не обязан ни в малей­шей степени совпадать со способом трактовки другой группы. Для указания этой разницы в трактовке могут быть, при желании, ис­пользованы составные термины, в которых первый элемент будет относиться к значениям группы II, а второй — к значениям групп III и IV. Под «агглютинативным» языком нормально будет разу­меться такой, в котором агглютинируются либо все его аффиксальные элементы, либо подавляющее их большинство. В «агглютинативно-фузионном» языке деривационные элементы агтлютинируются, возможно, в виде префиксов, а реляционные элементы (чи­стые или смешанные) фузируются (сплавливаются) с корневым элементом либо в качестве другого ряда префиксов, следующих за префиксами первого ряда, либо в виде суффиксов, либо частью префиксов, частью суффиксов. Под «фузионно-агглютинативным» языком мы будем понимать такой, в котором деривационные эле­менты фузируются (сплавляются), а элементы, указывающие на отношения, пользуются большей самостоятельностью.

Все эти и подобные им различия не только теоретически воз­можны, но и могут в изобилии быть проиллюстрированы описа­тельными фактами морфологии языков. Далее, если будет сочтено желательным подчеркнуть степень осложненности отдельного слова, могут быть добавлены в качестве описательных терминов термины «аналитический», «синтетический» и «полисинтетический». Само собою разумеется, что языки типа А необходимо языки аналити­ческие, языки типа С также по преимуществу аналитические и, по-видимому, не развиваются дальше синтетического уровня.

Но мы не должны увлекаться терминологией. Многое зависит от того, на какую черту, на какую точку зрения делается преиму­щественный упор. Развиваемый здесь метод классификации язы­ков обладает тем крупным преимуществом, что его можно уточ­нить или упростить в соответствии с теми или иными потребнос­тями. Степенью синтезирования можно всецело пренебречь; «фузию» и «символизацию» часто бывает полезно объединить под общим наименованием «фузии»; даже различие между агглютина­цией и фузией можно, если угодно, оставить в стороне, либо как сопряженное с трудностями для своего установления, либо как не относящееся к данному случаю. Языки, как-никак, представляют собою чрезвычайно сложные исторические структуры. Не столь важно расставить все языки по своим полочкам, сколь разработать гибкий метод, позволяющий нам каждый язык рассматривать с двух или трех самостоятельных точек зрения по его отношению к другому языку. Все это вовсе не противоречит тому, что некоторые языковые типы являются более устойчивыми и чаще представлен­ными в действительности, чем другие, теоретически столь же воз­можные. Но мы пока еще слишком плохо осведомлены о структур­ной природе великого множества языков, чтобы иметь право на построение классификации, которая была бы больше, чем только предварительная и экспериментальная.

Читатель получит несколько более яркое представление о раз­нообразии морфологии языков, если просмотрит прилагаемую аналитическую таблицу ряда языковых типов. Графы II, III и IV указывают на группы значений, под этими цифрами рассмотрен­ные в предыдущей главе. Буквами а, b, с, d обозначены процессы: а — изоляция (позиция в предложении), b — агглютинация, с — фузия, d — символизация. В тех случаях, когда используется более одной из этих техник, они расположены в порядке их относитель­ной важности. Определяя принадлежность языка к тому или друго­му типу, надо следить за тем, чтобы не оказаться введенным в заблуждение такими структурными его чертами, которые являют­ся лишь пережитками из более древней стадии — не имеют про­дуктивной силы и не служат для бессознательного моделирования языка. Во всех языках разбросаны такие окаменелости. В таких анг­лийских словах, как *spinster* (первоначально «пряха», ныне упо­требляется в значении «старая дева») и *Webster* (первоначально «ткач, ткачиха», ныне встречается лишь в качестве фамильного имени), окончание *-ster* есть старый агентивный суффикс, но, поскольку дело идет о языковом ощущении нынешнего поколе­ния, такого суффикса не существует вовсе; *spinster* и *Webster* со­вершенно разобщились с этимологическими группами *spin* («прясть») и *weave* («ткать») — *web* («ткань»). <...>

Едва ли стоит особо подчеркивать, что приведенные мною при­меры языковых типов далеко не исчерпывают всех возможностей языковой структуры, а также, что два языка, одинаково класси­фицируемые, не должны непременно обнаруживать много сход­ства в отношении своих внешних свойств. Наша классификация касается лишь наиболее фундаментальных и обобщенных проявле­ний духа, техники и степени осложненности каждого данного языка. Тем не менее во многих случаях мы можем установить тот высоко показательный и примечательный факт, что языки, относимые нами к одному и тому же классу, обнаруживают своего рода па­раллелизм и в отношении таких деталей или структурных особен­ностей, которые не предусмотрены нашей классификационной схемой. Так, интереснейшая параллель может быть проведена по структурным линиям между языками такелма и греческим, т.е. та­кими языками, которые географически столь отдалены друг от друга и исторически столь между собою не связаны, как только могут быть два наудачу взятых языка. Их сходство идет дальше обобщен­ных фактов, отмеченных в таблице. Может даже показаться, что особенности языковой структуры, вполне мыслимые в обособле­нии друг от друга и, казалось бы, с теоретической точки зрения никак между собой не связанные, обнаруживают тем не менее тенденцию сгруппировываться, следовать общей тенденции дви­жения под напором какого-то скрытого, но властно их контролирующего импульса к форме. Поэтому, если мы только убедились в интуитивном сходстве двух данных языков, в присущем им обоим одинаковом внутреннем ощущении формы, нам не придется че­ресчур удивляться тому, что каждый из них ищет и избегает одних и тех же направлений языкового развития. Мы в настоящее время еще весьма далеки от того, чтобы уметь точно определять, в чем именно заключается эта основополагающая интуиция формы. Мы можем в лучшем случае только смутно ее чувствовать и должны по большей части довольствоваться одной лишь констатацией ее сим­птомов. Эти симптомы постепенно накапливаются в описательных и исторических грамматиках отдельных языков. Настанет, быть может, день, когда мы сумеем обнаружить скрывающиеся за ними основные черты их внутреннего строения.

Ходячая классификация языков на «изолирующие», «агглюти­нативные» и «флективные» (лучше «фузионные»), — классифика­ция по существу чисто техническая, — не может служить сколько-нибудь надежным ключом для раскрытия интуитивно ощущаемых форм языка. Не знаю, может ли нас подвести ближе к цели пред­лагаемая классификация по четырем понятийным группам. По моему личному мнению, — может, но ведь вообще классифика­ции — эти аккуратные построения спекулятивного разума — вещь ненадежная. Они должны проверяться при всяком удобном случае и лишь после достаточной проверки могут претендовать на общее признание. Тем временем мы попробуем подкрепить нашу класси­фикацию путем привлечения довольно любопытного, хотя и про­стого исторического критерия. Языки находятся в непрерывном процессе изменения, но было бы вполне разумно предположить, что они дольше сохраняют именно то, что является в их структуре наиболее фундаментальным. Обратимся теперь к известным нам группам генетически родственных языков (т.е. таких, о которых на основании документальных или сравнительных данных можно ут­верждать, что они происходят из общего источника). Переходя в этих группах от одного языка к другому или прослеживая их ли­нию развития, мы часто встречаемся с фактом постепенного из­менения их морфологического типа. В этом нет ничего удивитель­ного, ибо нет никаких оснований к тому, чтобы язык всегда оста­вался верен своей первоначальной форме. Любопытно, однако, отметить, что из трех перекрещивающихся классификаций, пред­ставленных в нашей таблице (типы значений, техника и степень синтезирования), легче всего подвергается изменению степень синтезирования, изменчива, но в гораздо меньшей мере, и техни­ка, а типы значений обнаруживают тенденцию удерживаться доль­ше всего.

Приведенный в таблице иллюстративный материал, конечно, слишком скуден, чтобы служить в этом отношении реальной ба­зой для доказательства, но он все же в меру возможного достаточ­но показателен. <...>

Таблица с достаточной ясностью демонстрирует, сколь мало от­носительной устойчивости обнаруживается в техническом строе языка. Хорошо известны факты, что высоко синтетические языки (латынь, санскрит) сплошь и рядом разлагались до состояния аналитических (языки французский, бенгальский) или что агглютинативные язы­ки (финский) во многих случаях постепенно усваивали черты «флективности», но из этих фактов, по-видимому, редко выводилось то естественное заключение, что противопоставление языков синтети­ческих и аналитических или агглютинативных и «флективных» (фузионных) не представляет, в конце концов, ничего особенно фун­даментального Обращаясь к индокитайским языкам, мы видим, что китайский представляется почти образцовым изолирующим языком, тогда как в классическом тибетском обнаруживаются не только фу­зионные, но и явно символические особенности (например, *g-tong-ba* «давать», прошедшее время *b-tang,* будущее время *g-tang,* повели­тельная форма *thong);* но оба они чисто-реляционные языки. Эве либо изолирующий, либо только слегка агглютинативный язык, а шиллук, хотя и строго аналитический, является вместе с тем одним из наиболее резко выраженных символических языков, какие мне только известны; оба эти суданских языка — чисто-реляционные. Между языками полинезийскими и кхмерским родство далекое, хотя фактически несомненное: несмотря на то, что у последнего более выражены фузионные черты, чем у первых, они совпадают в общем им типе сложных чисто-реляционных языков. Языки яна и салина по своему внешнему облику крайне несхожи. Язык яна высоко поли­синтетический и вполне типически агглютинативный, салина — не более синтетичен, чем латинский, и такой же, как и он, иррегуляр­ный и компактно фузионный («флективный») язык, однако оба (и яна и салина) языки чисто-реляционные. Языки чинук и такелма, отдаленно родственные языки Орегона, очень далеко отошли друг от друга не только в отношении общих тенденций техники и синте­зирования, но и почти во всех деталях своей структуры: оба они сложные смешанно-реляционные языки, хотя и в весьма различных направлениях. Факты, подобные этим, как будто подкрепляют пред­положение, что в противопоставлении языков чисто-реляционных и смешанно-реляционных (или конкретно-реляционных) мы име­ем дело с чем-то более глубоким, более всеобъемлющим, нежели в противопоставлении языков изолирующих, агглютинативных и фузионных.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной тип | 11 | III | IV | Техника | Степень синтезирования | Языки |
| А  (Простые чисто-реляционные языки) | — | — | a | Изолирующий | Аналитический | Китайский; аннамский |
| (d)1 | — | a, b | Изолирующий (слабо агглютинативный) | Аналитический | Эве (Гвинея) |
| (b) | — | a, b, с | Агглютинативный (слегка агглютинативно-фузионный) | Аналитический | Совр.тибетский |
| В  (Сложные чисто-реляционные языки) | b, d | — | a | Агглютинативно-изолирующий | Аналитический | Полинезийские |
| b | — | a, (b) | Агглютинативно -изолирующий | Полисинтетический | Хайда |
| с | — | a | Фузионно-изолирующий | Аналитический | Кхмерский |
| b | — | b | Агглютинативный | Синтетический | Турецкий |
| b, d | (b) | b | Агглютинативный (чуть символический) | Полисинтетический | Яна (Сев. Калифорния) |
| c, d, (b) | — | a, b | Фузионно-агглютинативный (чуть символический) | Синтетический (слегка) | Класс. тибетский |
| b | — | с | Агглютинативно-фузионный | Синтетический (слегка полисинте­тический) | Сиу |
| с | — | с | Фузионный | Синтетический | Салина (Ю.-З. Калифорния) |
| d, с | (d) | d, с, а | Символический | Аналитический | Шиллук (Верх. Нил) |
| С  (Простые смешан­но-реляционные языки) | (b) | b |  | Агглютинативный | Синтетический | Банту |
| (с) | с, (d) | а | Фузионный | Аналитический (слегка синтети­ческий) | Французский |
| D  (Сложные смешанно-реляционные языки) | b, с, d | b | b | Агглютинативный (чуть символический) | Полисинтетический | Нутка (остр. Ванкувер) |
| с, (d) | b | — | Фузионно-агглютина­тивный | Полисинтетический (слегка) | Чинук (нижн. теч. р. Колумбии) |
| с, (d) | c,(d),(b) | — | Фузионный | Полисинтетический | Алгонкинские |
| с | с, d | а | Фузионный | Аналитический | Английский |
| с, d | с, d | — | Фузионный (чуть символический) | Синтетический | Латинский, гре­ческий, санскрит |
| с, b, d | с, d | (а) | Фузионный (сильно символический) | Синтетический | Такелма (Ю.-З. Орегон) |
| d, с | с, d | (а) | Символико-фузионный | Синтетический | Семитские (арабский, древнееврейский) |

\* Скобки указывают на слабое развитие данного процесса.

Р. О. Якобсон Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание\*

Высказывание Альфа Соммерфельта, с которого я начал свою монографию о всеобщих звуковых законах, до сих пор не утратило свой силы: «Между фонетическими системами (или более широ­ко — *между системами языковыми.— Р.Я.),* существующими в мире, нет *принципиального* различия».

\* Новое в лингвистике. М., 1963. Вып. III. С. 95-105.

1. *Говорящие сравнивают языки.* Как указывают антропологи, одна из наиболее примечательных особенностей общения между людь­ми заключается в том, что ни один народ не может быть столь примитивным, чтобы не быть в состоянии сказать: «У тех людей другой язык... Я говорю на нем или я не говорю на нем; я слышу его или я не слышу его». Как добавляет Маргарет Мид, люди счи­тают язык «таким аспектом поведения других людей, которому можно научиться». Переключение с одного языкового кода на дру­гой, возможно, и практикуется в действительности именно пото­му, что языки изоморфны: в основе их структуры лежат одни и те же общие принципы.

Разговоры в речевом коллективе о чужих языках, как и всякую речь о речи, логики относят к «метаязыку». Как я старался показать в обращении к Лингвистическому обществу Америки в 1956 году, метаязык, как и реальный язык-объект, является частью нашего словесного поведения и представляет собой, следовательно, линг­вистическую проблему.

Сепир, обладавший редким даром проникновения в простые, ускользающие от внимания явления, писал о нас как говорящих:

«Мы можем... сказать, что все языки отличаются друг от друга, но что некоторые языки различаются гораздо больше, чем другие. Это равносильно утверждению, что языки можно классифицировать по морфологическим [можно добавить фонологическим и синтаксическим. — *Р.Я.*] типам». Мы, лингвисты, «нашли бы слишком легкий выход, если бы освободили себя от трудностей творческого конструктивного мышления и приняли ту точку зрения, что каж­дый язык характеризуется единственной в своем роде историей и, следовательно, единственной в своем роде структурой».

2. *Отставание и прогресс в типологических исследованиях.* Неуда­ча попытки Фридриха Шлегеля создать типологическую класси­фикацию языков, как и ошибочность его взгляда на родословное древо индоевропейских языков, отнюдь не снимает данной про­блемы, но, напротив, требует ее адекватного решения. Непроду­манные и скороспелые рассуждения по поводу языкового родства скоро уступили место первым исследованиям и достижениям срав­нительно-исторического метода, тогда как вопросы типологии на долгое время сохранили умозрительный, донаучный характер. В то время как генеалогическая классификация языков добилась пора­зительных успехов, для типологической их классификации время еще не наступило. Первенствующая роль генетических проблем в науке прошлого столетия оставила своеобразный след в типологи­ческих сочинениях того века: морфологические типы понимались как стадии эволюционного развития языков. Доктрина Марра (уче­ние о стадиальности) была, вероятно, последним пережитком этой тенденции. Но даже в квазигенетическом виде типология вызывала недоверие младограмматиков, поскольку любые типологические исследования подразумевают дескриптивные приемы анализа, а дескриптивный подход был заклеймен как ненаучный догмати­ческими «Принципами истории языка» Г. Пауля.

Совершенно естественно, что Сепир — один из первых зачи­нателей дескриптивной лингвистики — выступил в защиту изуче­ния типов языковых структур. Однако разработка методов всесто­роннего описания отдельных языков поглотила силы большинства ученых, работавших в этой новой области; любая попытка сравне­ния языков воспринималась как искажение внутренних принципов одноязычных исследований. Понадобилось время, чтобы лингвисты поняли, что описание систем языков без их таксономии, так же как таксономия без описания отдельных систем, — это вопиющее и яв­ное противоречие: оба они предполагают друг друга.

Если в период между войнами всякий намек на типологию вызывал скептические предостережения — «jusqu'oú la typologie peut égarer un bon linguiste» («типология может сбить с толку хорошего лингвиста»), то в настоящее время нужда в систематических изыс­каниях в области типологии ощущается, как никогда. Вот несколь­ко примечательных примеров: Базелль, как всегда полный новых и плодотворных идей, набросал программу типологии языков в сфере синтаксических отношений; Милевский был первым, пред­ставившим замечательный, заслуживающий самого серьезного внимания очерк о «фонологической типологии языков американ­ских индейцев»; Гринберг, выдающийся лингвист <...>, эффек­тивно продолжил начинания Сепира в области типологических исследований морфологии и <...> рассмотрел три кардинальных метода классификации языков — генетический, ареальный и ти­пологический.

Генетический метод имеет дело с родством, ареальный — со сродством языков, а типологический — с изоморфизмом. В отли­чие от родства и сродства, изоморфизм не связан обязательно ни с фактором времени, ни с фактором пространства. Изоморфизм может объединять различные состояния одного и того же языка или два состояния (как одновременных, так и отдаленных во вре­мени) двух различных языков, причем как языков, расположен­ных по соседству, так и находящихся на далеком расстоянии, как родственных, так и имеющих разное происхождение.

3. *Не перечень элементов, но система является основой для типо­логии.* Риторический вопрос Мензерата (одного из талантливых первооткрывателей в области типологии), представляет ли собой тот или иной уровень языка «простую совокупность множества элементов или они связаны какой-то структурой», получил в со­временном языкознании вполне определенный ответ. Мы говорим о морфологической и фонологической системах языка, о законах структуры языка, о взаимозависимости его частей, а также частей языка и языка в целом. Чтобы понять систему языка, недостаточно простого перечисления ее компонентов. Подобно тому как синтаг­матический аспект языка являет собой сложную иерархию непо­средственных и опосредствованных составляющих, точно так же и аранжировка элементов в парадигматическом аспекте характери­зуется сложной многоступенчатой стратификацией. Типологичес­кое сравнение различных языковых систем должно учитывать эту иерархию. Любой произвол, любое отклонение от данного и ре­ально прослеживаемого порядка делает типологическую класси­фикацию бесплодной. Принцип последовательного членения все глубже и глубже проникает как в грамматику, так и в фонологию. И мы получаем ясное свидетельство достигнутого прогресса, пе­речитывая «Курс общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра, первого человека, полностью осознавшего огромное значение по­нятия системы для лингвистики, но не сумевшего, однако, уви­деть строго обязательного порядка в такой отчетливо иерархичес­кой системе, как грамматическая система падежей: «C'est par un acte purement arbitraire que le grammairien les groupe d'une facon plutôt que d'une autre» («Грамматист группирует их именно таким образом, а не каким-либо другим посредством совершенно произ­вольного акта»). Даже такой бесспорно исходный падеж, как име­нительный, нулевой падеж (cas zéro), занимает, по мнению Сос­сюра, произвольное место в падежной системе.

Фонологическая типология — и в этом Гринберг прав — не может строиться на «основе весьма туманной терминологии тра­диционной фонетики». Для создания типологии фонематических систем логически необходимо было подвергнуть их последователь­ному анализу: «Наличие некоторых отношений между самими при­знаками или классами этих признаков используется в качестве критериев», — писал Гринберг <...>. Типологическую классифи­кацию грамматических или фонологических систем можно пост­роить, лишь заново логически описав эти системы максимально экономным образом, путем тщательного устранения избыточных явлений. Лингвистическая типология языков, основанная на про­извольно выбранных признаках, не может дать удовлетворитель­ных результатов, как не может их дать, например, такая класси­фикация представителей животного царства, в которой вместо пло­дотворного деления живых существ на позвоночных и беспозвоночных, млекопитающих и птиц и т.п. был бы использо­ван в качестве критерия, предположим, цвет кожи и на этом ос­новании были бы сгруппированы вместе, скажем, люди с белой кожей и свиньи светлой окраски.

Принцип непосредственно составляющих не менее продукти­вен при анализе парадигматического аспекта языка, чем при грам­матическом разборе предложений. Типология, построенная на этом принципе, обнаруживает за разнообразием фонологических и грам­матических систем ряд объединяющих их элементов и существен­но ограничивает многообразие языков, кажущееся на первый взгляд бесконечным.

4. *Универсалии и неполные универсалии.* Типология вскрывает за­коны предугадываемости явлений (implication), которые лежат в основе фонологической и, по-видимому, морфологической струк­туры языков: наличие А подразумевает наличие (или, наоборот, отсутствие) Б. Подобным образом мы прослеживаем в языках мира единообразные или почти-единообразные черты, как принято было говорить в антропологии.

Без сомнения, более точное и исчерпывающее описание язы­ков мира пополнит и уточнит кодекс всеобщих законов и внесет в него необходимые поправки. Однако было бы неразумно отклады­вать работу по установлению этих законов до того времени, когда наше знание фактов надлежащим образом расширится. Нужно уже сейчас поднять вопрос о языковых, в частности фонематических, универсалиях. Даже если в каком-либо отдаленном, недавно заре­гистрированном языке мы обнаружим своеобразную особенность, подвергающую сомнению один из таких законов, это отнюдь не обесценит обобщения, выведенного на основании фактов внушительного количества ранее изученных языков. Наблюдаемое еди­нообразие оказывается неполным — таково правило высокой ста­тистической вероятности. До открытия утконоса (duckbilled platypus) в Тасмании и Южной Австралии зоологи в своих общих определе­ниях млекопитающих не предвидели возможности существования млекопитающих, откладывающих яйца; тем не менее эти устарев­шие определения сохраняют силу для подавляющего большинства млекопитающих на Земле и остаются важными статистическими законами.

Вместе с тем уже в настоящее время богатый опыт, накоплен­ный наукой о языках, позволяет нам установить некоторые кон­станты, которые едва ли когда-либо будут низведены до «полу­констант». Существуют языки, в которых отсутствуют слоги, начи­нающиеся с гласных, и/или слоги, заканчивающиеся согласными, но нет языков, в которых отсутствовали бы слоги, начинающиеся с согласных, или слоги, оканчивающиеся на гласные. Есть языки без фрикативных звуков, но не существует языков без взрывных. Не существует языков, в которых имелось бы противопоставление собственно взрывных и аффрикат (например, /t/ — /ts/), но не было бы фрикативных (например, /s/). Нет языков, где встреча­лись бы лабиализованные гласные переднего ряда, но отсутство­вали бы лабиализованные гласные заднего ряда.

Кроме того, частичные исключения из некоторых неполных универсалий требуют просто более гибкой формулировки соответ­ствующих общих законов. Так, в 1922 году мною было замечено, что свободное динамическое ударение и независимое противопос­тавление долгих и кратких гласных в пределах одной фонематичес­кой системы несовместимы. Этот закон, который удовлетворительно объясняет просодическую эволюцию славянских языков и ряда других индоевропейских групп, применим для подавляющего боль­шинства языков. Единичные случаи якобы свободного ударения и свободного количества оказались иллюзорными: так, говорили, что в языке вичита (Оклахома) существует и фонематическое уда­рение, и количество; однако, согласно новому исследованию Поля Гарвина, вичита является в действительности тоновым языком с противопоставлением, дотоле ускользавшим от внимания, восхо­дящего и нисходящего ударения. Тем не менее этот общий закон нужно сформулировать более осторожно. Если в каком-либо языке фонематическое ударение сосуществует с фонематическим коли­чеством, один из этих двух элементов подчинен другому и допус­каются три, крайне редко — четыре, различных единицы: либо долгие и краткие гласные различаются только в ударных слогах, либо только одна из двух количественных категорий — долгота или краткость — может нести свободное смыслоразличительное ударение. И маркированной категорией в таких языках является, по-видимому, не долгий гласный, противопоставленный кратко­му, а редуцированный гласный в противопоставление нередуци­рованному. В целом же вместе с Граммоном я полагаю, что закон, нуждающийся в поправках, все же лучше, чем отсутствие всякого закона вообще.

5. *Морфологический детерминизм.* Поскольку «инвариантные точки отношений для описания и сравнения» являются (и в этом нельзя не согласиться с Клукхоном) центральным вопросом типологии, я возьму на себя смелость проиллюстрировать эти сравнительно новые в лингвистике проблемы яркой аналогией из области дру­гой науки.

Развитие науки о языке, и в частности переход от первона­чальной генетической точки зрения к преимущественно описа­тельной, поразительно соответствует происходящим сейчас сдви­гам в других науках, в частности различию между классической и квантовой механикой. Для изучения типологии языков этот парал­лелизм представляется мне в высшей степени стимулирующим. Я цитирую доклад о квантовой механике и детерминизме, прочи­танный выдающимся специалистом Л. Тисса в Американской Ака­демии искусств и наук: квантовая механика [и, добавим мы, со­временная структуральная лингвистика — *Р.Я.*] морфологически детерминистична, тогда как временные процессы, переходы меж­ду стационарными состояниями регулируются статистическими законами вероятности. Как структуральная лингвистика, так и кван­товая механика выигрывают в морфологическом детерминизме то, что теряют в детерминизме временном. «Состояния характеризу­ются целыми числами, а не непрерывными переменными», тогда как, «согласно законам классической механики, эти системы надо было бы характеризовать непрерывными параметрами», «поскольку два эмпирически данных реальных числа никогда не могут быть в строгом смысле полностью идентичными; неудивительно, что физик — последователь классической механики возражал против мысли об абсолютном тождестве каких-либо определенных пред­метов».

Установление структурных законов языка — наиболее близкая и ясная цель типологической классификации и всей описательной лингвистики на новой стадии ее развития — такой итог я попы­тался подвести в лингвистическом некрологе, посвященном па­мяти Боаса. И хотя можно только приветствовать проницательные замечания Гринберга и Крёбера о статистическом характере «ди­ахронических типологических классификаций» с их индексами направления, стационарная типология должна оперировать целы­ми числами, а не непрерывными переменными.

Мы стремились избежать распространенного термина «синхро­ническая типология». Если для современного физика «одним из самых важных явлений в природе представляется своеобразное вза­имодействие почти непрерывной тождественности и случайного беспорядочного изменения во времени», то подобным же образом и в языке «статика» и «синхрония» не совпадают. Всякое измене­ние первоначально относится к языковой синхронии: и старая, и новая разновидности сосуществуют в одно и то же время в одном и том же речевом коллективе как более архаичная и более модная соответственно, причем одна из них принадлежит к более развер­нутому, а другая — к более эллиптическому стилю, к двум взаимо­заменимым субкодам одного и того же кода. Каждый субкод сам по себе является для данного момента стационарной системой, уп­равляемой строгими законами структуры, в то время как взаимо­действие этих частичных систем демонстрирует гибкие динами­ческие законы перехода от одной такой системы к другой.

6. *Типологическая классификация и реконструкция.* Естественным выводом из приведенных выше рассуждений является ответ на наш основной вопрос, что могут дать типологические исследования срав­нительно-историческому языкознанию? По мнению Гринберга, зна­ние типологии языков увеличивает «нашу способность предвидения, поскольку, исходя из данной синхронической системы, некоторые явления будут в высшей степени вероятными, другие — менее веро­ятными, а третьи практически исключаются». Шлегель, провозвест­ник сравнительного языкознания и типологической классификации, характеризовал историка как пророка, предсказывающего прошлое. Наша «способность предсказывать» при реконструкции получает поддержку от типологических исследований.

Противоречие между реконструированным состоянием како­го-либо языка и общими законами, которые устанавливает типо­логия, делает реконструкцию сомнительной. В Лингвистическом кружке Нью-Йорка в 1949 году я обратил внимание Дж. Бонфанте и других индоевропеистов на ряд таких спорных случаев. Представ­ление о протоиндоевропейском языке как языке, обладавшем лишь одним гласным, не находит подтверждения в засвидетельствован­ных языках земного шара. Насколько мне известно, нет ни одного языка, где бы к паре /t/ — /d/ добавлялся звонкий придыхатель­ный /dh/, но отсутствовало бы его глухое соответствие /th/, в то время как /t/, /d/ и /th/ часто встречаются без сравнительно ред­кого /dh/, и такая стратификация легко объяснима, следователь­но, теории, оперирующие тремя фонемами /t/ — /d/ — /dh/ про­тоиндоевропейском языке, должны пересмотреть вопрос об их фонематической сущности. Предполагаемое сосуществование фоне­мы «придыхательный взрывной» и группы из двух фонем — «взрыв­ной» + /h/ или другой «ларингальный согласный» также оказывает­ся весьма сомнительным в свете фонологической типологии. С дру­гой стороны, мнения, предшествовавшие ларингальной теории или враждебные ей, не признающие никакого /h/ в индоевропейском праязыке, противоречат данным типологии: как правило, языки, различающие пары звонких — глухих, придыхательных — неприды­хательных фонем, имеют также и фонему /h/. В этой связи знамена­тельно, что в тех группах индоевропейских языков, которые утрати­ли архаическое /h/, не приобретя нового, аспираты смешались с соответствующими непридыхательными взрывными: ср., например, утрату различия между придыхательными и непридыхательными в славянских, балтийских, кельтских и тохарских языках с неодина­ковой судьбой этих двух рядов в греческом, армянском, индийских и германских языках. Во всех этих языках некоторые из ртовых фо­нем рано перешли в /h/. Аналогичную помощь можно ожидать от типологического изучения грамматических процессов и понятий.

Избежать таких расхождений, конечно, можно, применяя соссюровский подход к реконструкции фонем индоевропейского праязыка: «Вполне возможно, не уточняя звуковой природы фо­немы, внести ее в общий перечень фонем и представить под номе­ром в таблице индоевропейских фонем». В настоящее время, одна­ко, мы столь же далеки от наивного эмпиризма, который мечтал о фонографическом фиксировании индоевропейских звуков, сколь и от его противоположности — агностического отказа от изучения системы индоевропейских фонем и робкого сведения этой систе­мы к простому каталогу цифр. Уклоняясь от структурного анализа двух последовательных состояний языка, нельзя объяснить пере­ход от более раннего состояния к более позднему, и права истори­ческой фонологии нежелательным образом урезываются. Реалис­тическим подходом к технике реконструкции является ретроспек­тивное движение от одного состояния языка к другому и структурное исследование каждого из этих состояний с точки зре­ния данных типологии языков.

Изменения в системе языка нельзя понять вне связи с той си­стемой, в которой они происходят. Этот тезис, обсужденный и одобренный 1-м Международным конгрессом лингвистов почти 30 лет назад <...>, получил сейчас широкое признание (ср. недав­нюю внушительную дискуссию об отношении между синхрони­ческой и диахронической лингвистикой в Академии наук СССР <...>). Структурные законы системы языка ограничивают возможность разных путей перехода от одного состояния к другому. Эти переходы представляют собой, мы повторяем, часть языкового кода в целом, динамический компонент всей совокупной системы язы­ка. Можно исчислить вероятность перехода, но едва ли возможно найти универсальные закономерности явлений, связанных с фак­тором времени. Статистический метод Гринберга применительно к диахронической типологии является многообещающим методом изучения относительной устойчивости направления и тенденций изменения языков, соотношения и дистрибуции, изменчивости и стабильности. Таким образом, анализ схождений и расхождений в истории родственных или соседних языков дает много важных све­дений, необходимых для сравнительно-исторического языкозна­ния. Благодаря этому миф об изменчивости и устойчивости языка, обусловленных произволом слепой и бесцельной эволюции, без­возвратно теряет под собой почву. Проблема устойчивости, стати­ки во времени, становится неотъемлемой проблемой диахрони­ческой лингвистики, в то время как динамика, взаимодействие субкодов внутри языка в целом, вырастает в один из центральных вопросов лингвистической синхронии.

**СОДЕРЖАНИЕ**

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 1

I. Общий раздел 2

Ф. *де Соссюр.* Курс общей лингвистики\* 2

*И. А. Бодуэя де Куртенэ.* Некоторые общие замечания о языковедении и языке\* 32

*И. А. Бодуэн де Куртенэ.* Об одной из сторон постепенного человечения языка в области произношения, в связи с антропологией\* 35

*Э. Бенвенист.* Уровни лингвистического анализа\* 37

*С. О. Карцевский.* Об асимметричном дуализме лингвистического знака\* 45

*Ч. Ф. Хоккетт.* Проблема языковых универсалий\* 48

II Фонология 54

*Н. С. Трубецкой.* Основы фонологии\* 54

*Г. Глисон* Введение в дескриптивную лингвистику\* 88

III Морфология и синтаксис 94

Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительное языковедение. Общий курс\* 94

*Г. Глисон* Введение в дескриптивную лингвистику\* 102

Л. *В. Щерба* О частях речи в русском языке\* 109

*В.В. Виноградов* Основные вопросы синтаксиса предложения (на материале русского языка)\* 121

*Г. Глисон* Введение в дескриптивную лингвистику\* 133

В. Матезиус О так называемом актуальном членении предложения\* 142

IV Лексикология 146

*В. В. Виноградов* Об омонимии и смежных явлениях\* 146

V Письмо 149

И. Е. Гельб Опыт изучения письма (основы грамматологии)\* 149

*Й. Вахек* К проблеме письменного языка\* 161

VI Сравнительно-историческое и типологическое языкознание 167

*Л*. Мейе Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков\* 167

*Э. Сепир* Язык. Введение в изучение речи\* 185

Р. О. Якобсон Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание\* 198

*Учебное издание*

**ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ**

Хрестоматия

**Составители: Блинов Александр Викторович**

**Богатырева Инна Ивановна**

**Мурат Владелина Павловна**

**Рапова Галина Ивановна**

Редактор **Л.Н. Шилова**

Художник Д.А. **Сенчагов**

Корректор **А.А. Баринова**

Верстка **О. С. Коротковой**

ИД №00287 от 14.10.99

Подписано к печати 24.02.2000. Формат 60x90 1/16.

Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,5.

Тираж 5000. Заказ № 425.

Издательство «Аспект Пресс»

111398 Москва, ул. Плеханова, д. 23, корп. 3.

e-mail: Aspect.Press@relcom.ru

Тел. 309-11-66, 309-36-00

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.